

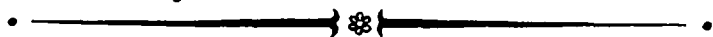


Сергей Снегов
ПРАВО НА ПОИСК

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»



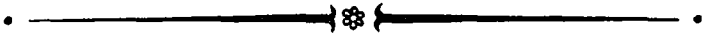
БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



Серия издается с 1954 года

МОСКВА ~ 1989

Сергей Снегов



ПРАВО НА ПОИСК

*Научно-фантастические
повести*

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Один знаменитый ученый сказал: «Научные открытия сами по себе не бывают ни добрыми, ни злыми. Люди сами их делают добрыми или злыми». В принципе это верно, но только в принципе. Ибо почти в каждом крупном открытии заложены объективные возможности и быть использованным на благо человеку, и стать орудием злостворения. История дает много примеров того, как великие научные достижения не только способствовали прогрессу знаний и улучшению человеческой жизни, но и порождали новые средства войны и разрушения. Ныне настало время, когда любой новый крупный шаг науки вперед требует от ученых серьезного и глубокого анализа: не несет ли он в себе вред самому человеку или природе. К научным исследованиям предъявляются ранее не свойственные им моральные требования. Каждому сегодня ясно, что, скажем, усовершенствование ядерного оружия или создание новых смертоносных газов хотя объективно и расширяет знания о свойствах ядра и газов, но по критериям морали преступно и недопустимо.

В этой книге в фантастической форме показывается, что строгие требования морали — во зло или на добро пойдет научная находка? — все более и более становятся неотъемлемыми критериями любой исследовательской работы.

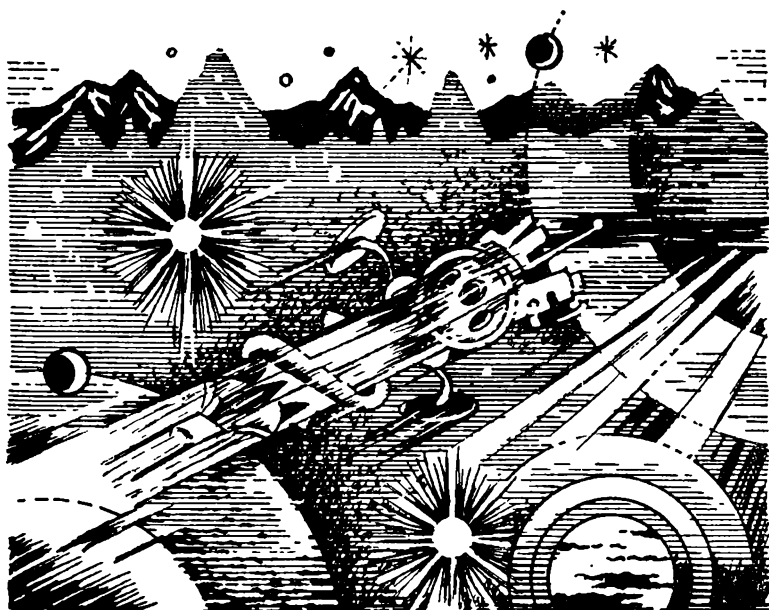
Художник Б. ЛАВРОВ

С $\frac{4803010201-460}{M101(03)-89}$ 292-89

ISBN 5-08-000590-4

ПРАВО НА ПОИСК

*Научно-фантастическая
повесть*





Чарли присел к моему столику, деловито пробежал глазами меню — что бы в нем ни значилось, он закажет омлет с помидорами и апельсиновый сок, это неизменно — и «порадовал»:

— К Латоне приближается рейсовый звездолет «Командор Первухин». На нем очередная цистерна с тремя миллионами тонн сгущенной воды. И некто Рой Васильев. Этот землянин на Латоне пересядет в планетолет на Уранию. Сгущенная вода прибудет позднее. Ты что-нибудь слыхал о Рое Васильеве? В общем, готовься к трудным объяснениям.

Меня временами раздражает обстоятельность, с какой Чарли изучает совершенно ненужные ему фантазии поваров. Как-то, спустя часок после такого десятиминутного углубления в роспись первых, вторых и третьих блюд, я поинтересовался, не помнит ли он, что нам сегодня предлагали на обед. «Конечно, помню, — бодро заверил он. — Были омлет с помидорами и сок». Даже бифштекса с фруктами и торта не запомнил, а я их жевал перед его носом за одним с ним столом! На вопрос о Рое Васильеве я не ответил. Я промолчал сознательно и вызывающе. Молчание — единственное, что молодой академик, мой начальник Чарльз Гриценко, способен слушать объективно. На молчание он реагирует быстро и толково. «Молчание информативно, — утверждает он. — Это самый красноречивый сигнал несогласия в споре, самое категорическое оповещение протеста».

— Омлет с помидорами и апельсиновый сок, — сказал Чарли в микрофон. — Эдик, ты слышал, что я сказал? Почему ты молчишь?

— Не вижу причин кричать.

— Кричать не нужно. Но хоть бы промычал что-то. Рой возьмется прежде всего за тебя. Павел был твоим помощником, связь между его гибелью и взрывом сгущенной воды на складе почти несомненна, Рой прибывает для того, чтобы исследовать эту связь... Тебе мало этих фактов?

— Что мне мало и что много — не существенно.

— Правильно, единственно важное — что будет думать сам Рой о трагедии. Но снова и снова повторяю...

Ему не дал договорить Антон Чиршке, Повелитель Демонов Максвелла. Этот долговязый, крупноносый, большерукий, белокурый физик известен на Урании больше по прозвищу, чем по фамилии от родителей. На кличку «Повелитель Демонов» он откликается охотно, даже гордится ею. Если просто крикнуть на улице: «Повелитель!», он тоже обернется без раздражения. Злость он приберегает не для встреч со знакомыми, а для работы. В лаборатории он неистов. Он дьявольски вспыльчив, Антон Чиршке, Повелитель Демонов. Если ему кажется, что прибор висит криво, он кричит на него. Я сам видел, как Чиршке закатил оплеуху командному механизму, включившему не ту программу. Механизм, правда, пострадал куда меньше, чем рука Антона. Кроме вспыльчивости и нетерпимости к чужим мнениям, Антон еще и талантлив. Все мы талантливы, конечно, бесталанных на Уранию не командируют, я вовсе не хочу сказать, что в этом смысле Чиршке какое-то исключение. Просто он талантливей каждого из нас. Таково мое убеждение, его разделяют не все, но я никому не навязываю своих оценок. Его ошеломительно простой механизм, сепарирующий молекулы воздуха по их скорости, вызвал множество возражений, каждый помнит, какие шли пять лет назад страстные дискуссии — не было обидных слов, которые бы не бросали Антону в лицо. Но, между прочим, все отопление на Урании, все холодильники на нашей экспериментальной планете сегодня работают от сепараторов Чиршке, от его небольшого заводика, пущенного в прошлом году: с одной стороны воздух засасывается в приемную трубу, а с другой две трубы отправляют сепарированный воздух потребителям, по одной — горячий поток, по другой — ледяной. И кто придумал Антону в насмешку прозвище «Повелитель Демонов Максвелла», те давно прикусили языки, а само прозвище ныне выражает не иронию, а уважение. И еще одно. Антон щедро наделен величайшим даром всюду видеть загадки. У него вызывает тысячи недоуме-

ний любая вещь мира, любое обычнейшее явление. Павел шутил: «Антон возмущает даже то, что дважды два четыре. Он не опровергает этой истины, он только ошеломлен ею». Павел был не просто талантлив, как Антон, Павел был гениален. И он серьезно говорил об Антоне: «Не хотел бы попадаться этому человеку под горячую руку. Но если мне захочется услышать что-нибудь совершенно новое о чем-то совершенно тривиальном, я обращусь к Чиршке».

— Парни, вы слышали, к нам летит какой-то Рой Васильев,— объявил Антон, присаживаясь к нашему столу и бесцеремонно отодвигая подальше от Чарли стакан с апельсиновым соком.

— Тебя это, естественно, выводит из равновесия? — Чарли снова пододвинул стакан к себе.

— А как может быть иначе?

— Что же тебя поражает в прилете Роя?

— Во-первых, сам прилет. А во-вторых, кто таков Рой? Какого шута мне в нем и ему в нас?

— Шута нет ни в тебе, ни в нем, а неприятности будут нам всем. Между прочим, мы их заслуживаем.

И Чарли с обычной своей проницательностью обрисовал ситуацию. Рой Васильев — физик, даже, скорее, астрофизик, во всяком случае, неплохой знаток космоса. Кроме того, он детектив. Ну, не простой сыщик, хватающий за шиворот преступника, этого за Роем не слышно. Но вряд ли на Земле имеется другой такой же специалист по расследованию непонятных несчастий. Его стиль — искать в различных бедах не злоумышления, а неизученные явления природы. Незученных явлений в природе, особенно в космосе,— бездна. Очевидно, на Урании Рой займется любимым делом: будет выискивать что-то неизвестное в недавнем взрыве сгущенной воды и гибели Павла Ковальского.

— По-твоему, ничего неизвестного не было? — Антон нервно жевал какое-то блюдо, голос звучал глуше и невнятной обычного. Ясностью речи Антон не отличается. Разве когда говорит спокойно и уравновешенно. Спокойным и уравновешенным я видел Антона очень редко.

— Суть не в неизвестном, а в том, чтобы хорошо объяснить известное,— спокойно отпарировал Чарли.

— Ты педант! — закричал Антон, отрываясь от еды.— В жизни не встречал большего педанта!

— Ты, наверно, хотел сказать: более точного человека? Тогда это я. Я правильно понимаю словечко «педант»?

Антон мигом вышел из себя. Он хлопнул кулаком по столу, Чарли поспешно схватил полный стакан сока и отпил немного.

— Ты консерватор, Чарли! Я всегда это говорил. Чего ты ухмыляешься? В древности такие издевательские усмешки приравнялись к уголовному преступлению. Иногда жалею, что наша эпоха пренебрегла многими хорошими обычаями старины.

Улыбка Чарли говорила не об издевке, а о том, что он собирается придать дискуссии неожиданный поворот. Чарли великий мастер на парадоксы. Я провел пять лет под его начальством и сотни раз терялся до немоты, когда Чарли принимался выворачивать привычные понятия. Если Антон ко всему придирается, то Чарли частенько усмехается и нередко делает это с таким серьезным выражением лица, что охватывает дрожь, а не смех. В те древние времена, о каких вспомнил Антон, Чарли провозгласили бы великим софистом, мастером невероятного толкования слов. Я не сомневался, что он готовится нанести Антону именно такой удар, каким неоднократно сражал и меня, и противников посильней, — обернуть против Антона собственные его аргументы.

— Как понимать странный термин «консерватор»? — сказал он так мягко, что легко обманул Антона.

Меня, естественно, он обмануть не мог. Я с интересом ждал продолжения.

— Как все люди понимают!

— Как понимать фразу «понимают, как все люди»?

Антон потерял терпение. Его глаза засверкали. Он даже приподнялся на стуле. С людьми Антон не дерется, но стулом хватить об пол способен, случаи такие бывали.

— Возьми словарь международного языка. Можешь перелистать и словари всех пяти тысяч мертвых языков.

— Я хотел бы услышать разъяснение от тебя, а не из словарей.

Повелитель Демонов все же сдержался. Иногда ему удавалось не взрываться в спорах.

— Слушай же. Консерватор — человек, который остается всегда одним и тем же, как бы все ни менялось вокруг; человек, который, однажды установив для себя систему взглядов, манеру обращения... В общем, придерживается одного типа поведения. Тебя устраивает толкование?

Настал час торжества Чарли. В спорах подобного рода Антон перед Чарли — мальчишка перед мастером. Антон

к тому же задал нашему академику достаточно простую задачу.

— Вполне устраивает. Ты прав, я — консерватор. И горжусь этим!

— Ты хотел сказать — стыжусь?

— Я сказал то, что хотел сказать. Да, я не меняюсь. У меня ко всему один подход. Я стараюсь понять все новое, постигнуть все неизученное, овладеть всем трудно дающимся. Для меня мир — пустыня, где каждый шаг вперед сулит открытия. Я всегда в поиске и не позволю себе почить на однажды достигнутом. И не стану выдавать чужой успех за собственный. Но я не всеяден, не равнодушен, не безучастен. Я пристрастен и односторонен, тут тоже не собираюсь меняться: всегда поддерживаю доброе против злого, честное против подлого, справедливость против хищности, несправедливо обиженного против обидчика. О, нет, я не из тех, кто добру и злу внимает равнодушно — кажется, так в древности говорили об иных мудрецах. Я человек, никогда не изменяющий человечности. Ибо мое постоянство в том, что я всегда, везде, при всех обстоятельствах за истину против заблуждения, за талант против бездарности, за вечный поиск против бесплодной самоудовлетворенности. Тебе не приходило в голову, что именно этой моей неизменностью и объясняется, что я горячо поддерживал тебя против твоих противников и что само приглашение тебя на Уранию вызвано моими долгими хлопотами в Академии наук? Не я назвал тебя Повелителем Демонов Максвелла, но если ты сегодня с достоинством носишь это прозвище, то поблагодари и меня, ибо я способствовал его появлению.

Чарли мог бы и не говорить последней фразы. Антон был сражен. Всех его душевных сил хватило только на то, чтобы промямлить:

— Ты выворачиваешь мои слова наизнанку, Чарли!

— Тогда говори словами, которые не выворачиваются наизнанку, — холодно посоветовал Чарльз Гриценко, руководитель Института Экспериментального Атомного Времени, мой начальник, мой лучший друг, по специальности блестящий физик, по душевным влечениям — великий софист.

И для него так естественно было одерживать верх в любом споре, что он и не порадовался, только подмигнул мне.

Антон перехватил его взгляд.

— Послушайте, — сказал он с удивлением, — мы с

Чарли битый час надрываем глотки, а Эдик не выговорил и словечка. Что кроется за такой отстраненностью?

У этого человека, Антона Чиршке, Повелителя Демонов Максвелла, было редкое чутье на необычность самых, казалось бы, обычных поступков! С этим надо было считаться.

2

«С этим надо считаться», — мысленно остерег я себя.

Из столовой мы вышли втроем. Повелитель Демонов шагал, широко размахивая длинными ногами. «Ходит ножницами», — острили о нем, а одна из его лаборанток как-то обругала своего руководителя: «Журавль!» Очень точная, по-моему, характеристика. Когда до Антона дошли и эти две клички, он деловито заинтересовался: «Ножницы я знаю, а что такое журавль?»

— Чарли, сообщай новости, — сказал на прощание Антон. — И я тебе буду звонить. Эдика не тревожим, от этого молчуна ничего интересного не узнать.

Заводик Антона приткнулся к Биостанции, Повелитель Демонов свернул к ней. Мы с Чарли молча прошли мимо ее корпусов. Мардека светила тускло, вот уже месяц — после взрыва сгущенной воды — даже полдень на Урании вряд ли ясней земного зимнего вечера. Правда, потоп закончился, из двух миллионов тонн в пламени и пару вознесенной воды больше полутора миллионов по внезапно сотворенным рекам и ручьям излились в котлован будущего Института Мирового Вакуума. Образовалось глубокое озеро длиной с километр и шириной метров в двести. На берегах этого озера не будут расти деревья и травы, его не населят рыбы, даже птицы, занесенные на Уранию, стараются летать в стороне. Оно мертво и останется мертвым. Энергетики утверждают, что вода, восстановленная из сгущенной, по структуре аномальна: не образует нужных разновидностей льда, плохой растворитель, не утоляет жажды и вообще, чтобы она снова стала обыкновенной водой, нужна почти такая же технологическая обработка, какая потребовалась, чтобы сгустить первичную воду в сто тысяч раз. Литр сгущенной воды, это известно из школьного учебника, весит сто тонн. Между прочим, вода, месяц назад огненным вулканом взметнувшаяся над Уранией, по заводскому сертификату, я сам его видел, была сгущена даже в сто тридцать тысяч раз.

Чарли остановился на краю котлована. Внизу, в блед-

ном свете полускрываемой облаками Мардеки, расплавленным металлом поблескивала водная гладь. Я залюбовался мертвым озером. Оно все же было красиво.

— Помнишь? — спросил Чарли.

Я помнил. До самой смерти эту картину еще никем не виданного чудовищного взрыва в моей памяти сохранил. Мы с Чарли одновременно выскочили из наших лабораторий, мы бежали бок о бок к Энергостанции. И впереди взметывалось нечто, напоминающее вулкан. Не пар, не исполинских размеров гейзер, как, вероятно, сочли на Земле, когда пришло известие о несчастье. Это было пламя, странное пламя: сине-фиолетовое, бурное, пышущее диким жаром. Вода, ставшая вдруг огнем, — таким мы увидели взрыв. И водяные тучи, быстро затянувшие всю планету, были поначалу не тучами, а дымом. Повелитель Демонов клялся потом, что ощущал ноздрями гарь, даже видел в воздухе хлопья копоти. Так это или нет, проверить трудно, хлынувший после взрыва ливень вычистил все окрестности Энергостанции. Мы с Чарли умчались от ливня, он едва не смыл нас в провал котлована. А в это время Павел Ковальский, мой помощник, катался по полу лаборатории, отчаянно борясь с удушьем. Я возвратился слишком поздно, чтобы спасти его, он умер у меня на руках. Никогда себе этого не прощу!

— Ты должен предупредить Жанну о приезде Роя Васильева, — сказал Чарли. — Я мог бы и сам поговорить с ней, но тебе сделать это лучше.

— Развернуть перед Жанной программу ответов на возможные вопросы следователя? — хмуро уточнил я.

— Чепуха, Эдик! Жанна не всегда способна отделить важное от пустяков. Она слишком пристрастна. Это может ввести в заблуждение Роя. Он ведь не очень разбирается в жизни на Урании. Будем помогать ему, а не запутывать пустяками.

— По-твоему, взаимоотношения Павла и Жанны — пустяки?

— Прямого касательства к взрыву и гибели Павла вряд ли имеют. Или ты думаешь иначе?

— Я ничего не думаю, Чарли. В моей голове нет ни одной дельной мысли.

— Тогда поразмысли о моей гипотезе взрыва. Положи ее в основу своих рассуждений и независимо от меня рассмотри возможные следствия. Без этого тайны не раскрыть.

Я промолчал. Чарли не догадывался, что с первой





минуты несчастья я пришел именно к тому, что он называл своей гипотезой взрыва, и что для меня это вовсе уже не гипотеза, а неопровергаемая истина. И что из нее следуют выводы, о которых он и помыслить не способен и которые терзают мою душу неутраченным отчаянием. Он говорил о тайне. Тайны не было. Была действительность, до дрожи ясная, до иступления безысходная. Ровно месяц я бьюсь головой о стену, чтобы предотвратить новое несчастье. Я мог рассказать ему об этом. Он мог все понять. Но помочь он не мог. Вероятней другое — он помешал бы мне искать выход. Он имел на это право и воспользовался бы своим правом. Я вынужден был молчать.

— И еще одно, друг мой Эдик, — сказал Чарли, когда мы подошли к моей лаборатории. — Повелитель Демонов вчера работал с Жанной, она принесла изготовленные ею пластинки для сепараторов молекул. Он позвонил мне вечером очень обрадованный. Пластинки отличного качества, но обрадовали не они, а сама Жанна. Она оправилась от потрясения, выглядела сносно, говорила если и не весело, то и без скорби. В общем, опасения, что она не переживет гибели Павла, можно считать неосновательными. Значит, не надо бояться, что любое упоминание о Павле вызовет новый взрыв отчаяния. Молодой организм берет свое не только на Земле, но и на Урании, не так ли? Учти это, когда будешь касаться весьма болезненных для нее вещей. Почему ты молчишь?

— Учту все, — пообещал я.

Говорят, последняя капля переполняет чашу терпения. Я чувствовал себя чашей, в которую слишком много налили. Я готов был пролиться — какой-нибудь безобразной вспышкой гнева, каким-нибудь нелепым поступком. Входя в лабораторию, я впервые понял, почему Антон в ярости бьет кулаком по приборам. Но мои приборы работали исправно, кулачная расправа с безукоризненными механизмами не дала бы выхода раздражению. «Возьми себя в руки», — приказал я себе. Эту странную формулу успокоения — «взять себя в руки» — внушил мне Павел. Сам он знал только одно душевное состояние — вдохновение, был то иступленно, то просто восторженно озаренным. В иных состояниях я его не видел. А мне со смехом советовал: «Остановись, Эдуард, ты уже готов выпрыгнуть из себя!» И я «брал себя в руки», то есть присаживался на стол или подоконник, минуту молчал, две минуты что-нибудь песенное бормотал — и неистовство утихало, гнев умирался.

— Возьми себя в руки, Эдуард, — вслух сказал я себе, сел в кресло и закрыл глаза.

Меня стало клонить ко сну. Я не спал уже пятье сутки.

— Ты меня звал, Эдик? — услышал я голос Жанны и открыл глаза.

Жанна хмуро глядела со стереозэкрана.

— Приходи, — сказал я. — Или я к тебе приду. Нужно поговорить.

— Жди. — Экран погас.

Теперь надо было быстро подготовиться к ее приходу. Я задал аппаратам код ее психополя, проверил точность настройки. Жанна вошла, когда я подгонял программу командного устройства.

— Брось! — приказала Жанна. — Мне надоела роль подопытного кролика. Садись, Эдуард.

— Все мы теперь подопытные кролики, Жанна, — возразил я, но отошел от механизмов.

Она внимательно осматривала меня. То же делал и я — выискивал в ее лице, фигуре, движениях, в звуках ее голоса что-либо неизвестное. Жанна сидела в кресле похудевшая, побледневшая, усталая, нового в этом не было, она и раньше бывала такой — не все эксперименты проходили удачно, результат каждого отчетливо выпечатывался на ней. Но в каком бы она ни была физическом и духовном состоянии, всегда оставалась красивой. Красивой она была и сейчас, измученная, почти больная. Я привык доверять прозорливости Антона. То, что он сказал об улучшившемся состоянии Жанны, тревожило. Ни он, ни Чарли не догадывались, какую информацию несла мне невинная, казалось бы, фраза: «К Жанне возвратилось хорошее настроение». Она тоже не могла этого знать.

— Ты раньше боялся на меня смотреть, — грустно сказала она. — Взглянешь и потупишь глаза. И при каждом взгляде краснел. А сейчас...

— Раньше я был влюблен в тебя.

— Сейчас уже не влюблен?

— Сейчас меня терзают чувства гораздо сильнее любви. Можешь не страшиться других признаний. Гибель Павла ничего не изменила в наших с тобой отношениях, так я считаю.

— Я тоже. Ну, давай ближе к делу. Для начала устанавливаю: внешне ты не изменился. Что скажешь обо мне?

— Ты выглядишь нездоровой. После всех терзаний такой вид естественен. Больше ничего сказать не могу.

— На этом закончится наша беседа?

— Она еще не начиналась. К нам вылетела с Земли следственная комиссия. Правда, в составе одного человека, зато такого, что стоит десяти.

Я рассказал Жанне о Рое Васильеве. Она поморщилась.

— Опросы, расспросы, допросы... Он очень въедливый человек, этот Рой.

— Ты его знаешь?

— В отличие от вас с Павлом, занятых только своими работами, я интересуюсь и знаменитыми современниками. Рой и его брат Генрих очень известны на Земле.

— Известность Роя и его брата на Земле имеет значение для нас?

— Непосредственное, Эдуард. Рой доискивается истины в ситуациях, где другие пасуют. Приготовься к откровенности с ним.

— Именно это и советует нам Чарли. Быть с Роем предельно откровенными, помочь ему установить истину. Под истиной Чарли понимает свою теорию взрыва: поворот времени на обратный ход.

— Ты придерживаешься иного мнения?

— Чарли абсолютно прав. Но его теории недостаточно, чтобы объяснить все... И в это нельзя посвящать Роя. Во всяком случае, пока.

— Не понимаю, — хмуро сказала Жанна. — Хитрости в тебе еще не наблюдала. Лукавство и ты — категории несовместимые. Ты краснеешь при каждом неточном, не говорю уж лживом, слове. И собираешься обманывать изощренного в распутывании немыслимых хитросплетений Роя Васильева?

— Должен это сделать.

— Объясни, почему?

— Жанна, это же просто. Чарли считает, что совершил великое открытие, указав на обратный ход времени. Гипотеза его парадоксальна, но убедительна. Она вполне может устроить самую придирчивую комиссию. Чарли хочет, чтобы Рой Васильев пришел именно к такому выводу.

— И это будет правильный вывод.

— Да, если это будет только выводом.

— Опять не понимаю тебя.

— Жанна, вдумайся в мою аргументацию. Ты сама считаешь этого Роя проницательным исследователем. Во-

образе себе и такую возможность. Рой приходит к гипотезе Чарльза Гриценко не в конце долгого пути розысков, а принимает ее сразу. Тогда она будет не выводом, а предпосылкой. На выводах останавливаются, от предпосылок отталкиваются. Рой неизбежно двинется дальше. Он поставит перед собой вопрос: как стал возможен поворот времени на обратный ход?

— Тебя это страшит?

— Мы должны завершить исследования! Павел погиб, но расчеты его подтверждены. Они должны из набора формул стать реальным физическим процессом. Не прощу себе, если этого не сделаю! Чарльз пока не догадывается о наших экспериментах, но Рой может догадаться...

Я видел, что в ней происходит борьба. И знал заранее, какое продолжение сейчас последует. Павел незадолго до гибели предупреждал, что все наши секреты не для Жанны, она постепенно сгибается под их тяжестью. Он советовал даже кое от чего ее отстранить для нашего общего спокойствия.

— Эдуард, мне надоело скрываться,— сказала она то, чего я ждал.— Давай объявим, чем занимаемся, и попросим официального разрешения на эксперименты.

— И немедленно получим категорический отказ!

— Я устала, Эдуард....

— И готова примириться с тем, что великую загадку природы мы не раскроем?

— Боюсь, я не рождена раскрывать великие загадки природы. Павел убедил меня в другом. Но его гибель опровергает его доводы. Я уже думала об этом, Эдуард. Поверь, я креплюсь, но сколько можно крепиться?

Одно в том, что она говорила, было утешительно. Повелителю Демонов отказало его ясновидение. Она отнюдь не вернулась от горя к веселью. С моей души спала большая тяжесть. Теперь я был уверен, что мне удастся переубедить ее. Я ходил по лаборатории, она сидела и молча слушала мои объяснения и просьбы. И прежде она садилась в сторонку, а мы с Павлом шагали от стены к стене, говорили, кричали, ссорились, мирились, радостно хлопали друг друга по плечу, с ликованием утверждали, что совершили открытие, с сокрушением признавались в неудачах, обвиняли себя в бездарности, восхваляли свои таланты... Она переводила глаза с одного на другого, щеки ее от внутреннего напряжения охватывало пламенем — всегда красивая, она в такие минуты становилась прекрасной.

Так было и на этот раз — я говорил, она слушала. Наши эксперименты оборвались трагически, но их надо довершить, чтобы не повторилось новой трагедии. Их нельзя прервать, вызванные ими процессы продолжаются сами собой, и сегодня невозможно установить, как далеко они зашли и чем окончатся. Отказ от продолжения породит свои опасности.

— Даже если нашим соседям и мало что грозит, то под угрозой мы с тобой, Жанна, и в первую очередь — ты! — говорил я. — Только завершение экспериментов способно гарантировать нам безопасность. Мы знали, начиная опыты, что нас подстерегают многие неожиданности, и готовы были с ними бороться, но всех предугадать не смогли. Жанна, Жанна, ты же ученый, физик, мастер эксперимента, как же ты не понимаешь, что мы вызвали к жизни злого джинна и не будет нам спокойствия, пока не возвратим его в бутылку или не скуем на него иные пути!

— Ты прав, эксперименты надо закончить, — сказала она, когда я высказался. — Постараюсь скрыть от Роя их суть. Если он ими заинтересуется, а это для меня пока не ясно.

— Он ими заинтересуется, Жанна!

Она ушла. Я подошел к окну, следил, как она перепрыгивала через маленькие лужи, оставшиеся от недавнего потопа, обходила большие. Она ни разу не оглянулась. У нее удивительная походка — упругая, стремительная. Жанна, подпрыгивая, как бы взлетает. Сколько раз я украдкой любовался тем, как она ходит между институтскими лабораториями! У меня было скверно на душе. Я убедил ее, но не назвал реальных опасностей. Я не смел говорить о них. Их надо было предотвратить, а не разглагольствовать на тему грядущих ужасов. Я подошел к регистратору. Прибор писал нормальную кривую психополя Жанны. Прогноз Антона Чиршке не подтверждался. Еще было достаточно времени, чтобы разработать противодействие новым опасностям, которые меня пугали. Теперь я ждал Роя Васильева.

3

Теперь я ждал Роя Васильева. Рой задерживался на Латоне. Вероятно, у него были и другие задания, кроме расследования взрыва на складе сгущенной воды. Два

рейсовых планетолета с Латоны прибыли с грузами для Биостанции. Для Энергостанции и Института Времени не поступало ничего. Энергетики нервничали. До установления причин взрыва воды их обязали ориентироваться на ядерные генераторы, хотя они гораздо менее эффективны.

— Придется и нам ужать эксперименты с атомным временем, иначе говоря, временно ограничиться безвременьем, — острил Чарли. — Это, естественно, плохо, но ведь именно мы основной потребитель энергии на Урании. Зато другое хорошо — на Земле отдают себе отчет в серьезности аварии. Предвижу полезное дополнительное внимание к работам Института Времени.

Особое внимание к нашим исследованиям было как раз тем, чего я хотел бы избежать. Но после катастрофы об этом не приходилось и мечтать. Я улыбался и отмалчивался.

Однажды утром меня вызвал Чарли.

— Эдик, подними свои бранные кости и выметай их наружу, — почти весело сказал он. — Мы идем встречать гостей с Земли. Нет, — поспешно добавил он, — вижу по твоим губам, что собираешься послать меня к черту. К черту я не пойду. Жду тебя у входа через пять минут.

Среди особенностей Чарльза Гриценко — точность. Он гордится, что все у него «минута в минуту», и говорит о себе: «Я повелитель времени, ибо рабски ему покоряюсь. Я командую им в соответствии с его законами». Между прочим, его успехи в экспериментировании с атомным временем обусловлены именно уважением к законам времени, о чем я постоянно напоминал Павлу в разгар иных его увлечений: ставил Чарли Павлу в пример.

Я вышел из лаборатории на исходе последней из дарованных мне пяти минут, и мы зашагали с Чарли в космопорт.

Вероятно, это был первый ясный день после катастрофы. Теоретически могу представить себе, что и до того попадались кратковременные прояснения, но они прошли незамеченными. А сегодня на планету вернулся полный дневной свет. Мардека светила ярко, было тепло, воздух, еще недавно мутный, как дым, стал до того прозрачным, что от нашего института виднелись башни космопорта, а это все-таки около двадцати километров.

— Авиетки я не вызывал, сядем в рейсовый аэробус, — сказал Чарли.

До отправления аэробуса было минут десять, мы присели на скамью. Отсюда открывался простор всхолмлен-

ной зеленой, цветущей равнины. Если бы я не знал, что нахожусь невообразимо далеко от Земли, на недавно мертвой планетке, переоборудованной специально для опасных экспериментов, недопустимых в окрестностях Солнца, я чувствовал бы себя, как на Земле. Впрочем, это и было «как на Земле», строители Урании постарались создать на ней главные земные удобства. Нового в таком ощущении не было, каждый хорошо знал, как на Урании творились «земности»: мы восхищались нашей планетой как великим достижением астроинженеров и космостроителей.

— Понимаю, ты тревожишься,— сказал Чарли, мое молчание и сейчас подействовало на него информативно.— И хорошо, что тревожишься. Тревога — рациональная реакция на любые опасности. Недаром один древний бизнесмен телеграфировал жене: «Тревожся. Подробности письмом». Но не переходи меры. Тревога не должна превращаться в панику. Роя мы преодолеем. Эксперименты с временем он бессилён запретить.

— Смотря какие эксперименты,— пробормотал я.

— Любые! Мы работаем по плану, утвержденному Академией наук. И только Академия правомочна внести изменения в свои планы. Между прочим, решения Академии в какой-то доле зависят и от меня. Маловероятно, чтобы этот землянин, неплохой космофизик, но никакой не хронист, взял на себя ответственность за направление наших исследований. Думаю, в проблемах атомного времени Рой Васильев разбирается не глубже, чем воробей в интегральном исчислении.

Чарли хотел меня успокоить, но еще больше встревожил. Я предпочел бы, чтобы Рой был полужнайкой, а не профаном в загадках атомного времени. Полужнайка, так я считал, будет углублять уже имеющиеся у него знания, то есть идти традиционной дорогой. Но профану все пути равноценны, он способен зашагать и по тем, что полужнайке покажутся невероятными, а среди невероятных, не исключено, попадется и наша с Павлом исследовательская тропка.

— Ты не согласен? — поинтересовался Чарли.

— Согласен,— сказал я и молчал до космопорта.

В космопорте собралась вся научная элита Урании. Каждый начальник каждой лаборатории, считал своей почетной привилегией присутствовать на встрече знаменитого землянина. Впереди компактным отрядом сгустились энергетики, это я еще мог понять,— катастрофа на энер-

госкладе затрагивала прежде всего их. Но зачем позвали биологов, было непонятно. Я так и сказал Антону Чиршке, возбужденно вышагивающему в стороне от толпы. Он мигом перешел от возбуждения к гневу. Он закричал, словно в парадной встрече видел мою вину:

— А я? Я тут для чего, объясни?

— Вероятно, необходимо, чтобы ты предварительно пожал руку следователю в присутствии всех на космодроме, а уж потом отвечал с глазу на глаз на его строгие вопросы. Без предварительных парадных церемоний, я слышал, следствие не идет.

Антон сердито пнул ногой берерозку — хилое белоствольное деревцо с листьями березки и цветами, похожими на пионы. Берерозка закачалась, осыпая ярко-красные лепестки. Это немного успокоило Повелителя Демонов. Я подошел к Жанне, она разговаривала с Чарли. Бледная, очень печальная, очень красивая, она так невнимательно отвечала на его остроты, что я бы на его месте обиделся. Но тонкости ощущения не для Чарли, она не молчала, а что-то говорила, большего от нее и не требовалось. Чарли отозвали в группу энергетиков, Жанна сказала мне:

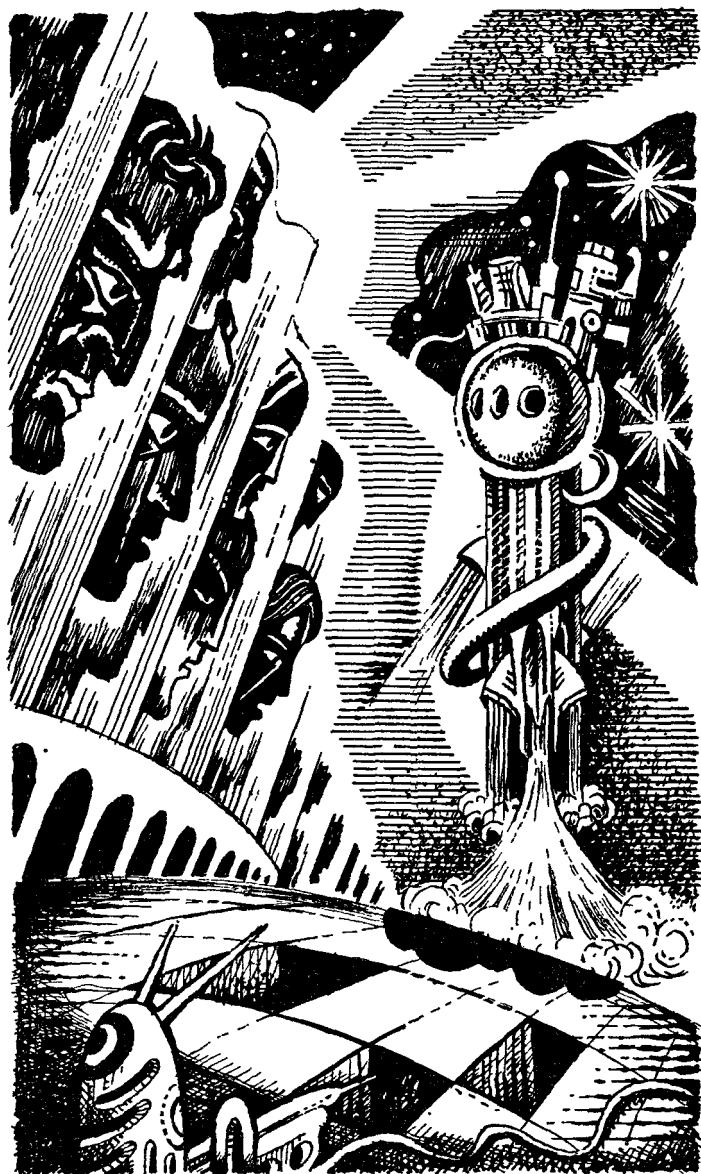
— Мне трудно, Эдуард, но я креплюсь. Не тревожься за меня. Что нового принесли вчерашние эксперименты?

Так она спрашивала каждое утро: вызывала по стереофону и задавала один и тот же вопрос. И я отвечал одним и тем же разъяснением: нового пока нет, идет накопление данных. Она грустно улыбнулась, выслушав стандартный ответ, и пожалела меня:

— Ты плохо выглядишь, Эдуард. Я не собираюсь отговаривать тебя от круглосуточных дежурств у трансформатора атомного времени, ты все равно не послушаешься. И не посылаю к медикам, ты к ним не пойдешь. Но все-таки иногда думай и о себе.

— Я часто думаю о себе, — заверил я бодро.

Так мы перебрасывались малозначащими для посторонних фразами, с болью ощущая сокровенное значение каждого слова. А потом на площадку спустился планетолет с Латоны и вышел Рой Васильев. Он прошагал через расступившуюся толпу, пожал с полсотни рук — мою тоже, — столько же раз повторил: «Здравствуйте!» Приветствие прозвучало почти приказом: «Смотрите, чтобы были у меня здоровыми!» Мне в ту минуту почудилось, что я так воспринял его приветствие из-за разговора с Жанной о здоровье, а реально оно означало обычность встречи.



И понадобилось несколько встреч, чтобы я понял: у этого человека, астрофизика и космолога Роя Васильева, не существует обыденности выражений и притупленной привычности слов, он говорит их каждый раз почти в первоначальном смысле, и даже такое отполированное до беззначности словечко, как «спасибо», меньше всего надо воспринимать как простую признательность. Дикарское полуиспуганное-полумолящее «спаси бог!» куда точнее — горячее, от души, а не вежливая благодарность. В наших последующих встречах эта особенность Роя сыграла немалую роль, но в тот первый день знакомства я и помыслить не мог, как вскоре понадобится вдумываться в многосмысленность, казалось бы, вполне однозначных слов.

Зато в аэробусе я составил себе твердое представление о внешности гостя с Земли — единственное, что сразу о нем узналось точно.

Рой Васильев сидел в переднем кресле, у коробки автоводителя, лицом к пассажирам. То один, то другой обращались к нему с вопросами, он отвечал неторопливо и обстоятельно, пожалуй излишне обстоятельно, не быстрыми репликами, обычными на Урании, а сложно выстроенными соображениями, в каждую фразу вкручивалось с пяток придаточных предложений, уводящих то вправо, то влево, то вперед, то назад от главного смысла. Я украдкой запечатлел на пленке один из вычурных ответов о цели его командировки на Уранию и ограничился этим: ничего важного он сегодня сказать не мог, важное начнется, когда он по-деловому ознакомится с Уранией. Я молча разглядывал посланца с Земли. Смотреть было на что.

Он был высок, этот Рой Васильев, почти на голову выше любого уранина. Правда, как-то получилось, что на Уранию приезжали в основном люди среднего роста и малыши, ни один из земных исполинов не выпрашивал сюда командировок. На Земле Рой ростом никого бы не поразил, но здесь выделялся. Худой, широкоплечий, длинноногий и длиннорукий, он плохо умещался в низком кресле и то протягивал вперед ноги, то, поджимая их, высоко поднимал колени. Лицо его тоже было не из стандартных — большая голова, собранная из крупных деталей: широкий, мощной плитой лоб, нос из породы тех, какие называют «рулями», внушительный толстогубый рот и сравнительно маленькие на таком крупном лице голубые, холодные, проницательные глаза. Рой методично

обводил всех взглядом, ни на ком — до меня — не задерживался, в глазах светилось пристойное равнодушие. Так было, пока он не бросил взгляд на меня. То, что совершилось при этом, и сейчас мне кажется удивительным. Глаза его вдруг вспыхнули и округлились. Он словно бы чему-то поразился. Он не мог знать, кто я такой, никто при знакомстве не называл своей должности. И подозревать, что именно я имею какое-то особое отношение к трагедии, у него оснований не было. А он впился глазами в мое лицо, как бы открыв в нем что-то важное. Многие заметили, как странно он рассматривал меня, а сам я, уже в лаборатории, долго стоял у зеркала, стараясь понять, чем поразил его: лицо было как лицо, некрасивое, немного глуповатое, кривоносое, большеглазое, узкоскулое, со скошенным подбородком — в общем, по снисходительной оценке Чарли, из тех, что восхищения не вызывают, но и кирпича не просят.

Мы подлетели к гостинице, и Рой объявил свою программу: сперва он детально ознакомится с Уранией, его давно интересует эта замечательная планета, столько о ней по Земле ходит историй. Потом побывает на Энергостанции, на Биостанции и в Институте Экспериментального Атомного Времени. Дальнейшее выяснится в дальнейшем.

Мы возвращались в свои лаборатории четвером — Жанна, Антон, Чарли и я. Повелитель Демонов кипел, Чарли иронизировал, Жанна изредка подавала реплики, я молчал, старательно молчал — так потом определил мое поведение Чарли.

— Нет, зачем нас заставили терять драгоценное время на пустые встречи и ничего не значащие разговоры? — негодовал Антон. — Ну, прилетел кто-то, ну, проехал в гостиницу, ну, что-то маловразумительное пробормотал, а я при чем? Какое мне дело до этого? Вызовут на объяснение, пойду объясняться. Каждый будет говорить в меру своего понимания. А пока одно прошу — не тревожьте попусту!

Раздосадованный, он даже остановился и топнул ногой. Чарли потянул его за руку.

— Не теряй свое драгоценное время еще и на останки. Ты ошибаешься в главном. Каждый будет говорить в меру своего непонимания. Наука состоит из интеллектуальных приключений. Приключения науки классифицируются как загадочные, важные и пустячные. Считаю, что сегодняшняя экскурсия относится к приключениям пустячным. Для тебя заполненное время — некое боже-

ство, которому все подчиняется. Но каждый бог имеет своего черта, а черти, особенно из любимцев бога, народ вздорный и непоследовательный. Я в студенческие годы читал это в древних курсах демонологии.

Антон опять остановился. Он любил замирать на месте, когда в голову приходили интересные мысли. Но сейчас он только закричал:

— Надоели твои парадоксы! Ты способен перевести свои туманные изречения на человеческий язык?

— Способен. Перевод будет примерно такой. Рой Васильев ровно на порядок умней тебя, хотя по габаритам — всего лишь средней руки медведь. Ты требуешь примитива, тебе немедленно подавай отполированные формулировки. А Рой разговаривает полуфабрикатами, он лишь намечает силуэты мыслей и не вырисовывает каждый завиток. Он и допрашивать будет так — на подтекстах, многозначительно, а не однозначно.

— Допросы на подтекстах? — Жанна невесело засмеялась. — Очередная острота, Чарли?

— Очередное точное постижение действительности. Ожидаю неожиданности. И делаю из этого важные для нас всех выводы.

— Выводы? — Антон сделал вид, что безмерно удивлен. — Что-то новое. До сих пор ты не выбирался из сферы доводов, предоставляя другим делать выводы. Твоя стихия — о каждой простенькой вещи высказывать ровно десять противоположных мнений, громоздить загадку на загадку, а что верно, ты не успеваешь установить.

— На этот раз я отступаю от своего обыкновения. Я прослушал вступительный словесный взнос Роя Васильева в общую сумятицу суждений о взрыве и наметил дорогу, по которой нам всем шагать.

— Объясни в двух словах.

— Двух слов не хватит. Дай сто.

— Даю сто, но ни одного слова больше.

В сто слов Чарли уложился. Он гнул все ту же свою линию. Ему не понравилась туманность первых высказываний Роя. Он, Чарльз Гриценко, и раньше предупреждал, что будет несладко, теперь в этом нет сомнений. Рой заранее готов обвинить хронистов больше, чем энергетиков или биологов. Когда он познакомится с гипотезой Чарли, мнение, что виноваты работники Института Времени, превратится в убеждение. Он захочет на исследование по трансформации атомного времени. Так

вот — не поддаваться! Если в чем-то второстепенном и уступить, то ничем важным не поступаться.

— Ты уже говорил мне об этом,— напомнил я.

— Тебе — да, Жанне и Антону — нет. В общем, сплотимся. Нас будут допрашивать поодиночке. Предлагаю после каждой встречи с Роем информировать остальных о каждом его слове, о том, как он слушал, как глядел, с какими интонациями говорил...

— Вопросы, опросы, расспросы, допросы!.. — повторила Жанна то, что уже говорила мне. — Как это противно! Ну, скажи, пожалуйста, какое значение могут иметь интонации голоса Роя!

— Первостепенное, Жанна. Эдик, я видел, ты что-то записывал в аэробусе, включи-ка!

Я вынул карманный магнитофон. Антон опять остановился. Мы, сгрудившись, выслушали длинную фразу, записанную, правда, не с самого начала: «... а потому необходимо, учитывая заинтересованность Земли в благополучии Урании и ответственность каждого, поскольку мои особые задания не выходят за эту границу, а сам я чрезвычайно в этом заинтересован и могу вас заверить: только в этом направлении и буду действовать, и, стало быть, картина задачи выясняется как картина дальнейшей безопасности, хотя неизбежны всяческие отклонения, то именно это и подчеркнуть, а после разработать окончательные условия, отдавая себе отчет, что и Земля, и Урания тут одинаково согласны».

— Абракадабра какая-то! — рассердился Антон.

— По-моему, все понятно, только длинно и витиевато,— возразил Чарли.— Надо воспринимать высказывания Роя, как некогда спартанские вожди воспринимали двухчасовую речь афинских послов, явившихся в Спарту с просьбой о мире.

— Никогда об этом не слышал.

— Тогда послушай. Афины жаждали мира, Спарта хотела продолжать удачную для нее войну. И спартанцы ответили афинским послам, что ничего не могут ответить на их речь, потому что не поняли ее конца, а не поняли конца, потому что забыли начало.

— Остряки. Но какое это имеет отношение к Рою?

— Умницы, а не остряки. Они сделали вид, что не понимают речи афинян именно потому, что отлично ее понимали. Рой Васильев совместил в себе афинянина со спартанцем: говорил длинно и всесторонне, как афинянин, каждый завиток предложения имеет точный

смысл, а в целом все звучит для моего уха спартански — «идите, друзья, пока что подальше, а придет время, получите разъяснения поточней».

— Мне пора к себе, — сказала Жанна и ушла от нас.

Мы заговорили о ней. Антон снова сказал, что Жанна оправляется от потрясения. Разве она не засмеялась, когда Чарли заговорил о допросах на подтекстах? Если после гибели Павла было опасение за ее здоровье, то теперь такой угрозы нет. Интенсивное лечение дало результаты.

— Смеялась-то она смеялась, но уж очень не радостно, — заметил Чарли. — И в надежном излечении я не уверен. Ее лечили от второстепенных хворей — нервного потрясения, истощения, головокружений. А надо было лечить от основного заболевания. Основное заболевание — то, что она живет после гибели Павла. Лекарства от болезни, даже от преждевременной смерти, есть. Лекарства от жизни нет.

— Лишить ее жизни для излечения? — съехидничал Повелитель Демонов.

— Кто из нас любитель парадоксов, дорогой Антон? Не лишать жизни, а изменить жизнь — вот что излечит ее. Скажем, возвращение на Землю, полное прекращение всех исследований, в том числе и тех, что она делает для тебя.

— Исключено! Или хотите, чтобы в ваши теплые лаборатории вторгся космический холод? Не забывайте, что теплоснабжение Урании обеспечивают мои сепараторы молекул. — Антон подумал и добавил: — Все же я вижу в Жанне хорошие перемены. Возможно, душевное ее состояние остается скверным, но физически она оправилась, даже похорошела.

На развилке шоссе, где наши дороги расходились, Чарли снова напомнил:

— Итак, друзья, держимся твердо: уступать, но не поступаться!

4

«Уступать, но не поступаться» — так он объявил, уходя к себе. В сущности, то было пустое наставление, в нем не содержалось конкретности. Но для меня в такой краткой формуле тайлось все, чего я мог пожелать. Чарли, при всем его остроумии, и не догадывался, сколь много значили его слова. «Уступать, но не поступаться», — твердил

я, шагая по лаборатории, заставленной механизмами и приборами. Самописцы писали все те же кривые, процесс шел своим ходом — от пункта к пункту, от этапа к этапу. Всеми фибрами души, всей силой мысли я стремился убыстрить его, но он двигался по своим законам, не по моему хотению. Мы с Павлом, как некие могущественные волшебники, вызвали к жизни еще никому не ведомые потенции природы, но не подчинили их себе: гибель Павла, взрыв двух миллионов тонн сгущенной воды стали свидетельством нашего бессилия. «Первым грозным свидетельством, на нем не завершится», — предугадывал я. Дознается ли Рой Васильев до тайны трагедии на Урании, если сам руководитель Института Экспериментального Атомного Времени, сам блистательный академик Чарльз Гриценко далек от ее понимания? Скоро ли дознается? Сколько времени нужно мне с Жанной, чтобы овладеть коварным, бесконечно опасным джинном, так безрассудно нами вызволенным из атомного заточения? Даст ли нам землянин Рой это время? Что он потребует от нас? Что разрешит? Что запретит? У меня голова распухла от трудных мыслей. «Уступать, но не поступаться», — твердил я себе как заклинание. И понятия не имел, что именно уступать, чем именно не поступаться.

День шел за днем. Рой не торопился. Цистерна со сгущенной водой оставалась на Латоне. Энергетики жаловались, что ресурсы ядерных аккумуляторов на пределе. Биологи ворчали, что им установили слишком жесткий энергетический лимит. О нашем институте и говорить не приходилось, любой эксперимент со временем требовал бездны энергии — девять десятых мощностей Энергосистемы работали на нас. Между прочим, хронисты вели себя сдержанней энергетиков и биологов. Гипотеза Чарли, что причина аварии в неполадках с атомным временем, пугала всех. Никто не требовал немедленной доставки с Латоны заветной цистерны, ибо каждый опасался вопроса: а как вы предотвратите новую аварию, если причина ее в ваших работах, но что за причины, вы сами толком не знаете?

Рой, повторяю, не торопился. До него, казалось, не доходили сетования энергетиков и биологов. Он безмятежно гулял по Урании. Его видели на берегах неширокой Уры, он карабкался по сопкам и спускался в долины, осматривал дома и заводские здания, облетал на авиетке южные леса и саванны. Он держал себя как турист, а не как следователь. И когда заговаривал с кем-либо, то лишь



для того, чтобы высказать свое восхищение пейзажем планеты, выбранной людьми для самых опасных экспериментов, какие стали доступны науке. Он разглагольствовал о благоустроенности, о том, что всего за два человеческих поколения каменистый дикий шарик в космосе превратили в цветущий сад. «Кажется, этот Васильев считает Уранию космическим домом отдыха», — говорили те, кого он устаивал своими пейзажными беседами, а иных он пока не вел.

И к выполнению своего задания Рой приступил иначе, чем ожидали. Он заинтересовался работой биологов. Посетил все биологические лаборатории, вызывал биологов к себе для собеседований и расспрашивал о том, что не имело отношения к взрыву. Его занимало, как ведут себя искусственно синтезированные звери, рыбы, птицы, растения, какая от них польза, будут ли биологические искусственники вывезены на Землю и другие планеты для расселения там или жизнь их ограничится лишь индивидуальным, а не видовым существованием. Даже сами биологи, а они безмерно гордятся своими удивительными созданиями: наши, мол, успехи — вершина человеческой науки (такова их скромная самооценка), — даже они удивлялись расспросам Роя.

Затем пришла очередь энергетиков. Этих-то несчастье на энергоскладе касалось непосредственно. Теперь в разговорах посланца Земли слышались словечки: «взрыв», «катастрофа», «трагедия», «меры предосторожности». Чарли не сомневался, что ни один энергетик не способен дать толковое объяснение события, для них сгущенная вода была то же, что для древних энергетиков уголь или нефть, — они использовали готовый продукт, не задумываясь о его происхождении.

— Пока Рой не поставит себе вопроса, как получается сгущенная вода, он и не приблизится к раскрытию загадки, — утверждал Чарли. — Технологию сгущения воды надо было изучать на Земле. По всему, он этого не сделал.

Последним из энергетиков Рой пригласил к себе Антона Чиршке.

Повелитель Демонов так заторопился предстать перед следователем, что забыл известить нас о вызове. Чарли узнал о его уходе к Рою и предложил мне и Жанне срочно прибыть в лабораторию Антона. Не скажу, что я охотно оторвался от процесса, кое-что еще надо было сделать, и все же поспел до возвращения Антона. Чарли развлекал Жанну, но это ему удавалось плохо.

— Ужасно хочу спать, — пожаловалась Жанна. — Если засну, не будите до появления Антона.

— Все нормально, — объявил Чарли. — Сон — это здоровая реакция на нездоровую действительность. Любое выздоровление начинается с позыва ко сну.

Я хотел было напомнить Чарли, что недавно он доказывал невозможность излечения, если не ликвидируют основное заболевание, — а основное заболевание Жанны, по его словам, тот факт, что она живет, — но вовремя сообразил, что парадоксы такого рода не для слуха Жанны. Тут ворвался Антон Чиршке и с порога закричал:

— Вы у меня? Я каждого вызывал, никто не откликается! Понять не мог, куда вы все подевались. Черт возьми, что произошло! Нет, этот Рой — штучка, можете мне поверить!

— Садись! — приказал Чарли. — Не топай ногами и не размахивай руками. Постарайся говорить связно. Точно передать разговор ты, конечно, не сможешь, но хоть ни о чем не умалчивай и не мекай.

Не сомневаюсь, Чарли хотел, чтобы Антон обиделся. Обиженный за недоверие к своим способностям, Антон начинает следить за собой, и тогда с ним все проще. Чарли добился большего — Повелитель Демонов вознегодовал. Он обругал Чарли и взял себя в руки. Это дало ему возможность десять минут толково изъясняться.

— Знаете, с чего начал этот белобрысый землянин, этот медведь средней руки, как ты его определил, Чарли? Ни за что не поверите, друзья! Пожал полутонным усилием мою руку, как будто не пожимал, а выжимал ее. И объяснил, что больше всего его интересует, почему я ношу странную кличку Повелитель Демонов? Я, естественно, поправил: не Повелитель Демонов вообще, а Повелитель Демонов Максвелла. Он скептически осведомился, есть ли в названиях разница. Я заверил, что разница весьма существенная. Он попросил разъяснить эту существенную разницу. Я ответил, что ее должен видеть каждый здравомыслящий и культурный человек, в особенности физик по образованию. У Роя железная выдержка, он и глазом не моргнул, даже стал мягче голос.

«Если это вас не затруднит, — сказал он и так улыбнулся, словно я его одарил, а не высмеял, — то я бы хотел узнать подробнее, что должен видеть в разнице демонов».

«Общеизвестные демоны, — сказал я тогда, — это нечто вроде злых или там не очень добрых духов, непрерывно общающихся с людьми, то есть чаще всего вредных

людям, — всякие черти с рогами и хвостами, домовые в лохмотьях, заросшие шерстью крысообразные бесы, безрогие и бесхвостые гномы и кобольды, эльфы и сильфиды в развевающихся одеждах, а также уродливые старухи ведьмы, лесные бродяги лешие, коварные речные русалки, прожорливые горные драконы, глуповатые джинны в бутылках и прочие в том же роде. Объединяет всех этих многообразных демонов то, что все они сверхъестественные существа, каждое со своим именем и норовом, и непохожим на других обликом, и что эти сверхъестественные существа реально — в смысле «физически» — не существуют. Они — плод воображения».

«Понятно, — сказал он. — Общеизвестные нормальные демоны имеют свои особые фигуры и лица, носят особые имена, по-особому общаются с людьми, а реально их нет. Этими красочными плодами воображения вы не командуете. Сколько вспоминаю, такими демонами повелевали в древности некий царь Соломон и два-три арабских халифа. В общем, с ними просто. Ну, а демоны Максвелла? Они тоже имеют имена и телесный облик? И существуют физически?»

«Нет, — сказал я. — Демоны Максвелла — это научные понятия. Им не присвоили телесного образа, их не наделили именами. Великий физик прошлого Джеймс Кларк Максвелл предположил, что если бы существовал демон размером с молекулу, и если бы этот демон стоял у забора с отверстием, прикрытым дверкой, и если бы к отверстию подлетали молекулы, то он смог бы их сепарировать по скоростям: открывал дверцу перед быстрой молекулой, поспешно закрывал перед медленной. В результате быстрые пролетали бы по другую сторону забора — и там повышалась бы температура, а медленные оставались бы по эту сторону — и здесь температура падала бы. Мне удалось реально осуществить гениальную идею Максвелла».

«Поэтому вас и назвали Повелителем Демонов Максвелла?»

«Совершенно верно».

«И эти демоны, эти абстрактные научные понятия, не имеющие ни имен, ни физического образа, у вас прицели вид...»

«Особого рода пористых перегородок, которые я изобрел еще на Земле и которыеставляет мне на Урании лаборатория Жанны Зориной. Быстрые молекулы пролетают сквозь них, не теряя скорости, медленные отталкиваются. Вроде бега с препятствиями: хороший бегун легко

перепрыгивает через поставленный на пути забор, плохой задевает его ногами и падает...»

«Я слышал, все отопление на Урании производится вашими демонами, то есть сепараторами молекул?»

«И охлаждение тоже. Все холодильные установки работают от моих сепараторов».

«Как технически это осуществляется?»

«Проще простого. Специальные насосы вдувают в сепараторы воздух под давлением. Быстрые молекулы проскакивают через перегородку и отводятся по горячей трубе, медленные рушатся в трубу холодную. Вот и все».

Так я ему растолковал конструкцию моих сепараторов. Он кивал, улыбался — демонстрировал, что его восхищает простота объяснений. А потом задал стандартнейший вопрос всех невежд: не опровергают ли мои демоны, принявшие телесную форму пористых перегородок, второе начало термодинамики? Вот, мол, есть такое понятие «энтропия» — мера вырождения энергии, мера хаотичности движения молекул. Он затвердил еще в восьмом классе, что энтропия во всех физических процессах должна расти, увеличивая хаос и беспорядочность, — как у меня с этим священным понятием термодинамики? Ему почему-то кажется, что мои демоны ополчились на фундаментальные законы физики. Я не постеснялся сказать, что хороший физик не должен ограничиваться знаниями, приобретенными в восьмом классе. И популярно растолковал, что и в моих установках энтропия растет. И что если снова соединить горячий и холодный потоки, то воздух возвратится к прежней температуре — повышение ее в одной трубе компенсируется понижением в другой, а к этому еще добавляется потеря энергии на работу насосов, весьма немаловажная величина.

«В общем, можете не волноваться, Рой, — объяснил я, — энергия в моих установках не создается и не уничтожается, а лишь трансформируется».

Он любезно заверил, что уже не волнуется, и предложил перейти от сепарации молекул к взрыву сгущенной воды. Я согласился, что пора перестать попусту терять время. Он и этот выпад снес. У него дьявольская выдержка, вам нужно заранее с этим считаться. Он почти вежливо сказал:

«На Земле мне объясняли, что не существует физических процессов, которые могли бы вызвать нарушение структуры сгущенной воды. Вы согласны с этим?»

«Абсолютно, — ответил я. — Превращение сгущенной

воды в обычную происходит только с открытой поверхности, и при этом выделяется огромное количество энергии, которая и утилизируется. Процесс подобен испарению, только несравненно более энергоемок и несет обратный знак — при испарении энергия поглощается, а не выделяется. И как нельзя заставить воду превращаться в пар во всей массе, если температура ниже точки кипения, так нельзя и сгущенную воду во всей массе заставить менять свою структуру. Вам правильно говорили на Земле, друг Рой: не существует условий, вызывающих превращение изнутри сверхплотной массы в обычную. Даже если вы бросите цистерну со сгущенной водой в звездные недра, то и там температура в миллионы градусов не вызовет мгновенного взрыва. Напомню, что баллоны со сгущенной водой испытывались в термоядерном пекле и теория подтвердилась».

«Однако взрыв на Урании произошел, — сказал он. — Вы не будете этого отрицать?»

«Не буду».

«И стало быть, теория опровергнута?»

«Стало быть, опровергнута».

«У вас есть объяснение?»

Я рассердился. Его вопросы раздражали примитивностью, почти невежеством. Если бы я знал, какой удар готовит мне Рой, я бы сдержался. Но он глядел так наивно, так легко сносил мои выпады, что я зло напомнил: расследует катастрофу он, а не я. Если бы мне стали ведомы причины катастрофы, то ему не понадобилось бы прилетать на Уранию. Не вижу никаких объективных причин для несчастья, не могу обсуждать даже абстрактных возможностей. У него похолодели глаза. Он не взглянул, а ударил взглядом.

«В самом деле? А я собираюсь предложить вам для рассмотрения одну абстрактную возможность несчастья. Она непосредственно вытекает из вашего рассказа о своих работах».

«Вот как? Интересно!»

Надо было вскочить, топнуть ногой, в крайнем случае, стукнуть кулаком, с вами бы я так и поступил, но с ним постеснялся, только постарался, чтобы слова прозвучали язвительно:

«Очень хочется знать, какие возможности катастроф таятся в моих работах».

«А, к примеру, вообразите, что стенки энергетической цистерны каким-то способом превращены в разновидность

ваших пористых перегородок и что сквозь них бурным потоком вдуваются в сгущенную воду под давлением быстрые молекулы. Вы уверены, что это не приведет к немедленному взрыву?»

Я бы жестоко соврал, ребята, если бы не признал, что его слова меня ошеломили. То, что Рой говорил, было дико, но абстрактная возможность такого объяснения существовала.

«Но ведь этого не было!» — воскликнул я.

«Я с вами говорю о возможностях, а не о реальностях», — холодно напомнил он.

Он, похоже, радовался, что ему удалось меня поразить. Но я ответил:

«А не кажется ли вам, друг Рой, что привлекать для объяснения взрыва сепарационные перегородки ничем не лучше, чем вызывать для этого реальных демонов?»

«Реальных — в смысле «реально не существующих»? — деловито уточнил он. — Вы говорите о бесах и дьяволах, феях и ведьмах, леших и эльфах?»

«Именно о них. Почему бы не объяснить катастрофу на энергоскладе вторжением в цистерну сгущенной воды зловредных джиннов или кобольдов?»

«Попробуйте изучить и эту возможность, вы ведь крупный специалист по демонологии, — хладнокровно отпарировал он. — Надо, надо вам оправдывать прозвище Повелитель Демонов, друг Антон».

На этом беседа закончилась. Он снова мощно выжал мою руку и милостиво отпустил. Вот такой разговор, други мои. Не стану притворяться — конец был иным, чем начало. Боюсь, что не так я иронизировал над его наивными вопросами, как он подшучивал надо мной. Бросаю вам эту психологическую кость, погрызите ее.

— Погрызем, погрызем! — сказал Чарли. — Но раньше послушайте, как я оцениваю сцену, описанную Антоном.

Толкование Чарли было просто. Рой Васильев работает по системе. Он подбирается к решению загадки исподволь: последовательно отсекает все, что не может иметь значение. Его прогулки по Урании — отнюдь не пейзажное времяубивание. Если бы это было не так, то он продолжал бы их, а он как отрезал все выходы на природу — видимо, установил, что с катастрофой природные условия не связываются. И, верный своей системе, он начал опросы с биологов и опять установил, что они далеки от тайны, — такое на первых порах пытлиное изучение новых биоло-

гических объектов, такой глубокий интерес к искусству геноконструирования в считанные часы сменяются полнейшим равнодушием. Подходит очередь энергетиков — следующий этап приближения к загадке. Опросы превращаются в расспросы. А в случае с Антоном, последним из энергетиков, расспросы завершаются насмешками, Рой подшучивает над нашим вспыльчивым другом. Он ни одной минуты не верит, что исследования Антона Чиршке могли вызвать внезапное катастрофическое изменение структуры сгущенной воды.

— Этот Рой Васильев, космофизик и детектив, — штука с ручкой, — покачал головой Чарли. — Я назвал его медведем средней руки. Но шкура этого бурого медведя шита белыми нитками. Круги его поисков сужаются. В фокусе его внимания скоро окажемся мы трое — Жанна, Эдуард и я. Это опасно. Нужно готовиться к тому, что опросы, превратившиеся в расспросы, теперь станут допросами.

— Не понимаю тебя, Чарли! — воскликнул Антон. — Последовательностью ты никогда не отличался, хлесткая фраза тебе важнее факта. Но такой поворот! Не ты ли недавно доказывал, что исследованиям времени ничего не грозит? Уступать, но не поступаться — не твои ли слова?

— Мои, мои! От себя не отрекусь. Но видишь ли, сценка, разыгранная Роем с тобой, очень странна. Я уже не уверен, что удастся избежать осложнений. Очередь теперь за Жанной. Посмотрим, как пройдет ее допрос.

— Буду говорить правду и только правду — точно, как ты советовал.

— Правда чаще всего выглядит неправдоподобной, Жанна.

— Постараюсь доказать Рою, что правда — это правда. Надеюсь, он не остряк и не любитель парадоксов, как ты.

— Надежда — это изнанка неуверенности. В ней что-то от «авось» и «небось». Предпочел бы расчет, а не надежду.

— Хорошо, выражусь по-твоему. Рассчитываю на ясный ум и научные знания Роя Васильева.

— Круги сужаются, — сумрачно повторил Чарли. — Жутко не понравился мне разговор Роя с Антоном. Говорю вам: круги сужаются!

«Круги сужаются», — молчаливо твердил я себе. Всю беседу у Антона мне удалось промолчать. И ни Антон, столь остро ощущающий любое отклонение от обычности, ни Чарли, воспринимающий всякое молчание как красноречивое высказывание, ни тем более Жанна молчания моего не заметили. Поведение Роя казалось им более важным, чем мое поведение. Уже это одно было успехом. У меня разошлись нервы. Если бы меня вызвали сейчас на разговор, я наговорил бы глупостей. Никто от меня не ждет сияющих откровений и пронзительных озарений, отнесли бы мои неудачные реплики к плохому настроению. Но я мог наговорить и такого лишнего, что в старину это назвали бы «неосторожным раскрытием карт». Друзья по-прежнему были далеки от истинного понимания того, как скверны наши дела, и я не имел права просвещать их. Круги сужались. Новая трагедия уже надвигалась, и лишь я один знал, какой она будет. Я это понял, глядя на Жанну.

Проклятый прозорливец Антон Чиршке, Повелитель Демонов Максвелла, и на этот раз не ошибся. Он говорил Чарли, что Жанна повеселела и похорошела, он увидел в этом свидетельство выздоровления, как бы там ни острил Чарли насчет основных и второстепенных хворей. Мне же Жанна казалась, как и раньше, ослабшей и похудевшей, бесконечно измученной, такой она сидела в моей лаборатории, когда я ввел ее пси-поле в датчик самописца и самописец не уловил важных изменений в ее психике. Несколько дней я с ней не встречался и сегодня сам увидел то, о чем первый заговорил Антон. Нет, я не раздражал Жанну пытливым взглядом, она не терпела, когда засматриваются на нее; даже у Павла пресекала любование собой, что же говорить обо мне! Я только бросил на нее взгляд и молчаливо ужаснулся. Она похорошела, она пополнила, на еще недавно серые щеки возвратился румянец, в потускневшие глаза — блеск, в голосе, так долго усталом и слабом, зазвучали звонкие нотки. Антон, чутко воспринимающий и малые изменения, не мог проникнуть в тайную суть перемен. Не здоровье возвратилось, происходило нечто иное — и совсем не радостное!

Самописец пси-поля по-прежнему записывал душевное состояние Жанны. Прибор был из короткофокусных, далеко не брал, Жанна, выходя за пределы научного городка, выпадала из обзора, но пока находилась дома или

в лаборатории, он надежно фиксировал ее душевный настрой. Я запрограммировал компьютер на оценку изменений в Жанне за последние дни. Каждый день компьютер выдавал, что существенных изменений нет, так, обычные колебания от настроения похуже к настроению получше, повышенная нервность, усиленная реакция на раздражительность. Такую же оценку он объявил и сейчас.

— Идиот! — обругал я компьютер и пригрозил кулаком самописцу.

Неистовство Антона, дубасящего кулаком по приборам, охватывало и меня. Но такое поведение, соображал все же я, не будет решением. «Надо поразмыслить», — сказал я себе.

Я бегал по лаборатории и размышлял. Приборы не открывают того, что давно обнаружил Повелитель Демонов, что сегодня увиделось и мне. Приборы описывают душевное состояние, а не внешний вид Жанны. Внешний вид изменился, психическое состояние осталось прежним. Вот так надо понимать несовпадение записи самописца и свидетельства моих глаз.

«Психика запаздывает, — рассуждал я. — Ведь основные отправления организма — дыхание, пищеварение и прочие — мало зависят от сознания. А психика — пленница сознания, она побочная функция разума. Хорошо, что тебя не слышат наши биологи, но в порядке бреда допусти и такое приближение к истине. Понимаешь ли ты тогда ужас того, что надвигается?.. Не задавай себе, глупец, риторических вопросов! — гневно оборвал я себя. — Ты давно предвидел возможность этого. Нужно срочно действовать!»

В столе Павла хранился его альбом фотоснимков. В альбоме была и моя страница: одна фотография с Земли, четыре — я на Урании. Жанне Павел отвел половину альбома. Жанна выглядела на первых снимках чуть ли не девчонкой, такой она прибыла на Уранию, Павел фотографировал ее тогда почти каждый день. Последние фото показывали Жанну, когда она стала женой Павла. Это была незначительная часть альбома: Павел мог уже любоваться Жанной и не обращаясь к снимкам и охладел к фотографированию.

Я всматривался, соотносил многочисленные портреты Жанны с тем, какой она была сегодня. Еще недавно, вынув альбом, я убеждался, до чего Жанна подурнела по сравнению с той, на последних фотографиях. Я горевал вместе с ней, гибель Павла была тяжка и ей, и мне, —

внешний вид отвечал внутреннему состоянию, странным было бы, выгляди Жанна хорошо. Сегодня она походила на ту девушку, еще не жену моего друга, которая глядела со множества снимков. Она была привлекательней и моложе женщины, изображенной на последней странице альбома.

«Не преувеличивай! — сказал я себе. — Ты уже впадаешь в панику. Время еще есть. Форсируй решающий эксперимент».

Но форсировать решающий эксперимент я не мог. Я был способен по-разному использовать законы природы, однако отменить их было сверх моих сил. Я снова и снова изучал кривые стабилизации времени. И снова и снова видел, что ускорения нет, процесс идет на пределе. «Время еще есть», — утешал я себя. Внешний вид Жанны предупреждал, что времени оставалось все меньше.

На засветившемся стереозкране возник Чарли.

— Спешу порадовать, дружок, нас просит к себе посланец Земли. — Недавняя озабоченность, какую Чарли старательно внедрял и в нас, видимо, отошла. Он снова готов был сыпать парадоксами и остротами. — Почему не вскакиваешь? Мало бодрости!

— Иди к дьяволу!

— Намек понят. Исполнение отложим. Раньше посетим Роя. Впрочем, возможно, это и будет реализацией твоего желания.

— Жанну вызывают?

— Жанна, очевидно, пойдет после нас. Видимо, Рой считает, что она ближе всех к тайне катастрофы. Древние французы во всех запутанных случаях советовали: ищите женщину. Тебе не кажется, что Рой Васильев если не по рождению, то по образованию — француз?

— Мне надоели словесные выверты, которые ты считаешь остротами.

— Тогда деловой совет. Приведи себя в порядок. У тебя нос по фазе не совпадает со ртом, с этим уже ничего не поделаешь. Но совершенно излишне к кривому носу еще так злодейски выкривлять губы.

Насмешкой над моим носом он временно исчерпал запас своих шуток. За дверь лаборатории он встретил меня озабоченным — очень нечасто можно видеть его в таком настроении. Хоть я и не люблю зубоскальства, а сейчас вообще было не до шуток, я не удержался:

— Ты тоже по фазе не в своей обычности, Чарли. Боишься Роя?

— Боюсь, — признался он. — Следствие, которое мы с тобой проводим, показывает, что возможны неожиданности.

— Следствие, которое мы проводим? Я думал, следствие ведет Рой Васильев.

— Он ведет следствие открытое. А мы скрыто следим за ним самим. Мы ведем следствие о следователе. Для него тайна — катастрофа на Урании, для нас тайна — что думает о той тайне землянин Рой Васильев, облеченный, не сомневаюсь, значительными полномочиями.

— Следует ли понимать, что для тебя тайны взрыва уже не существует?

— Сердечный мой друг Эдуард! — сказал он с досадой. — Я давно догадываюсь, что ты свой природный ум, правда небольшой и неупорядоченный, намеренно экранлируешь от посторонних глупейшими вопросами. У каждого своя форма самозащиты, но, пожалуйста, не перебирай. Особенно у Роя. Он не поверит, что ты так туп.

Я промолчал. Мы дошагали до гостиницы. Зеленый глазок в дверях приглашал войти. Рой занимал стандартный номер из двух комнат. В гостиной стены были увешаны фотографиями взрыва: локаторы космостанции, следящие за поверхностью планеты, успели зафиксировать катастрофу в ее первые мгновения. Я собственными глазами видел черную тучу из двух миллионов тонн воды, я помнил, как она взметнулась над планетой, как потом из недр ее хлестал ливень. Но фотографии, собранные в гостиной Роя Васильева, показывали детали, мне не известные. Мы с Чарли переходили от снимка к снимку, а Рой сидел в кресле и глядел на нас — внимательно и задумчиво.

— Ну, и что вы думаете обо всем этом, друг Рой? — поинтересовался Чарли, усаживаясь в кресло.

Я сел рядом с Чарли. Рой тихо засмеялся.

— Я пригласил вас, чтобы узнать ваше мнение, а не для того, чтобы делиться своим.

— Да, так обычно ведут расследования. Но случай необычный. Давайте вести его нестандартно. И начнем с того, что не вы нам, а мы вам будем задавать вопросы.

— Можно и так.

— Тогда жду ответа на мой первый вопрос.

— То есть какое у меня создалось мнение о происшествии? Я мог бы ответить: пока никакого. И будет достаточно правдиво. Но не вполне точно, ибо фраза «никакого мнения» тоже своего рода мнение.

— Согласен. И уточняя: какое конкретно мнение выражает абстрактное утверждение, что мнения нет? Уверен, что за внешней неопределенностью вашего ответа таится нечто определенное.

— Вы угадали. Мое мнение таково. Взрыва сгущенной воды не могло быть. Все, что я знаю о технологии изготовления и хранения этого продукта, решительно исключает возможность катастрофы. А взрыв совершился.

— Вы хотите сказать, что причины катастрофы лежат вне уровня современной науки?

— Именно это!

— И вы собираетесь требовать, чтобы мы — я и Эдуард Барсов — подняли вас над уровнем современной общеизвестной науки?

— Уверен, что вы можете это сделать.

— Мы это сделаем. Начну с того, что причина катастрофы, по нашему мнению, таится в характере исследовательских работ в Институте Экспериментального Атомного Времени, который я возглавляю. И скажу больше — ничто иное, кроме экспериментов над атомным временем, не может явиться научным объяснением катастрофы.

— Стало быть, вы принимаете на себя ответственность за трагедию?

— Что называть ответственностью, друг Рой? Понятие это неопределенное. Его можно понимать и как сознательное устройство катастрофы. Этого не было. Мы и не догадывались, что катастрофа возможна, до того как она совершилась. Лишь оглядываясь назад, анализируя все обстоятельства трагедии, мы допускаем, что вызвать ее могли некоторые из наших исследований.

— Не предвидели, значит, преступления не было. Но и определенности тоже пока нет. «Не вызвали, но могли вызвать», «оглядываясь на прошлое», «анализируя», «допускаем»... Вряд ли такие уклончивые формулировки сочтут доказательными.

— Вам придется удовлетвориться ими, ибо никто другой, кроме нас, и до такой неопределенной определенности не дойдет. Поверьте, друг Рой, ни один человек ни на Урании, ни на Земле и не подумает заподозрить нас в несчастье. Мы спокойно могли бы сказать: не знаем, не понимаем, столкнулись с загадкой. Как бы вы поступили в таком случае?

— Власть закрыть ваш институт у меня есть...

— Нет у вас такой власти, Рой! Вам прежде понадо-

билось бы доказать, что эксперименты с атомным временем явились причиной взрыва на энергоскладе. А как бы вы это сделали? Где нашли бы факты? Какие выставили бы аргументы? И второе, в наших работах заинтересована вся человеческая наука, они отражены в плане Академии наук в разделе важнейших. И то, что их перенесли на Уранию, местечко для самых опасных исследований, свидетельствует, что какая-то неизвестная угроза от опытов с атомным временем заранее учитывалась, но полагалась менее важной, чем возможный успех. Это вам ничего не говорит?

Я не сомневался, что Чарли идет на встречу с Роем Васильевым, как на сражение. И что Чарли не постесняется припереть Роя к развилке двух одинаково рискованных решений: либо прервать наши работы без строго обоснования, либо оставить их без твердых гарантий безопасности. Но чтобы Чарли провел дискуссию с такой дерзостью и так бесцеремонно показал Рою Васильеву его беспомощность — это было неожиданно! Я переводил взгляд с одного на другого. Чарли раскраснелся, глаза его серdito блестели. Я иногда видел его таким, но то были минуты крайнего раздражения, приступы злости при больших неудачах. Сейчас не было ни поводов раздражаться, ни причин для злости. Чарли временами актерствует, особенно когда ударяется в парадоксы, позы в такие минуты просто поражающие. Однако и позы нынче не было, он не актерствовал: и нападал, и защищался по-серьезному.

А Рой Васильев глубоко откинулся в кресле, слушал с безмятежным хладнокровием: ему, он показывал, даже нравится запальчивость директора Института Экспериментального Атомного Времени, он, мол, способен слушать не прерывая, сколько Чарли вздумается говорить. Но Чарли выдохся и замолчал, и заговорил Рой.

— Очень интересно и по-своему убедительно, — объявил он, лениво покачивая ногой, закинутой на другую ногу. — Чего-то в этом роде я и ожидал. В дороге я штудировал ваш рапорт о взрыве в Академию наук, там вы коснулись и этого вопроса, правда, сослагательно: не могут ли изменения атомного времени, волнообразно распространяясь, сказаться и на расстоянии от ваших лабораторий? Уже формула — волны времени, проникающие сквозь стены хорошо экранированных лабораторий, — поражает... Неподготовленному трудно снести... Но столько на Земле говорят об Урании вообще, о вашем институте

в особенности! Многие убеждены, что вы конструируете машину времени, любимый механизм в романах старых фантастов. Один филолог, проведавший о моей поездке на Уранию, просил меня прокатиться в прошлое лет на восемьсот и записать два-три горных языка на Кавказе — у него какая-то своя теория их происхождения, но он не может ее обосновать, те языки давно вымерли. В общем, друг Чарльз, если вы подробнее введете меня в существо ваших изысканий, это будет не только в моих, но также и в ваших интересах.

И Чарли ответил блестящей лекцией. Он совмещал в себе не только ироника и софиста с глубоким экспериментатором, но был и мастером популярного изложения. Он сел на одного из любимых коньков и сразу погнал в галоп. Вот такой же сверкающей лекцией десять лет назад он убедил президента Академии наук Альберта Боячека разрешить строительство нашего института на Урании. Мы с Павлом тогда сидели в зале рядом и то и дело издавали невнятные возгласы восторга, в такое возбуждение привел Чарли и нас, тоже неплохо разбиравшихся в атомном времени. Не берусь сейчас восстановить ту форму, в какой Чарли вдохновенно ораторствовал перед Роем, попробую передать хотя бы смысл его лекции.

Пусть не говорят при нем о какой-то дикарской машине времени, так Чарли начал. Он, Чарльз Гриценко, — физик и инженер, а не писатель фантастических повестей. Его захватывают лишь реальные возможности науки, а не заоблачные полеты неупорядоченного мечтательства. Перенос больших материальных масс из настоящего в будущее или тем более в прошлое — детская сказочка. И столь же далеки от реальности все воображаемые конструкции, названные машинами времени. Цель Института Экспериментального Атомного Времени, между прочим, состоит и в том, чтобы доказать вздорность подобных сказок. Да, конечно, мы в своих установках искусственно меняем ток времени — то замедляем, то ускоряем его. Но это совершается лишь в недрах атома. Эксперименты с ядерным временем мы освоили, теперь шагнули из теснин ядра в атомное электронное облако. О выходе из атомов в толчею молекул мы пока и не мечтаем.

Время — это всеобъемлющая река, в ней плывут все события жизни, продолжал Чарли — научный соловей, увлеченный только своей песней и не слышащий ничего больше. Иначе бы он заметил, что Рой Васильев слушает его вовсе не так внимательно, как можно было ожидать.

А Рой тем временем бросал на меня быстрые взгляды, словно проверяя, какое впечатление у меня от вдохновенной речи моего начальника; я также — и по возможности незаметно — пытался в свой черед определить, что думает сам Рой. И уж конечно, Чарли и помыслить не мог, что Роя известно все, о чем ему говорят, что он дьявольски осведомленный парень, этот невозмутимый следователь, и ловко прикрывает свою эрудицию ширмой внешнего интереса. Вдруг развернувшаяся безмолвная борьба — борьба между Роем и мной — до Чарли и намеком не доходила, меня самого она застала врасплох; я молчаливо защищался, не было иного выхода — ведь дело, в конце концов, касалось не только меня. Ни один звук, ни одно движение не говорили о разгоревшейся схватке. Был именно тот случай, когда пси-поле собеседника, я скажу сильнее — противника, ощущается без специальных датчиков, фиксируется не на ленте самописца, а реакцией души. Я уже знал, что отныне пронизательное, как удар копья, понимание Роя направлено в меня, как в фокус тайны. И что он, не думая это показывать Чарли, знает, что я о том знаю тоже. Чарли выстраивал стартовую площадку для Роя, чтобы облегчить тому понимание. Но если бы я мог закричать: «Перестань, не ведаешь, что творишь!» — я бы крикнул.

Да, время — это всеобъемлющая река Вселенной, вдохновенно доказывал Чарли. Но каждая река слагается из тысяч струй, ее колеблют миллионы волн. Именно так обстоит и с могучей рекой нашего общего физического времени. Оно складывается из миллиардов локальных времен, в нем слиты мгновения ядерных превращений, атомных взаимодействий, молекулярных реакций, каждая мельчайшая молекулярная частица, каждая атомная комбинация частиц, каждая упорядоченная молекулярная микроструктура атомов вливается в общий поток времени своим крохотным ручейком. Нет, мы еще неспособны повелевать суммарным временем, величественным потоком, текущим в космосе из прошлого через настоящее в будущее, мы плывем в нем безвольной щепочкой, куда нас бросают волны: корабли, прокладывающие самостоятельный путь в этой грандиозной реке Вселенной, долго еще не сконструируют. Но в глубочайших глубинах потока космического времени мы уже способны кое-что сделать. В наших лабораториях мы замедляем и ускоряем течение ядерного и атомного времени. Отдельные атомы искусственно, раньше их соседей, выдвигаются в будущее, так

же искусственно задерживаются в прошлом. Но дальше эксперименты пока не идут. В отчетах института за прошлый год указано: «Методы воздействия на кванты времени найдены, методы слияния искусственно деформированных квантов времени в единый микровременной поток разрабатываются».

Рой задумчиво сказал:

— Стало быть, вы все же нашли способ преобразования настоящего в прошлое или будущее?

Слишком элементарное толкование, возразил Чарли. Оно отдает все той же примитивной машиной времени. Что такое настоящее и что такое прошлое и будущее? Настоящее всегда приход из прошлого и уход в будущее, это разрез по живой линии временного потока. Прошлое еще живет в настоящем, будущее уже в нем живет. Выход в будущее лишь постепенно ослабляет прошлое, а не уничтожает его сразу и целиком. Поэтому изменение временного тока отдельных атомов не выбрасывает их сразу из молекул, а лишь ослабляет связь с остальными частями молекулы. Молекула как бы расшатывается. Она уже частично в будущем, еще частично в прошлом. Но любая разновременность грозит разрывом структуры. Здесь база для многих опасностей.

— Сколько я понимаю, мы подходим к вашей гипотезе взрыва на энергоскладе,— сказал Рой.— В докладе Земле вы осторожно упомянули о ней. Сейчас, видимо, разовьете подробнее?

— Вы не ошиблись, Рой, я перехожу к моей концепции катастрофы. В этой связи должен поговорить о Павле Ковальском, помощнике Эдуарда Барсова. Павел обеспечивал экранирование нашего института. Вас, конечно, информировали, что лаборатория Эдуарда называется лабораторией стабилизации времени. В ее программу входит поддержание постоянства поля времени — в той мере, какая нужна, чтобы волны времени не превосходили безопасного предела. И Павел взял на себя охрану окружающего институт пространства от выноса наружу хроноколебаний. Он вел свое дело надежно уже не один год, но вот допустил какой-то просчет, и пульсирующая волна атомного времени вырвалась острым лучом в направлении энергосклада, который, к сожалению, находился слишком близко от института. Так произошло нарушение спокойного тока внутреннего времени воды. Павел собственным телом, как экраном, погасил пульсацию времени, но было уже поздно: на складе высвободилась из чудовищного

сгущения вода, а в клетках самого Павла произошел разрыв биологического времени. Спасти его мы не сумели.

— Как, по-вашему, произошла деформация атомного времени сгущенной воды — в будущее или прошлое? — спросил Рой.

— В прошлое. Ибо в обозримом будущем сгущенная вода должна оставаться сгущенной водой, если не производится энергосъема с ее поверхности. А в прошлом было время, когда сгущенная вода была просто водой. Достаточно вернуть ее в это время, даже в одно мгновение этого времени, чтобы мигом высвободилась вся чудовищная энергия сгущения, что, к несчастью, и произошло.

Рой Васильев задумался. Чарли бросил на меня вопросительный взгляд — убедительна ли аргументация? Я взглядом же успокоил его — отличная речь, возражений по существу гипотезы не будет.

Рой заговорил медленно, как бы вслушиваясь в каждое слово:

— Возражать вам не могу да и не хочу. Гипотеза, вероятно, правильная. А объяснение откровенное. Вы не ждете, чтобы вам предъявили обвинение, вы сами признаете свою вину.

— Свою часть вины, — поправил Чарли. — В конечном итоге авария произошла от недостаточного экранирования трансформаторов времени. Это мой просчет. Постараюсь больше не допускать таких просчетов.

— Вы продумали, как повысить безопасность?

— Конечно. Новый энергосклад строится подальше от нас. Вы могли заметить: около столовой заканчивают здание, это для него. Вас не удивило, что все мы едим в столовой, отдаленной от институтов? На этом настояли биологи, они боялись заражения пищи вблизи их лабораторий. Мы, как и они, будем удалять все, что не имеет непосредственного касательства к нашим экспериментам. А экранирование лабораторий от пульсаций времени усилено, за этим следит Эдуард Барсов.

Рой наконец обратился ко мне:

— Что вы добавите к объяснениям друга Чарльза?

— Решительно ничего, — спокойно ответил я.

— Значит, вы с ним полностью согласны?

— Полностью согласен.

— Друг Чарльз, по-вашему, исчерпал проблему?

— Мне добавить нечего, — повторил я.

Рой, казалось, что-то хотел спросить еще, но передумал.

мал. Он теперь говорил снова с одним Чарли, так демонстративно игнорируя мое присутствие, что мой начальник, опасаясь я, должен был это почувствовать. Но Чарли и не заметил, что Рой поворачивается ко мне чуть ли не спиной.

— Я буду думать, друг Чарльз,— сказал Рой.— Вы до краев наполнили меня интереснейшей информацией, надо ее переварить. Когда я приду к какому-либо решению, я снова с вами посоветуюсь.

Мы ушли из гостиницы, и по дороге Чарли радостно сказал:

— Он, наверно, думал, что мы будем юлить, оправдываться заранее. А мы обрушили на него правду, нигде не затесывая ее острые грани. Он ошеломлен, это минимум.

— Будет еще и максимум,— сказал я.— В максимуме, очнувшись от ошеломления, он может счесть недостаточными наши защитные меры. Подумай об этом.

— Подумаю,— пообещал Чарли.— Зайди ко мне, проинформируем Жанну.

Жанна возникла на экране. Я сел подальше и постарался не глядеть на нее. Она вновь была недопустимо хороша. Мне и взглядом нельзя было доводить до ее сознания, что я вижу в ней перемены. Чарли весело передал ей наш разговор с Роем и попросил приготовиться к вызову.

— Сколько ты еще собираешься внушать мне свои инструкции? — резко оборвала она.— Чарли, я по горло сыта твоими и Эдика наставлениями.

— Ты такая красивая и умная, Жанна,— умильно сказал Чарли.— В общем, восхитительная. А Рой слабый мужчина. А все мужчины считают ум в мужчине обыденностью, а ум в женщине необычайностью. И когда женщина не только красивая, но и дьявольски умна...

— Чарли, в старину, на которую ты так часто ссылаешься, ежедневно молились господу: избави меня от лукавого!

Он воскликнул с хохотом:

— Жанна, всеми чертями прошу — не избавляйся от лукавого!

6

— Не избавляйся от лукавого и ты, Эдик,— посоветовал Чарли мне.— Ведь лукавый — кто? Вовсе иное, чем он виделся предку. Я тебе это быстренько разьясню...

— Не старайся, — сказал я. — У меня дела поважней выслушивания твоей трепотни. Будет что серьезное, вызывай. Софизмы я способен слушать только в столовой, там они вроде перца к еде.

Я ушел к себе. Чарли еще был в возбуждении от разговора с Роем, ему надо было остыть в одиночестве. Он мыслил всегда ясно, был, я неоднократно поминал это, превосходным логиком, но сейчас его глаза застил туман удачи. Он вообразил себе, что все заканчивается на успешном разговоре, больше от Роя неприятностей не ждать. И странная просьба к Жанне — очаровать посланца Земли — виделась ему точкой, завершающей итог: Рою будет еще и приятно, в угоду нашей уранийской красавице, сделать то, что он и без нее — и, возможно, без приязни — неизбежно сделать должен. Свою часть проблемы Чарли понимал превосходно. Он не понимал одного: то была лишь часть проблемы, а не вся она!

Возвратившись к себе, я проверил процесс и присел на подоконник. Наступал вечер, Мардека закатывалась, на сумрачном, зеленоватом — такова его обычная окраска — небе горели костры трех облачков: впечатляющая картина, покажись она мне до катастрофы, я бы не отрывал от нее глаз. Все бы во мне волновалось, все бы во мне ликовало от того, что так прекрасен мир, в котором довелось жить. Я безучастно наблюдал, как разгорались и гасли золотые и красные пламена заката, повода для ликований не было. «Есть ли еще время?» — допрашивал я себя. И не находил ответа. Ответ мог дать только Рой Васильев. Он был далеко, в гостинице, он странно, угрожающе странно держался сегодня со мной.

Я вспоминал его слова, вспоминал, как он сидел, покачивая ногой, закинутой на ногу, с какой почти равнодушной заинтересованностью слушал. Дикое сочетание: «равнодушие» и «заинтересованность», в стиле острот Чарли, но более точной формулы я найти не мог. И снова, без автоматических фиксаторов пси-поля, ощущал, как все напряглось в нем, когда он бросил на меня быстрый взгляд. Чем я поразил его? Чем возбудил внимание? Тем, что молчал? Чарли часто говорит: молчание — красноречивый сигнал несогласия, категорическое оповещение о протесте. Рой не мог заподозрить во мне несогласие, тем более — протест. Все, что излагал сегодня Чарли, было азбучно истинно, я готов подписаться под каждым его словом. Или Рой почувствовал, что я мог бы чем-то дополнить рассказ Чарли, но не захотел? Что из этого

воспоследует? Будет ли время завершить так лихорадочно ускоряемый и так не поддающийся ускорению процесс? Вопрос элементарно прост, но простого ответа не было...

Я снова достал заветный альбом Павла, снова всматривался в портреты Жанны. Все сходилось: она теперь была иной, чем на последних снимках, она была много красивей, много моложе. Я закрыл глаза, Жанна предстала передо мной такой, какой появилась сегодня у Чарли на экране. «Нет, — сказал я себе, — это же девчонка, как в студенческие годы, в ней вытравлены все следы трагедии с Павлом, даже печать, наложенная тремя годами труда на Урании, двумя годами сумасбродной, сжигающей их обоих любви, — даже этого не видно». Я задал компьютеру все ту же, изо дня в день повторяемую программу анализа ее пси-поля. Компьютер выдал на экране данные, которых я с таким беспокойством ожидал: инерция скорби преодолена, психика Жанны приходит в соответствие с физическим состоянием ее организма, она полностью — душой и телом — оправилась от несчастья. В моем сознании зазвучал голос Жанны, голос смеялся: «В старину молили господу: избави меня от лукавого!» Ее уже не нужно было упрашивать не избавляться от лукавого, в ней возродились все женские инстинкты, все жизненные интересы. Все сходилось, все страшно сходилось в одном беспощадном фокусе. Времени могло не хватить.

«Она должна тебя возненавидеть, Эдуард, — сказал я себе то, о чем думал уже давно, к чему все больше склонялся, как к неизбежности. — Страстно, самозабвенно, безмерно возненавидеть. Иного выхода нет».

Я соскочил с подоконника и заметался по лаборатории. Меня захлестнуло отчаяние. Дело не в том, что я отказывался от мысли завоевать любовь Жанны. От надежды быть ею любимым я отказался, когда она влюбилась в Павла. И трагедии из ее равнодушия к себе не вообразил. Жанна выбрала достойнейшего, нельзя было в том усомниться. Стоило мне и Павлу подойти вместе к зеркалу, стоило увидеть нас за расчетами, у компьютеров, которым мы задавали программу поиска, и сразу становилось очевидным, кто орел, а кто кукушка. Даже Чарли временами говорил: «Ты подобрал себе удивительного помощника, Эдик: красивого, умного, талантливого, работоспособного. Тебе повезло, что в наше время не носят поясов, он заткнул бы тебя за пояс. В старину, я слышал, подобные

странные операции совершались часто». Эмоции командуют мною редко, страсти во мне не горят, а тлеют. Я не сентиментален, не романтик, не сумасброд, не себьялюб, не карьерист — к очень многим человеческим особенностям, анализируя меня, надо прибавить это существенное уточнение «не». И мне, по-честному, все одно мало радости — равнодушна ли Жанна или ненавидит меня. Она меня не любит — это единственно важное, все остальное почти одинаково, так мне вообразалось. А любовь Жанны я не завоевал, когда Павел жил, не завоюю и после его гибели и пытаться не буду. И отчаяние шло не от того, что Жанна возненавидит меня. Суть была в другом: я не хотел умирать.

Желание жить — вот единственная жгучая страсть моей души. Все люди хотят жить, инстинкт существования внедрен в каждого. Никто в здоровом состоянии не жаждет смерти, это естественно. Но я настаиваю, что этот инстинкт во мне особенно силен. Жажда существования для меня — жажда всесуществования. Безразлично как жить, только бы жить, жить, жить! Не знаю, почему я родился, именно я, такой внешне тихий, такой некрасивый — «рот по фазе не совпадает с носом», как справедливо указывает Чарли, не знаю, есть ли особая цель, высокая или глумливая, в том, что меня вызвали из несуществования к бытию, но я бесконечно благодарен, что это совершилось. Древний поэт как-то скорбно допытывался: «Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал?» Могу понять его, вполне могу, но скажу: благословенно то, что одарило меня существованием. Ибо жить — величайшее блаженство! Видеть мир в его буйстве и тишине, в его пылающих красках и сумрачных полутонах, ежечасно, ежеминутно, сиюмгновенно и вечно ощущать себя частицей этого великолепного мира, любоваться им, погружаться в него, все познавать и познавать, и снова, и снова всеполю — жалкая частица Вселенной — ощущать себя всей Вселенной! О нет, нестандартно выкручивалась в житейских стремнинах пока еще не длинная река моего бытия, но ее беды и бури — ничтожность перед тем основным и восхитительным, что она текла. Сколько раз я утешал себя — очень действенным лекарством — дошедшим из древности изречением: «Мне бывало хорошо, даже когда было плохо». И вот теперь свободным своим решением, жестоким итогом неопровержимого рассуждения я должен уничтожить единственную мою радость, единственное мое счастье — что я существую в мире!

Я бегал от окна к двери и разговаривал вслух с собой, и кричал на себя:

— Почему я? Нет, почему я? Не я вызвал к реальности диких джиннов разновременности, я только не запретил эксперименты. А если бы и запретил, Павел нашел бы способ обойти запрет, для его гениального ума обход любого запрета — пустяк! Но Павла нет, а расплачиваться за его просчеты должен я, расплачиваться неминуемой смертью. Какое пустое словцо — «неминуемая»! Смерть неизбежна, она никого не обходит, даже великие мастера новых геноструктур на Биостанции, творцы невиданных живых тварей не способны ни в старые, естественно возникающие, ни в искусственно создаваемые организмы внедрить ген бессмертия, а так бы это нужно! Да, смерть неизбежна, но в свой час. Мой час пока еще где-то вдали. А требуют, чтобы я сам вызвал его из тумана грядущего, чтобы прервал себя преждевременно. Какое кощунство! Какое злое кощунство!

Поворачиваясь от двери к окну, я видел снаружи погасающие пламена заката и кричал на себя:

— Ты скоро перестанешь восхищаться красками вечернего неба! — И, обращаясь от окна к двери, горестно шептал: — Тебя вынесут ногами вперед в эту дверь... — И, глядя на пол, вспоминал, как бился Павел на этом полу, инстинктивно, всей силой рук пытаюсь разорвать удушную петлю разновременности и в последних проблесках сознания страшась, что разорвать ее удастся, иступленно не допускал спасти себя. Будет час, и я забьюсь на полу и, как Павел, разорвусь душой в страдании двойного страха — что смерть наступает и что ее могут предотвратить. Я бросал взгляд на самописцы и регуляторы — их не исковеркает разновременность, они останутся, только меня не будет, только меня одного не будет! Они доведут процесс до конца, на их лентах, на кристаллах их бесстрастной памяти запечатлится успех одного из величайших научных экспериментов, им тот грядущий успех «до лампочки», как пошучивали наши предки. А мне, которому так важно знать, как завершится эксперимент, он останется навечно неведом — меня не будет!

— Нет! — закричал я в неистовстве. — Нет, никогда! Я этого не сделаю!

Почти в беспомощности я рухнул в кресло. В окне медленно погасал закат. На небе зажглись ярчайшие звезды, они сверкали на меня живыми глазами. Земля прекрасней Урании, это общеизвестно, но небо Земли не-

сравнимо с небом Урании. Уже ради одного этого радостно жить — каждоночно вбирать в себя свет и сверкание трех тысяч голубых и желтых, красных и зеленоватых светил, сложившихся в сто прекраснейших созвездий космоса. Небо Урании — праздник Вселенной. Тот, кто хоть раз посетил этот праздник, с сожалением расстается с ним, когда на рассвете небо бледнеет, с нетерпением ждет его возобновления, когда Мардека закатывается. Нет, и земные звезды прекрасны, но они бесстрастны, лишь чуть-чуть перемигиваются, а здесь, в темно-зеленом ночном небе Урании, в ее непрерывно волнуемой атмосфере, звезды переливаются, притушиваются, вспыхивают... Они величаво выплывают на ночной свой совет, на какие-то свои переговоры и несогласия, разговаривают между собой, кричат мятежным непостоянством сияния. Мы лишь зрители, допущенные на грандиозный вселенский совет сверкающих небожителей. И я сам вскоре откажусь от зрелища этого божественного звездного торжества, оно останется, меня не станет.

— Не сделаю! — прокричал я чуть не с рыданием. — Не хочу! Не хочу!

Меня била истерика, она истощила мои силы. Наверное, я потерял сознание. Потом, стараясь восстановить обстановку, я догадывался, что беспмятство перешло в обыкновенный сон. И сон был такой глубокий, что лишь вызов Жанны пробудил меня.

— Не спи! — приказала она с экрана. — Я только что вернулась от Роя. Приди ко мне.

Я мигом вскочил. О том, чтобы идти к ней, не могло быть и речи.

— Не могу оторваться от механизмов, Жанна. Сделай одолжение, приходи в мою лабораторию.

— Буду через пять минут.

Экран погас, и я кинулся к аппаратам. Пяти минут еле-еле хватало, чтобы ввести новую программу. От недавней скорби и нерешительности не осталось ничего. План был ясен, его надо было выполнять без колебаний. Теперь меня беспокоило одно: не совершу ли в этой спешке ошибки? Я быстро регулировал автоматы и датчики и дважды повторял — для верности — каждую операцию.

Жанна вошла, когда я отошел от аппаратов и водрузил себя на подоконник — самая безмятежная из моих поз, она это знала.

— Какой трудный день! — со вздохом сказала она. —

Если бы не наставления Чарли и не твои упрасивания, вряд ли беседа с Роем сошла бы благополучно. Это был самый настоящий допрос, по правилам старины.

— Он спрашивал тебя о Павле?

— И о нем. Я сказала, что о Павле лучше узнавать у тебя. Вы вместе вели исследования. Ты присутствовал при его гибели.

— Что он ответил?

— Он сказал, что не увидел в тебе желаниа распространяться о Павле.

— Он и не спрашивал меня о Павле, ограничился тем, что услышал от Чарли. Впрочем, он не ошибся: у меня не было желаниа распространяться о Павле.

— Примерно так я и объяснила.

— Ты сказала, он расспрашивал и о Павле. Значит, его интересовали и другие?

— Другие — это ты один.

— Вот как! Он не интересовался ни Чарли, ни Антоном?

— Он сказал, что Антон и Чарли ему ясны, а ты — загадка. Он с первых слов попросил подробно расшифровать таинственную природу существа, именуемого хронофизиком Эдуардом Барсовым.

— Ты это сделала?

— В меру своего понимания.

— Это много — мера твоего понимания? Чарли шутит: каждый говорит в меру своего непонимания.

— Суди сам. Если, конечно, ты способен судить о себе объективно и беспристрастно. Павел часто говорил, что ты в себе не разбираешься.

— Думаю, что и он во мне не очень-то разбирался. Тайны природы всегда ему были ясней, чем человеческие характеры. Он интересовался законами мира больше, чем странностями людей.

— Тобой он интересовался. Возможно, он видел в тебе одну из тайн природы. У Роя я начала рассказ о тебе словом, которое Павел назвал сутью твоей души. Ты помнишь то слово?

— Нет, естественно.

— Между прочим, Павел часто говорил его. Ты должен был его слышать.

— Я мало собой увлекался. Наверно, пропускал это слово мимо ушей.

— Не смотри на меня. Меня раздражает твой взгляд.

— Буду смотреть в сторону. Так хорошо?

— Лучше. Теперь слушай. В разговоре с Роем я вспомнила, как познакомилась с вами четырьмя. Я прилетела на Уранию с направлением на Энергостанцию и каким-то грузом для Института Времени. Институт достраивался, груз свалили в общежитии. Трое из вас пожертвовали для груза своими номерами, вы переселились к Чарли, его директорская квартира была обширней ваших комнаток. Каждый внес что-то свое в украшение временного жилья. Чарли радостно подчеркнул беспорядок в комнате красивым плакатом, он повесил его на двери: «Выходя на улицу, вытирайте ноги!»

— Плакат в стиле его остроумия. Я помню это его воззвание.

— Антон нарисовал чертенят с хвостами, рожками и руками, гибкими, как хвосты. На чертенят падали молекулы, они ловко отшвыривали их — большие направо, маленькие налево. В общем, оправдывал прозвище «Повелитель Демонов Максвелла». Павел прибил к стене схему переключений регуляторов в каком-то процессе, а ты повесил над своей кроватью портрет древнего философа Декарта.

— Было. Отличная репродукция знаменитой картины Франца Гальса. Я очень любил эту картину, хотя к творчеству Франца Гальса равнодушен.

— Вот, вот! К творчеству Гальса равнодушен, а этот портрет любил. Я спросила у Павла с уважением, — так странно в наше время встретить поклонника старых философов: «Этот твой друг Эдуард Барсов, наверно, большой знаток учения Декарта?» Павел ответил: «Сомневаюсь, чтобы Эдик держал в руках хоть одну книгу Декарта». — «Но почему он повесил его портрет?» — спросила я. «А ты присмотришься к портрету, — посоветовал Павел, — на этой картине изображена душа Эдика».

— И ты присмотрелась к портрету Декарта?

— Много раз присматривалась. Мне очень хотелось узнать все ваши души. С портрета, ты помнишь, глядел мужчина средних лет, длинноволосый — кудри прикрывали плечи, — длинноносый, тяжелые веки наполовину закрывали большие выпуклые глаза, он недавно побрился, но плохо побрился, художник лукаво изобразил и порез на подбородке, и остроконечный изгиб надбровных дуг. А Декарт не просто глядел на зрителя, он радостно удивлялся тому, на что падал его взгляд. Франц Гальс с совершенством воссоздал душевное состояние философа, тот словно говорил каждому, кто подходил к портрету:

«Боже, как удивителен, как прекрасен этот мир! Восхищайтесь им, поражайтесь ему!» И Павел сказал мне: «Теперь ты понимаешь, почему Эдуард выбрал портрет Декарта в наставники? Не учение Декарта — только его портрет. Здесь икона души самого Эдика, его вечное удивление перед всем, что его окружает. Если Антона Чиршке раздражают законы природы, то Эдуард им восторженно удивляется».

— Так вот оно, это загадочное словечко! Удивление — формула моей души! Так, по-твоему?

— Это сказал Павел, и я каждодневно утверждалась, что он прав.

— Ты поведала это и следователю?

— Конечно. Он ведь интересовался твоим характером, как я могла скрыть главную твою особенность? И я рассказала ему, что ты способен замереть от восхищения, когда мимо твоего носа пролетит гудящий жук, и, забыв на время обо всем ином, ты будешь следить зачарованными глазами за тяжелым полетом жука. Что когда на обочине дороги вдруг раскроется краткоживущим цветком какой-нибудь вздорный сорняк, ты остановишься перед ним и упоенно удивишься, сколь совершенны невзрачные лепестки, до чего прекрасно, каким-то особым бордюром, их облепила придорожная пыль! И ради такого дурацкого времяпрепровождения опоздаешь к началу важнейшего эксперимента. А в эксперименте, объяснила я Рою, тебя захватывают порой также пустяки, что тормозится сам эксперимент. Я вспомнила, как пришла как-то к вам и ты воскликнул с сияющими глазами, словно случилось что-то абсолютно неожиданное: «Жанна, посмотри результат, как же все поразительно сошлось!» Я спросила Павла, в чем неожиданность, а он захохотал: «Никакой неожиданности, все по расчету, но не будем мешать Эдуарду безмерно поражаться тому, что в науке отклонений от законов природы не наблюдается». А когда ты вечером смотришь на небо, Эдуард! Со стороны впечатление, будто тебя весь день одолевал тайный ужас, что звезды не выйдут на ночное дежурство, и ты радостно ошеломлен, что они все же появились, и поэтому должен насладиться их красотой, ибо она дана только на одну ночь. Вот ты таков, Эдуард. И в наших с тобой отношениях до предела сказала эта твоя привычка всему поражаться, любой штамп воспринимать как открытие. Ненасытная твоя любопытность, обращенная одинаково на важное и неважное. Любознательность без разбора!

— Ненасытная любопытность в наших с тобой отношениях? Или лучше второе словечко — любознательность?

— Ты, конечно, снова впадаешь в удивление! Это ведь секрет твоего понимания.

— Постараюсь на этот раз не впасть в удивление. Ты говорила Рою о наших отношениях?

— С чего бы мне их скрывать? Он спрашивал, я отвечала. Не хочешь ли и ты спросить, что я сказала о нас с тобой?

— Хочу, Жанна.

— Он интересовался, крепка ли наша дружба. Я ответила, что не очень. Ты опять впился в меня глазами, Эдик. Ты ведь знаешь, я этого не терплю! Итак, я сказала Рою, что ты влюбился в меня почти мгновенно, как увидел. Надеюсь, ты не будешь этого отрицать? И еще я сказала, что твоя любовь показалась мне такой привлекательной, меня так трогало твое неизменное восхищение мной, ты с такой доброй радостью следил за каждым моим движением, что и я стала влюбляться в тебя.

— Этого не было, Жанна!

— Это было, Эдуард. Но тут вмешался Павел, сказала я Рою. Павел, в отличие от тебя, был настойчив, когда чего-нибудь хотел добиться. И он был... В общем, Павел был Павлом, тебе этого не нужно растолковывать, а Рою я кое-что объяснила. Но был момент, Эдуард, когда я заметалась между вами, не зная, кого выбрать. Очень короткий момент, но он был, и увлечение мое могло тогда переломиться в твою сторону. Но ты отошел от соперничества. Тебя поразило, что Павел, так страстно увлеченный наукой, может испытывать и другие страсти. Тебя вмиг заинтересовало, а как я отвечу на его домогания. Перед тобой появилась замечательная картина: некто без церемоний прививает девушке свою любовь, стремительно заражает ее своей страстью — ну как этим не полюбоваться? Как не поразиться могуществу чувства, ведь он буквально теряет голову, когда перед ним появляется та девушка? «Деятельный обсерватор» — разве не так шутит о тебе Чарли? Он еще говорит — «неистовый наблюдатель»... А что до нас с Павлом, то я объяснила Рою, что все совершилось по другой шуточке того же Чарли Гриценко: «Кто ухватил, тот и отхватил». Очень точная оценка, доложу тебе. Павел всю меня охватил своим чувством, у меня не стало желания сопротивляться. Так я полюбила его. Так мы стали мужем и женой. Мы были счастливы,

пока он не поставил свой последний злосчастный эксперимент, а ты разрешил его. И разрешил, вероятно, из того же восторженного любопытства: как удивительно, что опыты наши удаются! Вот она, наша удивительная удача: Павел погиб, я не восстановлю здоровья. Есть чему радоваться!

Теперь я знал, как мне держаться. Я не впивался в нее глазами, чтобы не раздражать, но видел ее всю. Она сидела у самописца пси-поля, я заранее поставил стул около него: каждое движение ее души, каждый нюанс настроения фиксировались. Она позволила себе расковаться, после гибели Павла это был первый случай. И она изменилась так, что не только Повелитель Демонов, ясновидец Антон Чиршке, не только сам я, но и любой знакомый не мог бы не порадоваться: «Как вы отлично выглядите, Жанна, помолодели и похорошели». Трусости я уже не смел себе разрешить. Времени оставалось только на одно решение.

И я спокойно, даже с издевкой — она, несомненно, сочтет это издевкой — заговорил:

— Ты представила мне замечательный анализ моего характера. Восторженное удивление перед всем, от всего!.. Неплохо бы продолжить и дальше твоё проницательное исследование. Ну, хотя бы на те минуты, когда я восторженно любовался — другая формула не уложится в твоё понимание меня — фонтаном пылающей, дымной воды, забившей на месте энергосклада. Именно в эти минуты я вспомнил о Павле и испугался, что с ним плохо, и опрометью кинулся назад в лабораторию, забыв и о водном огненосном вулкане, и о метавшемся неподалеку Чарли. Я вбежал к себе и увидел Павла, в агонии рвущего руками с шеи петлю разновременности, ощущение ведь было такое, что его душит какая-то петля.

— Зачем ты вспомнил это? — Голос Жанны стал глухим. Она побледнела, положила руку на сердце.

Я холодно говорил:

— Хочу понять своё собственное поведение, используя твой психологический анализ. Итак, он метался, а я над ним. Что мне надо было сделать? Наверно, выключить аппараты, погасить расширяющийся разрыв времени в теле Павла. А меня удивило — ну, не восторженно удивило, этого все-таки не было, просто удивило — зрелище необыкновенной агонии. Согласись, еще ни один человек не наблюдал, как в душе реальным физическим взрывом распадается связь времен. Хоть взглядом окинуть такую

картину, хоть секундным снимком запечатлеть ее в сознании. А когда я опомнился от своего ненасытного любопытства — так ты глубоко и верно определила его, — когда я кинулся к аппаратам, было уже поздно.

Она подошла ко мне вплотную. Секунду мне казалось, что она ударит меня по лицу. Но она лишь выговорила сквозь сжатые зубы свистящим шепотом:

— Эдуард, ты пошутил, правда? Так страшно, что ты сказал!

Лишь тяжким усилием воли я принудил себя и дальше говорить спокойно:

— Жанна, все было, как я рассказывал.

Она уже верила и еще не верила. На бледном лице округлились нестерпимо сверкающие глаза. Она пошатнулась. Я сделал движение поддержать ее. Она отшатнулась от меня, как от змеи.

— Убийца! — прошептала она. — Эдуард, понимаешь ли ты это? Ты убийца!

— Убийца! — согласился я. — Что было, то было. Прошлого не изменить.

Я разил безошибочно. Я знал, на что наталкиваю ее, и не оставлял иного выхода. Отомстить мне действием она не могла. Выход был один: чувство ненависти. Сейчас она заговорит о Рое Васильеве.

— Прошлого не изменить, — выговорила она посеревавшими губами. — Ты прав, прошлого не изменить. Но почему не изменить будущее? Ты знаешь, что я сейчас сделаю? Я пойду к Рою Васильеву и расскажу, какие эксперименты ты с Павлом поставил. Хоть это будет мне утешением — тебя выгонят с Урании, тебе закроют двери в лаборатории. Не видеть тебя! Никогда не видеть!

— Ты этого не сделаешь. Никогда не сделаешь, Жанна!

— Пойду! — иступленно выкрикнула она. — Прямо от тебя к нему!

— Не сделаешь! Ты все же любила Павла. Не верю, что ты надругаешься над его памятью!

Ей понадобилась почти минута, чтобы обрести дыхание на ответ. Ее захлестывало неистовство. Она была готова на все. Но в ее верности Павлу я мог не сомневаться.

— Ты убил Павла, Эдуард, — сказала она наконец. — А теперь измываешься надо мной! Какой честности ждать от презренного убийцы? Но сказать, что я не любила Павла, что я хочу надругаться над его памятью!.. Боже мой, какая низость! Какая низость!

— Я убил Павла, не отрекаюсь. А ты собираешься плюнуть на его могилу. Вот что будет означать твой поход к Рою Васильеву.

Она кинулась на меня. Не знаю, что она хотела — задушить насмерть или только выцарапать глаза? Я схватил ее за руки. Она вырывалась с такой силой, что меня мотало то вправо, то влево. Но я не выпустил рук, и она ослабела. Я швырнул ее в кресло. Она опустила голову, громко рыдала. Я снова заговорил. Дело было не завершено. Надо было забить еще пару гвоздей в гроб нашей былой душевной дружбы.

— Тебе не удастся заставить меня замолчать, Жанна. Я продолжаю. Ты знаешь, что у Павла была одна цель в жизни, одна пламенная страсть: реализовать практически свое великое открытие. Даже любовь к тебе лишь соседствовала с этой страстью, не умаляя ее. Павел формально был моим помощником, но реально я был его учеником. Я его убил, так уж получилось, но все силы своей души, все свои способности отдам завершению дела его жизни. Пусть мир узнает, каким гением был этот человек, так верно любивший тебя твой муж Павел Ковальский. Пусть не истлеет он безвестным в могиле! Он заслужил в Пантеоне великих людей человечества памятник. И его воздвигнут, тот нетленно-вечный памятник, если ты не помешаешь. Скажи, скажи мне, Жанна, кому протянул бы руку Павел, если бы мог хоть на минуту встать из гроба: тебе, его возлюбленной, его жене, столько подарившей ему ласк при жизни и столь беспощадной к его памяти после смерти? Или мне, его убийце, его верному ученику, думающему лишь о том, как показать миру величие своего учителя?

Все совершилось, как и должно было совершиться. Поводов для удивления, тем более восторженного, не нашлось: не все во мне верно увидела Жанна, вряд ли в ту минуту последних уговоров мне было легче, чем ей. Она с трудом поднялась, поправила растрепавшиеся волосы, она боялась смотреть на меня, чтобы снова не взорваться.

— Пусть будет по-твоему, — сказала Жанна тусклым голосом. — Я не помешаю завершению опытов. Но ты должен знать: ненавижу тебя! Безмерно, бесконечно ненавижу! Теперь это будет единственной моей отрадой — ненавидеть тебя! Ты просишь моей помощи в лаборатории, я вынуждена помогать, но ненависть не смягчится. Помощь будет, а ненависть останется. Вечно тебя ненавидеть! Боже мой, боже мой! Вечно ненавидеть!

Она ушла, хлопнув дверью. Я должен был сесть, чтобы не упасть, так у меня дрожали ноги. Несколько минут я не двигался, ни о чем не думал, ничего не сознавал. Это не было беспомыслие, потеря сознания или сон. Врачи, наверно, заговорили бы об остром приступе нервного истощения. Я назвал бы свое состояние острым истощением души, чем-то вроде кратковременной смерти: я был в этом мире и меня не было.

Восстановив себя, я подошел к самописцу пси-поля, подал выход на диаграмму. Все было, как задумывалось. Нервное потрясение Жанны отразилось в дикой пляске кривых, ее гнев — в их пиках и изломах, ее отчаяние — в их падении вниз, почти к горизонту, к зловещей оси абсцисс небытия. Я проверил программу процесса, задал сравнение со старыми записями. Компьютер доложил, что процесс восстановлен на высоком уровне, он идет, как при жизни Павла. Большого и не требовалось.

Теперь оставалось совершить последнее вычисление: сколько мне осталось жить?

7

— Сколько мне осталось жить? — вслух спросил я себя.

В общем, я успокоился, интерес к дате конца был скорее академическим, чем практическим. Даже если бы вычисление показало, что жизнь быстро шагает к распаду, это не стало бы теперь поводом рвать на себе волосы. Завершение экспериментов именно таким способом было моим свободным решением, негодовать на себя нелепо. Я только с интересом отметил, что самоубийцы кончают с собой в состоянии аффекта, а у меня аффекта не было, неистовство мутило сознание лишь до решения, страх небытия терзал до внутренне принятого отказа от бытия. Конечно, я не радовался, но и уныние не одолевало. Была даже некоторая удовлетворенность, что найден выход из совершенной, казалось, безвыходности, да практическое любопытство — много ли совершишь всяких не имеющих отношения к эксперименту дел, разных необязательностей, которыми всегда полнится наше существование. «Раньше в подобных случаях писали завещания и заверяли их подписями и печатями», — подумал я. И почти весело рассмеялся — раньше не было подобных случаев. Никто, даже после моей гибели, не должен догадываться,

что я ее предвидел, она предстанет случайностью эксперимента, а не его рассчитанным результатом.

Компьютер выдал утешительный расчет: жизни хватало и на дело, и на безделье, можно и всласть соснуть, и разика два погулять по холмам Урании. Я зевнул и потянулся. Желание сна — одно из самых сильных проявлений жизни, но меня, пока я просто жил, на сон не хватало.

— Отказываясь от жизни, можно разрешить себе солидно поспать! — сказал я вслух и засмеялся. Все получалось по любимой формуле: «Мне бывало хорошо, даже когда было плохо».

Я пошел к двери. Появившийся на экране Антон задержал меня.

— Эдик, что такое! — заорал он. — Я возмущен, можешь мне поверить!

— Охотно верю, — ответил я. — Ты всегда чем-нибудь возмущен. Что на этот раз вывело из себя Повелителя Демонов? Наверно, взбесил закон сохранения энергии? Или ты по-прежнему негодуешь на таблицу умножения? Или стало непереносимо, что электроны существуют независимо от позитронов?

— Независимо они не существуют, я берусь это доказать. Но меня возмущаешь ты, а не позитроны. Это гораздо хуже.

— Раньше назови мою вину, потом будешь убеждать, что я хуже возмутительных законов природы.

— Твоя вина — в Жанне!

— В Жанне? — На мгновение я растерялся. Все, что связано с Жанной, имело особый смысл. Любое упоминание о ней звучало опасностью.

— Да, в Жанне! В чем же еще, спрошу тебя?

— Повелитель, воля твоя...

— Не прерывай! Я встретил Жанну, когда она возвращалась от тебя. Она уже выглядела поздоровевшей, даже помолодевшей, а ты ее чем-то так расстроил... Я, естественно, заинтересовался, скоро ли она принесет очередную партию пластинок для сепарации воздуха. Она послала меня в преисподнюю и убежала.

— Ты уверен, что не было у нее причин посылать тебя в преисподнюю и без того, чтобы предвременно посетить мою лабораторию? Для Повелителя Демонов...

— Я запрещаю тебе острить! Ты не Чарли, у тебя остроты не получают. Скажи прямо, чем ты довел Жанну до такого расстройтва?

Повелителя Демонов надо было успокоить. Его необузданность непосредственно не грозила ходу моих экспериментов, но он мог привлечь внимание к дурному настроению Жанны. И такую мелочь следовало предвидеть и предотвратить. Я сказал:

— Мы говорили о Павле. Я наконец показал ей место, где Павел упал. Раньше я боялся это делать. Она плакала, я тоже не плясал. Поводов для веселья не было.

Антон мигом перестроился.

— Понимаю. Будем надеяться, что это последнее потрясение. На время ее надо оставить в покое, пусть она выплачется. Обещаю не торопить с новой партией пластинок, хотя, поверь, они ох как нужны!

Он отключился, и я выбрался наружу.

Была глубокая ночь, короткая ночь Урании, прекраснейшая из ночей, какие мне удалось увидеть в жизни. Всего восемь земных часов отвели космостроители на суточное вращение Урании вокруг своей оси. В природной своей первозданности Урания вращалась еще быстрее, ее прежнее шальное кружение замедлили чуть ли не вчетверо. Первые поселенцы жаловались, что не успевают от заката до восхода Мардеки сосредоточиться ни на одной толковой мысли, а быстрый бег дневного светила по небосклону вызывает головокружение. И при нас старожилы ворчали, что космостроители могли бы расстараться и на большее, мол, ночь осталась такой короткой, что не успеваешь перевернуться с одного бока на другой, как уже пора вставать. Мы, новое поколение исследователей, не предназначали ночи для сна, бывало, не спали и по неделям — драгоценное время не стоило тратить на такое примитивное занятие, как сон. Зато если выпадал спокойный часок, мы торопились на торжество звездной ночи. «Ты — своя собственная обсерватория», — шутил обо мне Чарли, изредка соглашаясь на совместные прогулки. «Ты восторженный созерцатель, ты всему радостно удивляешься», — сказала сегодня Жанна. В отличие от Чарли, ни ее, ни тем более Павла мне ни разу не удалось уговорить полюбоваться праздником звезд. У них была иная радость — побыть лишней раз друг с другом. Звезды им не требовались.

Выйдя из научного городка, я зашагал по темной равнине. «Дойду до извива реки и поверну назад», — сказал я себе. Я шел не торопясь, и небо двигалось мне навстречу. Быстрое вращение планеты добавляло своей красоты в ночное колдовство. Звезды не медленно передвигались, как на Земле, они торопились, не шествовали

друг за дружкой, а — казалось глазу — стремились одна другую обогнать. Силуэты созвездий менялись: расплывчатыми выплывали из-за горизонта, сжимались, становились четкими в зените, снова расплывались, рушась за горизонт. Пока я шел до речки, небо стало другим. «Оно еще раз изменит свой облик, когда я ворочусь», — думал я растроганно.

На долинки и холмы лился серебристый свет, близкие окрестности выступали отчетливо. Урания не имеет спутников, но ночи и без лун полны сияния. Повелитель Демонов утверждает, что при свете звезд он свободно читает старинные книги. Возможно, это правда, но я и днем не видел Антона с книгами, он черпает свои знания из пленок, а не из книг. И, сотни раз прогуливаясь по ночным просторам, я ни разу не встречал на них Антона. Вот и сейчас я был, вероятно, один на всем обширном ночном пространстве планеты. Я шел и шел — никто не приближался ко мне, никого я не увидел вокруг.

Я постоял у речного обрыва. По воде плыли сияющие жгуты: каждая звезда, поднимаясь на небо, торопилась прочертить след своего небесного пути. Выбрав самую яркую звездную ниточку, я любовался ею: расплывчатая, очень длинная — через всю реку, — она сжималась, все ярче сияла, пока звезда карабкалась вверх, а там, в зените, линия превратилась в пылающую точку. Всю поверхность воды усеяли такие неподвижные сверкающие точки среди сотен живых, меняющихся полос и жгутов. Я наслаждался водным отображением звезды, а когда она двинулась из зенита вниз и точка снова растянулась в расплывающуюся и тускнеющую ниточку, я оторвался от реки и пошел домой.

Впервые за много коротких ночей Урании, за долгие часы лабораторных бдений я на своей кровати, отрешенный от суетных мыслей, крепко и сладко спал примитивным сном моих предков, не ведавших ни антимоρφена, ни радиационных душ, ни острой необходимости жертвовать необязательным сном ради настоящего бдения. И, проснувшись к концу следующего дня, я удовлетворенно сказал себе:

— Мне отпущено семь дней на жизнь. Мне хватит пяти для завершения эксперимента. Процесс идет автоматически.

Процесс шел автоматически, это было единственно верное. Но не было ни семи дней, предоставленных на жизнь, ни пяти дней на завершение процесса. Меня с экрана

вызвал Чарли. Еще никогда я не видел его столь расстроенным.

— Приходи ко мне, Чарли,— сказал я.— Поверь, мне нельзя оторваться от аппаратов.

— Оторвись! Когда ты около своих механизмов, с тобой не поговоришь.

На его двери горел красный глазок, запрещающий вход. Ко мне он относиться не мог. Я вошел не постучав. Чарли ходил по своему большому кабинету, как волк в клетке. Он молча показал рукой на кресло, но я присел на подоконник. В окне творился очередной закат Мардеки. Мне недолго оставалось любоваться закатами, этим тоже не удалось. Чарли раздраженно крикнул, совсем как Антон, даже голоса стали похожи, раздражение подавило все иронические интонации, столь обычные у Чарли:

— Слезай с подоконника! Скоро у тебя будет вдосталь времени обсервировать красоты Урании и без того, чтобы делать это из моего окна.

Я знал, что именно этого-то и не будет,— времени для любования красотами Урании из какого-либо окна,— ибо для меня вскоре время кончится. Тем не менее сел в кресло и вопросительно поглядел на Чарли. Он продолжал ходить и на ходу говорил:

— Проклятый Рой нанес-таки нам удар! Энергетики нажимают на него, он поддался. Он дает разрешение на доставку с Латоны сгущенной воды. Энергетики обещают отменить ограничения пользования энергией.

— Ты считаешь это ударом?

— Ударом, и почти смертельным, если мы с тобой не восстанем. Условием для получения воды Рой поставил прекращение всех работ по трансформации времени. Ибо ему, видишь ли, неясно, как конкретно произошел сдвиг времени на энергоскладе в обратную сторону. Он опасается, что и с новой цистерной сгущенной воды произойдет такая же катавасия. Он со всем своим земным изяществом так и выразился: катавасия!.. Удивительно точный язык для знаменитого космофизика!

— Но ведь и вправду точно неизвестно, каким образом волна обратного времени достигла энергосклада,— осторожно заметил я. Чарли я не смог показать, что знаю о причинах взрыва больше, чем он.

— Да, разумеется, мы далеко не все понимаем. Но какое это имеет значение? В свой час попытаемся и подробностей. Сегодня важно одно: такая волна была, ее генерировал Павел Ковальский, она вызвала взрыв. А Павла

Ковальского больше нет, волны обратного времени никто не генерирует, опасностей для энергосклада, к тому же ныне отнесенного далеко от наших лабораторий, не существует. Я рисую ситуацию неправильно?

— Правильно рисуешь. Уверен, как и ты, что условия для новой катастрофы полностью отсутствуют.

— Так почему, тысячу раз черт его подери, Рой Васильев отказывается это понять?

— Спроси у него самого.

— Уже спрашивал. Он притворяется дурачком. Разводит руками — не физически, а фигурально, с этакой наукообразной грацией: доказательства неубедительны, ситуация остается темной, мои, мол, мозолистые мозговые извилины не способны разобраться во всех тонкостях вашей хронистики.

— Так прямо и высказывается?

— Не прямо, а криво! Придумал новый тип аргументации. Нас учили, что «ультима рачио» логики — доказательство от абсурда. А у него — доказательство от невежества. Аргументирует своим невежеством! А за его невежеством стоят обширные полномочия. Все могу понять, одного не понимаю: как Альберт Боячек, наш светлоразумный, наш пронципательнейший президент Академии наук, мог снабдить этого Роя Васильева таким властительным мандатом!

— Что собираешься предпринять?

— Завтра вылетаю на Латону, оттуда на Землю. На время моего отсутствия директором Института Экспериментального Атомного Времени назначаю тебя. Продолжать борьбу с Роем Васильевым будешь ты. Тебе понятны твои задачи?

— Мои задачи мне понятны. Мне непонятно, что ты собираешься делать на Земле?

— Буду стучать кулаком по всем начальственным столам! Схвачу мудрого Боячека за его старческое горло, встряхну душу из этого милого человека.

— А если по-серьезному?

— По-серьезному? Буду доказывать, что эксперименты с атомным временем слишком важны для науки, чтобы так безапелляционно их запрещать. Думаю, в Академии наук к моим аргументам прислушаются больше, чем к безграмотным велениям какого-то дознавателя. О чем ты так напряженно думаешь? Откажись хоть разок от привычки многозначительно молчать! Надеюсь на твою полную откровенность.

Полной откровенности я не мог себе разрешить. Но на многие просчеты Чарли указал. Я напомнил, что еще недавно он предвидел пользу вызванного аварией дополнительного внимания к работе института. Пользы не получилось, ожидается вред. Он думал, что, доказав правильность гипотезы обратного времени, заставит Роя удовлетвориться этим объяснением аварии. Рой пошел дальше, он, судя по всему, основательно напуган возможностями, какие таятся в искусственном изменении тока времени. Теперь Чарли делает новую ошибку. Конечно, он докажет Боячку важность хроно-экспериментов. Это тем проще, что Боячек и не сомневается в их важности. Разве тот факт, что Чарльза Гриценко, физика, создавшего первый в мире трансформатор времени, единогласно избрали в члены Академии наук и Боячек после голосования публично объявил: трудами нового академика открывается особая глава в изучении природы — создается новая наука хронофизика, — разве это не свидетельствует о признании важности наших работ? Но Чарльз Гриценко, академик и директор Института Экспериментального Атомного Времени, любитель парадоксов и острот, человек, умеющий ко всякому несомненному факту немедленно подобрать другой несомненный факт, ставящий под сомнение несомненность первого, этот блестящий софист и столь же блестящий экспериментатор, этот наш общий друг Чарли почему-то упорно закрывает глаза на то, что всеми понимается не только важность, но и опасность любых искусственных изменений хода времени.

— Я ни в одном пункте не отошел от утвержденной на Земле тематики наших работ! Будь справедлив ко мне, Эдуард!

— Буду справедлив. Не отошел от утвержденной тематики, все верно. Но сама эта утвержденная тематика показалась такой опасной, что колебались, можно ли ее выполнять на Урании, далекой от Земли планете, специально оборудованной для сверхопасных работ. Разве не изучали предложение оборудовать вторую планетку, подобную Урании, и передать ее одному тебе? И разве не ты убедил этого не делать, ибо тебе не терпелось поскорей развернуть исследования? Вспомни, что ты говорил: работы наши, конечно, опасны, но вряд ли опасней творений биоконструкторов. Те способны выпустить в мир искусственно созданные смертоносные бактерии, новых гигантских цератозавров, всякое невиданное зверье, перед которым земные тигры, что божьи коровки перед осой, — в

общем, тысячи рукотворных, биологически реальных демонов зла. А мы, хронофизики, и близко не коснемся таких страхов. Так ты говорил, верно? А что получилось? Погиб Павел Ковальский, прекрасный человек, великолепный экспериментатор. И только счастливая случайность, что все мы в тот миг сидели в своих сверхэкранированных казематах, именуемых лабораториями, только эта случайность предотвратила гибель еще десятков, если не сотен людей. Так к кому прислушаются теперь на Земле? К тебе или посланцу Боячека Рою Васильеву? Не надейся, что распоряжение Роя Земля отменит, она его подтвердит. Ты предлагал нам уступать, но не поступаться. Ты поступишься всем. Знаешь, чего ты добьешься? Что возвратятся к предложению, которое ты когда-то уговорил снять: станут спешно выискивать другую планетку для наших работ. А все те годы, которые понадобятся для ее оборудования, мы будем поплевывать в потолок или прогуливаться по равнинам Урании. Если нас, конечно, не отзовут на Землю, чтобы поручить совсем иные исследования.

— Проклятый молчун! — с досадой сказал Чарли. — Сто лет держишь замок на губах, но уж если заговоришь!.. Что ты предлагаешь делать?

— Просить Роя отменить свой запрет. Объяснить ему ситуацию так, чтобы он взглянул на нее нашими глазами. Все иное неэффективно.

Чарли, шагая по кабинету, с минуту размышлял.

— Согласен. Надо опять идти к Рою. И немедленно. Поднимайся, отправимся вместе.

— Нет, — сказал я. — К Рою пойдет один человек. Этот человек — я. Ты останешься у себя.

Чарли выглядел таким удивленным, что я едва не рассмеялся, хотя мне было не до смеха.

— Ты слишком волнуешься, Чарли, — продолжал я. — И ты увлекаешься собственной аргументацией, боюсь, на педанта Роя это действует плохо. Доверь мне переговоры.

Чарли принимал решения без долгих колебаний.

— Иди один. Если ты меня переубедил, то с ним задание проще — не переубеждать, а убеждать. Превратить его дремучее невежество хотя бы в еле брезжащий рассвет знания.

— Та самая простота, которая хуже воровства, — ответил я в его стиле, и он захохотал: реплика показалась ему отвечающей обстановке.

До гостиницы от института было метров пятьсот, но я потратил на них полчаса. Уверенность, с какой я разговаривал с Чарли, вдруг испарилась. Убедить Роя я мог только исповедью, а не вывязыванием цепочки аргументов. На исповедь я не пошел бы ни к Жанне, ни к Чарли. И я не был уверен, что скорбная откровенность подействует на сухого землянина. Что, если и последняя моя отчаянная попытка спасти процесс будет напрасной? Нужно тысячу раз подумать, сотни раз взвесить все «за» и «против», прежде чем постучать в дверь Роя. Я шел, останавливался, стоял — ни одной мысли не возникало в голове, — снова шел. Меня вела неотвратимость.

На двери Роя горел зеленый глазок: он был у себя и не запрещал входа. Я постучал и вошел. Рой стоял у окна. Он сделал шаг ко мне и показал рукой на кресло. Ни на лице, ни в голосе его не было удивления. Он очень спокойно сказал:

— Хотя и поздно, но вы пришли!

8

— Хотя и поздно, но вы пришли! — повторил он, усаживаясь против меня.

— Почему поздно? — Это была единственная возникшая мысль, и я высказал ее, ибо что-то надо было сказать. И, еще не закончив, сообразил, что не так следовало начать.

Но Рой, похоже, не нашел в моей реакции на его слова ничего странного. Возможно, именно такого начала беседы он и ожидал.

— Почему поздно? Мне кажется, вы это должны понимать. Вам лучше было прийти до того, как я наложил запрет на все работы с трансформатором времени. Не появилось бы протестов у ваших коллег.

— Да, пожалуй, так было бы логичней, — сказал я и удивился тому, что он сказал, и тому, что я ответил. Так можно было говорить только после исповеди, а я еще ни в чем не повинился.

Рой смотрел пристально, но без настороженности и отстраненности, раньше я видел в его глазах только эти два настроя — настороженность и осязаемое, как рукой, отстранение. Он знал, с чем я пришел, — не конкретные факты, конечно, но мою готовность искренне поведать о фактах. И я ответно на его знание знал, что ничего теперь

не утаю. И, понимая это, я понял, что и мне предоставлено право требовать ответа на мои недоумения и что лучше мои вопросы ставить сразу.

Я начал так:

— Рой, разговор наш будет не из легких, для меня по крайней мере. И я хотел бы, чтобы раньше разъяснились некоторые ваши странности. Почему вы еще в аэробусе выделили меня среди других? Вы не знали, кто я, какая связь между мной и взрывом, ваши глаза невозмутимо обегали наши лица, ни на ком они не задерживались, а на мне задержались. Ваш взгляд словно споткнулся, когда упал на меня. Не знаю, заметили ли это другие, но я не мог не заметить. Скажу больше — я содрогнулся. Надеюсь, мой вопрос не показался вам нетактичным?

Рой вопрос показался естественным. Он отвечал с исчерпывающей обстоятельностью. Чарли, тоже поклонник обстоятельности, выдал бы ответ в форме деловой справки, присоленной для оживления остротой, приперченной неожиданным парадоксом. У Роя была иная манера — он преобразовал ответ в исследование, представил мне продуманную концепцию, как я выгляжу при первом знакомстве и какие мысли порождает даже случайный взгляд, брошенный на меня. Он выделил меня среди прочих пассажиров аэробуса, потому что я сам выделился. На него все пассажиры просто смотрели, а я всматривался, я изучал Роя, размышлял о нем. То, что это настойчивое изучение и что оно отражает какую-то важную мысль, Рой понял сразу. И, поняв, заинтересовался мной, а заинтересовавшись, удивился, а удивившись, сам стал размышлять обо мне. Я непрерывно менял выражение лица и позы: то мрачнел, то светлел, то замирал на сиденье, то вдруг нервно дергался — таким я увиделся ему в аэробусе. Все это явно шло изнутри, не от реплик пассажиров и Роя, а от собственных мыслей. «Каких мыслей? — спросил себя Рой и ответил: — Тех, которые возникли в этом молчаливом уранине вследствие того, что я прибыл на Уранию и сейчас сижу перед ним. Он, стало быть, этот уранин, всех непосредственной связан с трагедией, и самый точный анализ происшествия я должен ждать от него». В таком убеждении Рой вполне окреп, прежде чем аэробус оказался перед гостиницей.

— Я вскоре узнал, кто вы такой, узнал о гибели вашего помощника Павла Ковальского, — продолжал Рой. — Ваш приход ко мне становился необходим. Я ожидал, что вы потребуете, чтобы я принял вас раньше всех.

Но вы не торопились. Это было странно. А потом явились вместе с Чарльзом Гриценко и позволили ему вести всю беседу. Объяснить ваше настороженное молчание особым почтением к своему начальнику я не мог, у вас с ним отношения свободные, вы, я заметил, иногда так на него огрызаетесь, что на Земле это сочли бы развязностью. Вы предоставили ему привилегию разговора, ибо что-то боялись выдать каким-нибудь неосторожным словом. Ваше молчание шло от предписания себе молчать. И тогда я захотел показать вам, что понимаю вашу задумку — демонстративно стал игнорировать вас, повернулся к вам спиной. Я был уверен, что вы встревожитесь и чем-либо выдадите себя.

— Вы не ошиблись в том, что я встревожился. Но я не выдал себя.

— Вы подтвердили упорно сохраняемым молчанием, что таите секрет. И я подумал, что секрет этот, видимо, нельзя открыть директору института, а ведь вы пришли с ним.

— Правильный вывод. Я не мог поделиться известной мне тайной с Чарльзом Гриценко.

— Но если вы хотели рассказать ее мне, вы должны были потом прийти сами. А вы не шли. Я вызвал Жанну Зорину. Она поведала немало интересных фактов о себе, о Ковальском, о вас. Но тайны она не раскрыла. Если она и знает ее, то сумела сохранить при себе.

— Она знает лишь часть тайны, и я умолял ее даже намеком не касаться этого. Всего она не могла бы вам поведать, если бы и захотела.

— После разговора с ней я окончательно утвердился, что только вы можете пролить свет на взрыв. А вы по-прежнему не шли. Это означало, что вы хотите сохранить секрет. Ради чего? Загадка взрыва, несомненно, связана с вашей лабораторией, стало быть, ваша цель — продолжать исследования, как прежде. И тогда я объявил о запрете экспериментов с трансформацией атомного времени. Основание достаточное, хотя друг Чарльз его запальчиво оспаривает: его собственная теория обратного хода времени указывает на возможность новых катастроф. Перспектива закрытия вашей лаборатории действовала — вы пришли. Теперь я слушаю вас.

Он слушал, я говорил. Временами он прорывался в мою долгую речь репликами. Я отвечал и снова вывязывал свой невеселый рассказ.

Все началось с того, объяснил я, что Чарльз Гриценко

доказал возможность изменения скорости времени и построил первый в мире трансформатор времени, позволяющий менять его течение в атомных процессах. Это было великое открытие, таким его и восприняли на Земле. На Урании выстроили специальный институт для хроноэкспериментов. Чарли пригласил меня на Уранию, мы с ним друзья еще со студенчества. Я возглавил лабораторию хроностабилизации — тематика прямо противоположная той, какую исследовали в других лабораториях института, там ведь доискивались, как время изменить, а не стабилизировать. С Земли прилетел Павел Ковальский, Чарли направил его ко мне. Павел, молодой доктор наук, специалист по хронофизике — дисциплине, созданной в основном трудами Чарли, — привез отличную характеристику: широко образован, умело экспериментирует, годен для выполнения сложных заданий. Павел не оправдывал своей характеристики, он был гораздо выше ее. В характеристике не было главного: Ковальский всегда шел дальше задания. Он был ненасытен в научном поиске. Я долго не понимал, почему Чарли определил Павла в мою лабораторию, у меня ведь трудно совершить открытие, задача у нас — поддерживать постоянство, а не выискивать чрезвычайности. Я попенял Чарли, что он не уловил научного духа Павла. Чарли ответил:

«Полностью уловил, поэтому и направил его к тебе. Хочу вытравить из Павла этот самый дух чрезвычайности. Лучше это делать у тебя».

«Чарльз Гриценко в роли душителя научной инициативы — зрелище если и не для богов, то для дьяволов!» — воскликнул я со смехом. Кто-кто, а уж Чарли не из тех, кто глушит научную инициативу.

«Стремление всегда совершать открытия — не научная инициатива, а научная халтура! — выдал Чарли очередной парадокс.— Настоящий ученый — изучает. Халтурщик — ошеломляет. Наша задача сегодня: изучить закономерности тока времени, а не выламывать его в циркаческих трюках».

«Я раньше думал, что развитие науки идет от открытия к открытию, — сказал я, — что великие открытия — ступеньки подъема науки и что гении научной мысли...»

«Гении, гении! — прервал он сердито.— Гений доходит до открытия в результате великого постижения проблемы. Он планирует для себя понимание, а не открытие. Павел не гений. Его жадное стремление к необычности неизбежно вырождается в поверхностное пустозвонство. Его

так и подталкивает работать на публику, а не на науку».

Кое в чем Чарли был прав, но в одном ошибся. В Павле гнезвился гений, а не халтурщик. Он вышел за грань стабилизации времени ради интереса узнать, что там, за межой, а не для того, чтобы ошеломить заранее ожидаемой неожиданностью. Он был ненасытен именно к пониманию, всей натурой заряжен на изучение. Объяснять это Чарли было бы пустой тратой времени. Чарли составил свое твердое мнение о Павле, и никакие уговоры не заставили бы его изменить это мнение. Аргументом могли быть только реальные результаты, а не слова.

В моей лаборатории Павел скоро поставил опыт на себе. Он сделал это тайно, не только Чарли, но и я не разрешил бы столь рискованных экспериментов. И опыт увенчался блистательным успехом. Павел совершил воистину великое открытие, даже не одно, а два.

— И тогда впервые поделился с вами, чем втайне от вас занимался? — вставил реплику Рой.

Так и было, подтвердил я. Павлу захотелось узнать, можно ли воздействовать трансформаторами атомного времени на биологические процессы. Еще Чарли установил, как он и докладывал вам, что в атомной области выход в прошлое имеет нижний и весьма близкий предел — в дальние древности не уйти. Зато выход в будущее не имеет границ. Идея Павла звучала просто. Биологические системы, в отличие от неорганики, с которой оперировал Чарли, построены иерархически. В мертвой материи изменение времени отдельных атомов мало влияет на соседние. Взять кусок гранита, перебросить половину его атомов на тысячу лет вперед или тысячу лет назад — что изменится? Миллионы лет назад этот кусок гранита был гранитом, миллионы лет спустя будет гранитом. А в биологических системах изменение времени какого-нибудь управляющего центра в мозгу немедленно отзовется на всем организме. Перебросьте тысячу важных нейронов мозга в будущее, отодвиньте их в прошлое — весь организм испытает потрясения. Центр управления организмом, переброшенный искусственно в будущее, властно потянет в будущее всю подчиненную ему биологическую систему — все процессы убыстрятся, организм как бы заторопится жить, зато и старение наступит скорей. А затормозив ток времени, мы замедлим пребывание организма в его настоящем времени, законсервируем его «сейчас», он будет пребывать все тем же, хотя вокруг все будет идти вперед, в свое будущее.

— Что-то вроде этого я читал в старинных книгах по фантастике, — сказал Рой. — Не вижу пока, какие открытия совершил Павел Ковальский. Вы говорили даже о двух.

Да, речь идет именно о двух открытиях. Первое состояло в доказательстве того, что ток обратного времени в биологических системах возбуждается легче, чем в неорганических. Не остановка времени, не консервирование наличного «сейчас», а реальный уход в прошлое, до полного обращения в ничто. Иначе говоря, омоложение до уничтожения. Ибо развитие организма всегда ограничено двумя близкими пределами времени — моментом рождения и моментом смерти, он может балансировать только между этими двумя межами. И его движение в узких границах жизни — процесс автоматический. Все, что рождается, должно умереть. Можно замедлить поступательный ход к концу, но нельзя его отвергнуть. Все это укладывалось в хронобиологические уравнения Чарли. И вот Павел установил, что обратный ход из искусственно возбужденного неминуемо превращается в автоматический. Уход назад, в прошлое, становится столь же естественным, как движение вперед, в будущее. Стабилизация настоящего, вечное пребывание в «сейчас» практически неосуществимо. Малейший толчок — и возобновится ход времени вперед к естественному концу или назад к началу, которое в этом случае станет и концом. Таково было первое великое открытие Павла.

— Иначе говоря, никакой старик, впадая в детство, на стадии юности не задержится, — комментировал мое сообщение Рой. — Открытие довольно грустное. Хотя, конечно, забавно бы поглядеть со стороны, как старец растет — можно применить такой термин? — в молодого мужчину, потом в юношу, потом в отрока и младенца... Что будет дальше? В конце, который был когда-то началом?

— Просто погибнет на каком-то этапе. В зародыш не превратится, ведь он один совершает обратное развитие, матери ему не возвратят. Повторяю, открытие Павла состояло не в грустном признании невозможности омоложения, а в том, что сам этот процесс непременно становится автоматическим, независимо от того, как вы его возбудили.

— Понятно. Слушаю второе открытие Павла Ковальского.

Второе открытие, говорил я, в том, что Павел нашел

удивительную возможность стабилизировать обратный ход времени, то есть опроверг пессимизм теории Чарли и своих собственных доработок этой теории. Надо лишь подстраховать один организм другим организмом. Если два организма связать взаимодействующим психополем, то получится нечто вроде психологического диполя. И тогда уход в прошлое одного организма вызовет ускоренное движение в будущее другого. Причем один организм своим противоположным ходом времени будет тормозить ускоренный ход времени у другого. Психополе сыграет роль амортизатора. И чем сильнее будет душевное родство, тем безопасней станут любые хроноэксперименты.

Дойдя в своих изысканиях до этого вывода, Павел поделился им со мной. Я ужаснулся, говорю без преувеличения и наигрыша. Перепосить куда менее опасные опыты с трансформацией атомного времени минералов на хрупкое, недолговечное время биологического существования было больше чем рискованно — недопустимо. На меня давили страшные прогнозы хронотеорий Чарли, я не смел подвергнуть их сомнению. В такой форме я и высказал свое отношение. Павел в ответ вдохновенно предложил мне составить с ним психо-диполь. Он всегда выглядел вдохновенным. Вдохновение усиливало силу его аргументов. Да, конечно, никто не даст разрешения на хроноэксперименты с организмами, соглашался он. Но почему нам самим не выдать себе такое разрешение? Ведь мы ставим опыты над собой, никого не привлекаем к опасному сотрудничеству. Каждый имеет право сделать с собой что вздумается — жить, влюбляться, ненавидеть, тосковать. Кто посмеет крикнуть самоубийце: «У тебя нет формального права лезть в петлю!»? Кто объявит юноше: «Мы официально запрещаем тебе влюбляться!»? Кто придерется: «Ты любишь стихи, а есть ли у тебя юридическое обоснование любви к стихам?» Человек одарен свободой воли, свобода воли дает право делать с собой все, что не ущемляет права других людей. Этого единственного ограничения мы не нарушаем. Стало быть, наш поиск правомочен. Мы свободны в любом обращении с собой. Права на эти эксперименты мы ни у кого не должны выпрашивать. И никого не обязаны о них информировать.

Так он настойчиво уговаривал меня, и я стал поддаваться. Проблема была захватывающе интересной. Но я не мог пойти к Чарли за разрешением на новый поиск, он не только категорически запретил бы, но и немедленно

убрал бы от меня Павла, чтобы оборвать в зародыше соблазн.

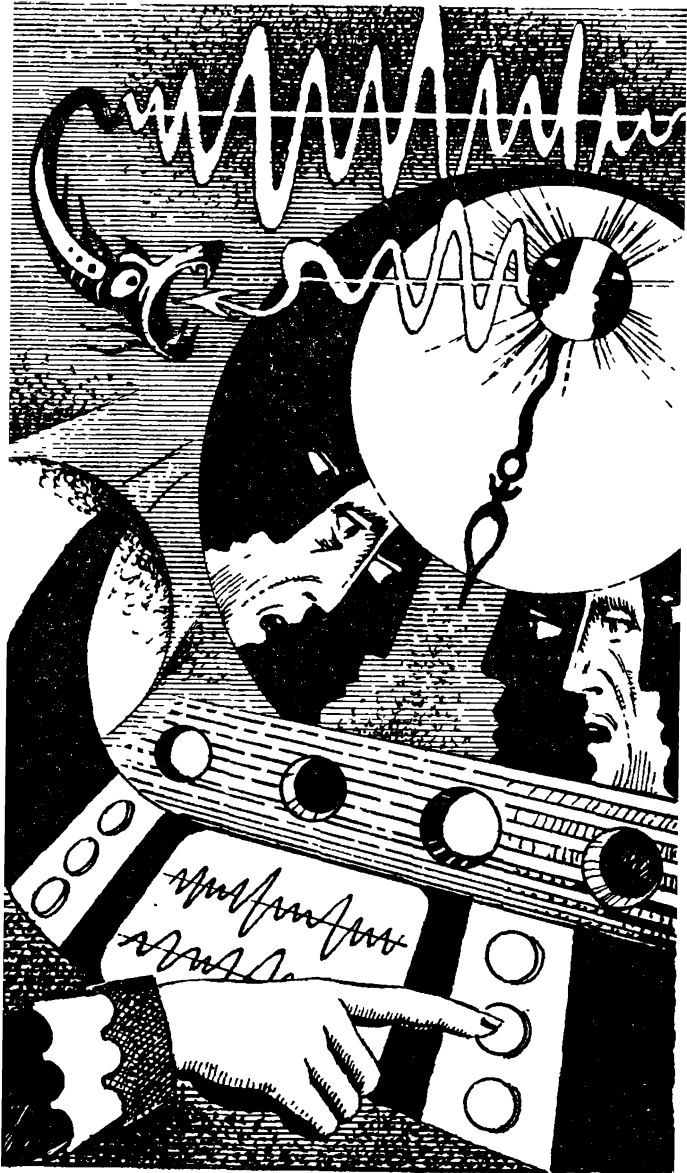
— Жанна Зорина утверждает, что главная черта вашего характера — любопытство и удивление от всего, что порождает ваше любопытство, — молвил Рой.

Так мы с Павлом составили первый психо-диполь, продолжал я. Крепость общего пси-поля была невелика, но мы и не отваживались на глубокие колебания времени. Вскоре мы установили — это было уже нашим общим открытием, — что колебания нашего физиологического времени относительно центра диполя несколько запаздывают по сравнению с общим временем на Урании. Колеблясь то вперед, то назад, наше биологическое время замедлялось в общем поступательном движении вперед. Мы то «микромолодели», то «микростарели», а в результате старели медленней, чем другие жители Урании. Павел ликовал. Пусть это не омоложение, поскольку омоложение выйдет из-под контроля и превратится в губительный автоматизм, утверждал он, но замедление старения — несомненно. Продление человеческого века — вот что дает нам психо-диполь. Скоро, скоро мы объявим миру о нашем успехе, вытребуем официальное разрешение на дальнейший поиск и создадим свою особую лабораторию. Даже название для нее он придумал: «Лаборатория продления жизни путем дипольного регулирования физиологического времени».

И тут в нашей лаборатории появилась Жанна Зорина. Энергофизик по образованию, она считалась на Земле хорошим специалистом по сгущению воды и на Урании должна была помочь местным энергетикам в использовании этого энергоемкого топлива. Она участвовала в монтаже «трехмиллионника», все прошло отлично, ведь обращение с энерговодой много проще, чем с углем и нефтью, проще даже, чем с ядерными аккумуляторами. Наши энергетика могли управиться и без нее, но все же это был «трехмиллионник», таких мощностей в одной цистерне земные заводы еще не выпускали. Для транспортировки и монтажа применили новые антигравитаторы, вот с ними-то и знакомила нас Жанна.

— Та самая цистерна, что взорвалась? — спросил Рой. — За три года пользования вы израсходовали один миллион тонн, верно?

Я подтвердил: та самая цистерна, выработанная на треть. После монтажа Жанна хотела вернуться на Землю, но за нее ухватился Антон Чиршке. Повелитель Демонов



узнал, что она изучала прозрачные стали, сверхпрочные пластики и прочие материалы высоких структур. Для восстановления его пористых пластинок такой специалист был даром фортуны. Институту Времени тоже требовались знатоки высокоструктурных материалов, и мы уговорили Жанну остаться. При первой же встрече с ней — я пошел с Антоном — Жанна меня полонила.

Вот так и получилось, что я влюбился в Жанну. Мы начали встречаться и в нерабочее время, гуляли по пустынным равнинам Урании, наблюдали красочные закаты Мардеки с крутых берегов Уры. Я рассказывал Павлу о встречах с Жанной, он равнодушно слушал — его не интересовало, в кого я влюбляюсь. Однажды Жанна побывала в нашей лаборатории. После ее ухода Павел сказал мне:

«Эдик, я удивлен. Самописец вел запись колебаний нашего с тобой пси-поля. Так вот, в присутствии Жанны диполь практически не функционировал. Зато прибор зафиксировал колоссальную душевную связь между тобой и Жанной. Что бы это значило, Эдик?»

Я шутливо ответил, что наши приборы заново открывают то, что в древности было ведомо каждому парню и девушке, и слыхом не слышавшим о психофизике. Любовь сильнее дружбы — вот что означает запись прибора. Если бы я знал, какие следствия вызовет мое объяснение, я остерегся бы окровенничать с Павлом, не стал бы больше приглашать Жанну в лабораторию. Но она продолжала бывать у нас. Павел какое-то время держался спокойно, а потом — взрывом, словно пробудившись ото сна безразличия, — повел на нее наступление. Он бесцеремонно оттеснил меня, встречал и провожал Жанну, старался всецело завладеть ее вниманием. И он не постеснялся сказать мне, что уж если наш с ним психодиполь так ослабел и не годится для хроноэкспериментов, то он заменит его гораздо более активным — своей собственной душевной связью с Жанной. Наступление Павла оказалось успешным. Они стали мужем и женой.

— Судя по вашему рассказу, его любовь была операцией, заранее запрограммированной, — сказал Рой. — В ней не было искренности. В общем, любовь, которая, собственно, и не любовь. Что вы качаете головой?

Я ответил, что Павел заранее запрограммировал любовь к Жанне, но от этого любовь не стала неискренней. В программу, заданную им себе, входило все, что делает любовь любовью. Павел влюбился в Жанну душой и те-

лом — беззаветно, страстно, беспредельно... И она ответила тем же. Они годились в герои древних романов о трагической любви мужчины и женщины. Я говорю «трагической», потому что сила их взаимной любви и привела к гибели Павла. Он и не подумал прекращать хроноэксперименты. Душевная связь, превратившая их с Жанной в одно психическое целое, открывала такие возможности для опытов, какие никогда не могли возникнуть при нашем с ним психо-диполе. Павел без колебаний продолжил с Жанной исследования, для которых вначале использовал меня. А мне отныне была отведена роль стороннего наблюдателя — «нейстового обсерватора», как пошучивает обо мне Чарли, — всего того вдохновенного безрассудства, какое позволял себе Павел. Жанна говорит, что я всему удивляюсь, всем восхищаюсь. Павел ту же мысль высказал короче и бесцеремонней: «Смотри и учись, но боже тебя упаси помешать! Наблюдения фиксируй, потом разрешаю докладывать!»

— Странные взаимоотношения! — заметил Рой. — Насколько я знаю, начальником лаборатории были вы, а не он.

Начальником лаборатории стабилизации атомного времени был, конечно, я, но душой тайных экспериментов по хронофизике являлся Павел. И вообще на Урании, разъяснил я Рюю, формалистику должностей не культивируют. Мы безоговорочно подчиняемся Чарльзу Гриценко, академику, директору института, создателю научной школы хронофизиков, но в личных отношениях с ним — свобода, немислимая на Земле. Итак, Павел исследовал психо-диполь, созданный его душевным единением с Жанной. Первые месяцы он не торопился переходить от этапа к этапу. «Ставлю эксперимент в полной чистоте» — так он характеризовал свои опыты. В понятие чистоты эксперимента входило, например, и то, что он не захотел детей.

«Ребенок — это третий полюс, — объяснил он мне. — Проблема трех душ в психохронистике столь же трудна, как проблема трех тяготеющих тел в астрономии. Не вижу пока, как эту трудность преодолеть. О детях мы подумаем, когда завершим эксперименты. Это не скоро».

К важным достижениям первого периода относилось окончательное подтверждение общего замедления биологического времени при колебаниях психо-диполя. То, что давал нам с Павлом психо-диполь, его единение с Жанной увеличило многократно. Оба они, Павел и Жанна, не молодели, естественно, но их старение совершалось куда

медленней, чем общее старение людей на Урании или на Земле. Мы установили, что мои с Павлом хроноэксперименты продлевали нашу жизнь на 4—5 лет, а такие же эксперименты с Жанной продлят им существование на 15—18 лет.

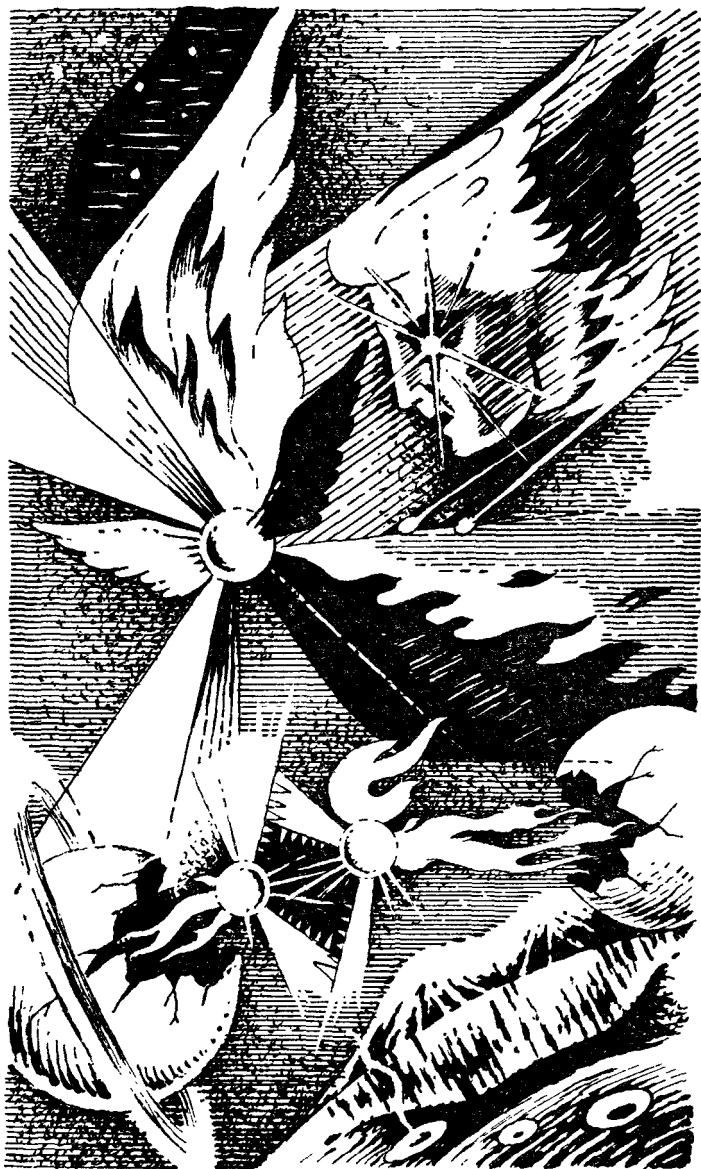
«Любовь — великий замедлитель старения! Любовь — великий стабилизатор жизни! — ликовал Павел. — Люди догадывались об этом, как только почувствовали себя людьми. Но только мы доказали это с точностью количественного закона природы. Отныне среди других законов физики в институтах будет изучаться теория физического поля любви. Ты представляешь себе, друг мой Эдик? Математические уравнения нежности, интегралы ревности и страсти, потенциалы свиданий и разлук. Бурные эмоции и глухие томления души на языке логарифмов и матриц! Каково, не правда ли?»

Он приложил свое новое понимание к одному давно известному факту. Еще наши предки заметили, что долго прожившие вместе супруги к старости становятся внешне очень похожими. Резкие отличия внешности ослабевают, муж и жена выглядят на склоне лет, как брат и сестра. Павел утверждал, что причина такого увеличивающегося с годами внешнего сходства в хроноколебаниях психодиполя. Супруги обмениваются не только ласками и придирками, радостями и заботами, но и индивидуальным своим временем, а физиологическое время определяет жизненные функции едва ли меньше, чем изначальная генопрограмма организма.

«Ручаюсь, что у таких состарившихся в единстве супругов и продолжительность жизни больше, чем у одиноких или мало связанных душевно людей, — говорил он. — Мы доказали продление жизни в искусственном эксперименте. Но жизнь — тоже хроноэксперимент, только естественный, медленный. Принципиальные закономерности одни и те же!»

Так прошло несколько месяцев. Любовь служила эксперименту. Но помалу возникла и новая закономерность: эксперимент стал служить любви. Я первый заметил зловещую новизну. Мое двусмысленное положение — друга Павла и его отвергнутого соперника — не позволяло мне сразу поднять тревогу. Опыты действовали на них весьма странным образом, оба выглядели потом как бы не в себе. Павел, начав с небольших хроноколебаний, осторожно увеличивал их размах. Я контролировал процесс, не допуская выхода за границу физической безопасности.





Появления опасности психической ни я, ни Павел не предвидели. После завершения каждого хроноколебания Павел и Жанна описывали свое состояние, а я фиксировал их информацию. Однажды Жанна со смехом рассказала:

«Сначала я почувствовала себя в полете. Я мчалась среди звезд. Вселенная вращалась вокруг меня, а я чувствовала, что какой-то диковинной рыбой в море космоса уношусь в будущее».

Павел захохотал, его восхитило красочное видение. А я содрогнулся. Я понял, что колебания времени действуют наркотически. Вскоре видения появились и у Павла, он с наслаждением расписывал их. Он еще изучал физику хроноколебаний, но его все больше привлекал «побочный продукт эксперимента», так он радостно именовал возникающий у него и Жанны бред. Они отдавались сладкому дурману, попеременно то «микростарея», то «микромолодея». Наступил момент, когда порождение галлюцинаций стало главной целью эксперимента, а его «побочным продуктом» — физический смысл процесса. Павел все усиливал размах хроноколебаний, ему хотелось глубже вторгаться в будущее, подальше уноситься в прошлое. Я начал спорить. Я говорил, что он опасно увеличивает амплитуду, может появиться неконтролируемый автоматизм в колебательном процессе. Он успокаивал меня: «До автоколебаний не дойдет, стабилизаторы надежно ведут процесс». Я видел, что ресурсы механизмов на пределе, но убедить его не мог. Оба они, как на качелях, раскачивались между прошлым и будущим. Однажды мне показалось, что наступает автоколебание, и я прервал процесс. В нормальном состоянии Павел проанализировал бы обстоятельства перерыва, но он был в наркотическом трансе. Вы знаете, что происходит, когда наркомана насильно выводят из транса? Павел не стеснялся в выражениях. Мне пришлось напомнить, кто руководит лабораторией, только это подействовало. Но с той минуты между нами пробежала черная кошка. Он вбил себе в голову, что я отвращаю их от возможности новых открытий. А я при каждом опыте думал не о том, что он даст для науки, а о том, как обезопасить Павла и Жанну от неудачи. Под неудачей я понимал тяжелое нервное потрясение, мысль о физической катастрофе мне не являлась.

Катастрофа произошла, когда я отсутствовал в лаборатории. Мы с Чарли обсуждали доклад в Академию наук. Взрыв на энергоскладе разнесся по всей Урании. Энергосклад превратился в бушующий вулкан. Вода, ставшая

огнем и дымом, — такой картины до нас еще не наблюдал никто. Я воскликнул в ужасе: «Чарли, это невозможно, в мире не существует физических причин, вызывающих взрыв сгущенной воды!» Чарли иногда соображает с такой быстротой, что рождающиеся в нем идеи сверкают как озарение. Он мигом ответил на мое восклицание: «Эдик, а если атомное время сгущенной воды возвратилось к тому моменту, когда она была простой водой! Неужели твои стабилизаторы времени отказали?» — «Проверю, потом доложу тебе», — сказал я и умчался.

Чарли остался у огненного водяного вулкана, а я бежал изо всех сил. Основное в несчастье я уже понимал. Павел воспользовался моим отсутствием и самостоятельно запустил хроноколебания. Вероятно, чтобы не терять времени, он даже не вызвал к себе Жанну, только попросил, чтобы она не выходила из своей лаборатории: их психодиполь был так прочен, что на него почти не влияло небольшое отдаление.

Я ворвался в лабораторию, когда Павел, извиваясь в судорогах, подползал к командному аппарату. Он из последних сил старался подняться и перекрыть процесс, но судороги бросали его на пол. Я кинулся его поднимать, он оттолкнул меня. Он шептал, выбрасывая из себя отдельные слова, как застрявшие в горле комья: «Жанна!.. Спасай!.. Автоколебание!.. Эдик!.. Я держу!.. Спасай!..»

Нужно было отрегулировать процесс, прежде чем оборвать его. Я отдавал себе отчет, что автоколебание, ставшее неподконтрольным, нельзя просто отключить. Это могло привести к такому разрыву связи времен, что оба полюса диполя — Жанна с Павлом — неминуемо бы погибли. И, стараясь синхронизировать трансформатор времени с автоколебаниями психодиполя, я со всей остротой ощутил, как далеко пошел Павел в попытке спасти Жанну. Он не прерывал автоколебания, как мне показалось, а тормозил вызванную им бешеную пляску времени всеми атомами своего тела, он сжигал себя, чтобы не дать разновременно истерзать Жанну. Он истступленно бросил свою жизнь на гибель, чтобы отвратить гибель от Жанны. Павел продолжал извиваться на полу, но не дал себе и миллисекунды передышки, а мог бы. Он не только жертвовал собой — отчаянно боролся за то, чтобы грозные дьяволы разновременья не откопали его жертвы.

Синхронизация удалась, я остановил процесс. Павел вытянулся и замер. Я вызвал врача и наклонился над

Павлом. Он еще жил. Он шептал: «Эдик... Я без тебя... Прости... хочу... сказать...»

«Молчи! — приказал я. — Знаю все, что скажешь. Ты запустил хроноколебания на полную амплитуду. Процесс вырвался на автоколебательный режим. Тебя и Жанну стало трясти. Ты пытался удержать собой пульсирующее время. Теперь успокойся. Процесс остановлен на равновесии, а не на разрыве. Жанне больше ничего не грозит. А тебе придется долго лечиться, очень долго, Павел».

«Спасибо... — шептал он, впадая в беспамятство. — Теперь... умереть». Он умер на моих руках. Явившемуся врачу оставалось лишь официально установить прекращение жизни. Вы знаете медицинское заключение, Рой. Вскрытие показало ожог нервных клеток. Медики отнесли причину смерти к очередным загадкам жизни на Урании. Но могу вам сказать, что тот же Павел заранее очень точно раесчитал картину гибели организма, когда одни его клетки прорываются в будущее, а другие отодвигаются в прошлое. Те, что в будущем, полупризрачны, они малодейственны. А те, что в прошлом, как бы больны, они тоже ослаблены. Настоящее время — всегда время господствующее. При разновременье иерархическое взаимодействие клеток превращается в анархию. Клетки, живущие в настоящем, пожирают клетки-рудименты, энергично противодействуют клеткам, материализующимся из будущего. «Будет впечатление, что организм сжигает себя! — посмеиваясь, говорил Павел и добавлял: — При очень большом разновременье, естественно. И достаточно долгом!» В своем наркотическом ослеплении он своевременно не понял, что создает в себе именно такое губельно большое и долгое разновременье.

— Вы ничего об этом не говорили следственной комиссии, Эдуард?

— Нет, конечно. Ни комиссии, ни Чарли. Даже Жанна не знает всей правды о гибели Павла.

— Такое ваше поведение имеет смысл только в одном случае: если вы и после гибели Павла Ковальского продолжаете тайно работы, вызвавшие его гибель.

— Совершенно верно. Я без Павла продолжаю исследования, вызвавшие его гибель.

— С возможностью столь же трагического конца?

— С неизбежностью столь же трагического конца.

Рой долго глядел на меня. Мне показалось, он растерялся, не знает, как держаться: высказать возмущение? Показать сочувствие? Он сказал:

— Вы по-прежнему присваиваете себе индивидуальное право на опасный поиск? Вы считаете морально правильным продолжать неразрешенные исследования?

— Они прежде всего незавершенные, Рой.

— Они прежде всего неразрешенные, Эдуард.

— Выслушайте меня до конца, Рой.

— Именно этого и хочу, Эдуард.

После гибели Павла, говорил я Рую, у меня была одна мысль: немедленно прекратить биологические хроноэксперименты. И хотя я горевал о потере друга, было и утешение: его гипнотическая власть надо мной кончилась, я мог поставить крест на его исследованиях. Но как отнесется к этому Жанна? Она боготворила Павла как хронофизика и могла счесть своим долгом завершить то, что он не успел. Я наметил, как держаться, если Жанна потребует продолжения исследований: объявлю Чарли, чем мы втайне занимались, попрошу официального благословения на хроноизыскания, получу строжайший отказ и взыскание за научное самоуправство — и с претензиями Жанны будет покончено.

Так я намеревался действовать. Но действовать так не сумел. Вы понимаете, Рой, первейшей задачей было: установить, как отразилось случившееся на здоровье Жанны. То, что совершилось с Павлом, могло быть одновременно и с нею. Она объяснила, что во время опыта с ней ничего особенного не произошло, она просто вдруг ослабела и прилегла, потом потеряла сознание и пришла в себя лишь после взрыва на энергоскладе. Я сам отвел ее к врачу, в те первые дни после катастрофы она, измученная, лишенная воли, покорно выполняла все мои требования. Осмотр показал, что, кроме большого нервного истощения, других недомоганий нет. Врачи уверили: выздоровление гарантировано, но потребует времени. «Времени у нас довольно» — так я тогда лекомысленно посчитал. И снова удивился гению Павла. Даже погибая, он четко оценил происходящее и понял, как спасти Жанну, — собственная гибель была сознательно взята им в расчет. Чтобы не дать хроноколебаниям разорвать жизненную синхронность в Жанне, он всей силой воли, всей мощью трансформатора времени фиксировал клетки своего мозга в том будущем, куда их выбросило автоколебанием. Он насильственно удержал себя в будущем. Возможно, Павел заранее продумал варианты действий на случай катастрофы — он был мастер на предвидения и расчеты. Чем глубже я вникал в трагедию, тем сильнее покоряла меня сила его любви к Жанне.

И вот, рассматривая кривые хроноэкспериментов, я вдруг обнаружил свою ошибку. В дикой спешке я разорвал процесс не в точке равновесия, как мне показалось, а чуть в стороне от нее. Для Павла это не имело значения, он уже и в тот момент был недоступен спасению. Но положение Жанны беспокоило. От автоколебаний внутреннего времени ее удалось предохранить, однако восстановится ли его естественный ход, если синхронизации в точке жизненного равновесия не произошло? Я с тревогой смотрел на выданный компьютером анализ. Наш автоматический мудрец, последняя модель марки «УУ» — усиленный, умный, — предупреждал о возможности новых несчастий, только не расшифровывал, каковы они будут.

Один вывод был очевиден: Жанну нельзя выпускать из психо-диполя, пока не появится полная гарантия от произвольных автоколебаний времени. Только я мог теперь составить второй полюс такой психологической связи. Но как убедить Жанну в необходимости нового диполя? Не подумает ли она, что я хочу воспользоваться этим для того, чтобы завладеть ее душой? Она ведь знала, что я люблю ее. Была, конечно, возможность — рассказать, как реально обстоит дело. Пойти на это я не мог. Я скрыл, что Павел пожертвовал своей жизнью ради спасения ее жизни. Жанна не перенесла бы правды. Она сочла бы себя убийцей мужа. И если бы не покончила с собой, то, несомненно, отказалась бы принять мою помощь.

И тогда я решил воздействовать на Жанну, используя ее любовь к мужу. То, против чего еще недавно я собирался категорически возражать, стало единственным шансом на удачу. Я сказал Жанне, что хочу закончить исследования Павла. Человечество должно узнать, каким научным исполином был ее муж. Пусть она докажет свою любовь к Павлу тем, что завершит погубившие его хроноэксперименты. Для этого придется составить новый психо-диполь со мной, ввести его в аппараты и проделать несколько опытов.

Так я уговорил ее продолжить тайные исследования. Нас связало единое психополе, оно было достаточно прочное, хотя один полюс — Жанна — показывал явное безучастие. Зато я мог ручаться за второй полюс — себя. Я готовился энергично нейтрализовать любое колебание времени. Тревожиться за Жанну да и за себя не было поводов.

Новые обстоятельства помешали осуществлению так

хорошо рассчитанного плана. В Жанне обнаружались совсем не те изменения, каких я ожидал. Колебаний времени не произошло, время осталось целостным. Но течение времени изменилось. Павел, отчаянно выбрасывая себя в будущее, одновременно ввергал Жанну в ее прошлое. Очень близкое прошлое, вполне по теории нашего директора Чарльза Гриценко, доказавшего, что уход в дальнее прошлое не больше чем тема для фантастических романов. Но прошлое! Хроноколебания психо-диполя имеют свои проклятые закономерности! В самом горячечном бреде я не мог вообразить того, что случилось с Жанной. В ней не было разрыва времени, в ней не появилось разновременности, которую надо преодолевать новым психополем. Время в ней полностью пошло в обратную сторону. Жанна вся уходила в прошлое. Она стала молодеть.

Рой, поймете ли вы мой ужас? Могу ли передать, какими глазами смотрел я на страшное заключение компьютера: «Атомное время нервных центров объекта идет в обратном направлении?» Объектом была Жанна, обратный ход ее времени означал приговор: Жанна невозвратно убегает назад, убегает к недавнему своему жизненному началу, которое станет вскоре ее жизненным концом! Именно так описал вам в этой комнате Чарли биологическое значение обратного хода времени. Именно так и произошло, в точности по его прогнозу, хотя он и отдаленно не догадывался, что неподалеку от его кабинета без его ведома осуществляется этот грозный процесс.

Я был в отчаянии. Теория обратного хода времени подтверждалась беспощадным физическим фактом. Жанне предстояло пойти по дороге высчитанного ее мужем «омоложения до уничтожения». И в полном согласии с прогнозом Павла процесс ухода назад, постепенно убыстряясь, из искусственно возбужденного должен превратиться в автоматический — конец не заставит долго ждать себя!

Как вы понимаете, Рой, я не мог позволить себе всецело предаться отчаянию. Главным был поиск возможности предотвратить ужасный финал. Вы сказали, что было бы забавно поглядеть, как древний старец растет в юношу. Но, я уверен, вы не найдете ничего забавного в том, что выпало молодой, красивой женщине Жанне Зоринной. И тут я вспомнил о втором великом открытии Павла. Анализ показывал, что и этот обратный рост можно задержать и повернуть на нормальное развитие, используя психо-диполь. «Не все потеряно, — твердил я себе, настраивая аппаратуру на противодействие, — поворот впол-

не возможен, если падение в прошлое будет медленным». Для нейтрализации стремительного хода назад у нашей с Жанной слабой душевной связи не хватало прочности. Это я уже и тогда сознавал. Но как быстро идет обратное развитие? Где та роковая точка, в которой оно автоматически убыстрится?

Я не мог оторвать взгляда от Жанны, когда мы встречались. Это ее раздражало. Она вбила себе в голову, что я по-прежнему люблюсь ею, что во мне возникает желание завоевать ее, вдруг ставшую свободной. Она думала обо мне оскорбительно. И я не мог отвергнуть ее оскорбительного заблуждения, ибо не имел права оскорбляться. Любое опровержение могло стать разоблачением. Надо мной, как топор, нависал грозный вопрос: выдержит ли Жанна правду уже не одного, а двух несчастий — правду гибели Павла и правду грозящей ей собственной гибели? Я не смел позволить себе риска правды, что бы Жанна ни думала обо мне.

Первые недели после катастрофы надежда на удачу была. Жанна выглядела ужасно — похудела, постарела, ослабела. Это радовало. Радовало и ее пси-поле: в душе Жанны господствовало горе, все мысли приковывались к воспоминаниям о Павле, — она не выходила из подавленности. И хотя компьютер выдавал свое неизменное: «Атомное время объекта идет в обратном направлении», я с тихой радостью разглядывал записи пси-поля Жанны, с той же скрываемой ото всех радостью наблюдал за ней самой. «Время еще есть», — говорил я себе, убеждаясь, что Жанне по-прежнему плохо. Психо-диполь не давал Жанне рухнуть в прошлое, но методично, по элементам, по частицам, поворачивал атомное время на прямой ход из обратного. Уже и в анализах компьютера звучали обнадеживающие нотки: «В объекте появилось разновременье, некоторые группы атомов приобретают прямое направление времени, хотя в целом время течет обратно». Разновременье было само по себе опасно. От его разнузданности Павел в последние минуты своей жизни пытался Жанну уберечь. Но только этот опасный путь мог сегодня обезопасить Жанну от гораздо худшего. «Время еще есть», — подбадривал я себя, регулируя созданное мной разновременье на плавный ход. — Главное, не допускать бури противоборствующих времен, и я постепенно вытяну Жанну из затягивающего ее болота небытия!»

Энергетик Антон Чиршке первый подал сигнал, что времени осталось слишком мало. Этот человек, Повели-

тель Демонов Максвелла, наделен воистину демоническим ощущением необычайного. Жанна изготавливает для него сепарационные пластинки, Антон встречается с ней ежедневно. Частые встречи отнюдь не способствуют остроте восприятия медленно накапливающихся изменений. А Повелитель Демонов обнаружил их раньше Чарли, даже раньше меня, с таким беспокойством ожидавшего их появления. Он с радостью сказал Чарли и повторил потом при мне: «Жанна оправляется от потрясения, выглядит уже сносно. За ее здоровье можно не опасаться». Антон и не подозревал, какой зловещий смысл таится в его утешительном, как он думал, наблюдении. Несколько дней — вы как раз в эти дни прилетели, Рой, — еще можно было сомневаться: запись психополя Жанны показывала неизменно подавленность и горе. Но вскоре уже и сам я увидел, что Жанна оправилась от физического недомогания. Душа ее еще скорбела, а тело возрождалось к жизни — к прошлой жизни, не к будущей! Я смотрел на ее старые фотографии и молчаливо ужасался: она становилась похожей на ту девушку, которая три года назад появилась на Урании.

— Видимо, этот возраст и есть та роковая точка, где движение назад должно стремительно убыстриться, — сказал Рой.

— Пожалуй, так, — согласился я. — Точку убыстрения всего вероятней искать в пределах таких переходных моментов. Я проверил свои расчеты. Наш слабый диполь гарантировал в три-четыре месяца поворот на прямой ход времени. Катастрофическое падение в прошлое могло начаться в ближайшие дни. Времени у меня не было.

— Догадываюсь, что дальше, — сказал Рой. — Оставалось одно: усилить вашу душевную связь с Жанной. Но это могла сделать только любовь. Неужели вы думали, что она сможет вдруг так сильно, так безмерно сильно полюбить вас?

— Вы угадали, Рой. Только огромное усиление нашего психополя могло еще дать надежду. Но на любовь я не рассчитывал. Я не мог заставить Жанну вдруг полюбить меня, да еще с такой силой, и тут вы правы. Я использовал другую могучую душевную силу. Я прибег к ненависти.

— К ненависти? — воскликнул Рой.

Если в начале беседы он демонстрировал невозмутимость, лениво покачивал ногой, то чем дальше вывязывался мой рассказ, тем меньше Рой заботился о соблюдении какой-либо позы. Он не просто с интересом вникал

в мои разъяснения, он старался их предугадать, домысливал факты и выводы раньше, чем я их высказывал. Но того, что услышал от меня теперь, он не ожидал.

— К ненависти, — повторил я. — Рой, противоположности сходятся, разве мы этого не учили? И многие внешние проявления противоположных сил одинаковы. Ненависть — тоже форма душевной связи. Сила ненависти так же огромна, как сила любви. И так же быстро вспыхивает, так же жжет душу, так же мобилизует все потенции организма, как и любовь. С обратным знаком, конечно. Но знак в данном случае не имеет значения. Мне важна была связь наших душ, острая ненависть эту связь давала. Я легко возбудил у Жанны такую ненависть к себе. Это было просто.

— Понимаю! Вы в свое время скрыли от Жанны, как погиб Павел. Вы сказали, что вам еще не все ясно в его смерти. Она не могла не уловить вашей уклончивости, не могла не подозревать, что причины хуже, чем вы туманно намекаете. И сейчас вы признались, что причина гибели Павла в каких-то ваших действиях. Она, разумеется, сразу поверила и мигом возненавидела вас, верно?

— Все верно.

— Что было дальше?

— Дальше был расчет крепости психо-диполя, один конец которого — ненависть, а другой — любовь. Диполь оказался достаточно прочным, чтобы в течение примерно пяти дней, форсируя аппаратуру, вырвать Жанну из падения в прошлое.

— И этих пяти дней я не дал, запретив все работы в институте?

— Да, Рой.

— Но исповедь не закончена, правда ведь?

— Не закончена, Рой.

— И конец ее будет в том, что вы надумали обеспечить спасение Жанны своей собственной гибелью? Что вы повторите самопожертвование Павла, только подрастчитали надежней? Он-де был гениален, но в панике не все учел. А вы в тот момент, когда ворвались в лабораторию, в панике же не сумели остановить процесс в точке равновесия. Зато сейчас ошибки не сделаете.

— Все точно, Рой.

— И надеетесь, что я разрешу вам самоубийство ради спасения Жанны?

— Да, Рой.

— Какие у вас основания на это надеяться?

— Рой, это же просто! Если не погибну я, погибнет Жанна. В создавшейся ситуации одна смерть неизбежна. Но моя гораздо моральней.

— Моральней?

— Да, Рой. Я должен понести какую-то кару за то, что разрешил эти эксперименты. Жанна их участник, но в происшедшем неповинна, к тому же она уже жестоко наказана. Считите мою смерть формой самонаказания, продиктованного собственной совестью. Неужели вы думаете, что я смогу продолжать жить, отягченный двумя смертями по моей вине? Не преувеличивайте моей научной любознательности. Через два трупа она не перешагнет.

Рой заметался по комнате. От его невозмутимости не осталось и следа. Он негодовал, он был в неистовстве. Даже у вспыльчивого Антона Чиршке, Повелителя Демонов, я не знал такого приступа гнева. Рой кричал, что наложил запрет на работы в институте, ибо догадывался, что в нем идут какие-то тайные исследования, ставшие причиной катастрофы. И был уверен, что веду их я, именно я, а не другой — я всем видом показывал, что таю за душой секрет. И что он, Рой Васильев, абсолютно не сомневался, что рано или поздно я приду с повинной. Даже тематику тайных исследований он смутно подозревал, во всяком случае, очень уж большой неожиданности в моих объяснениях не нашел. Но что я сделаю его участником неразрешенного поиска, он и помыслить не мог. Поставить его перед дилеммой самому решать — кому жить, кому умереть! Ведь это что! Я исповедался и теперь ожидаю отпущения грехов, так? А ответственность за новую неизбежную трагедию возлагаю на него, да? И это он должен вытерпеть?

— Не предворяю ваших решений, Рой, — сказал я, когда он выкричался. — Но хотел бы знать: что вы решили?

— Ничего не решил! — сердито ответил он. — Даже представления не имею, какое возможно решение.

— Но что-то вы, несомненно, предпримете и какое-то мнение составили?

Он с усилием взял себя в руки.

— Предприму я вот что. Вызову Чарльза Гриценко и передам ему наш разговор. Пусть и ваш директор знает, какие исследования совершались втайне от него. Будем вместе искать выход. А мнение мое таково: права на тайный научный поиск у вас нет, но право на помощь вы имеете.

— Права на поиск у тебя нет, право на помощь ты имеешь, — сказал мне Чарли, словно слышал последние слова Роя в моем разговоре с ним.

А вспыльчивый Антон Чиршке, Повелитель Демонов, сердито добавил:

— Я разобью все твои аппараты, измочалю тебя всего. В этом не сомневайся. Но это будет потом. Раньше надо спасти тебя.

Они пришли ко мне втроем. Рой молча уселся в сторонке, подальше от аппаратов — мне кажется, он испытывал к ним недоброжелательство: не то опасение, не то прямое отвращение. Впрочем, он постарался показать свою обычную невозмутимость: забросив ногу на ногу, лениво покачивал ею. Он только слушал, не вмешиваясь в обсуждение. Это, наверное, была наиболее типичная для него манера поведения: спокойно переводить взгляд с одного на другого, ничем не выдавать, какое предложение нравится, какое вызывает протест. Таким его знали все, кто встречался с ним на Урании. И мне уже не верилось, что этот человек метался по комнате, кричал, ругался и, похоже, готов был закатить мне здоровенную пощечину. В те минуты гнева от рукоприкладства его останавливало, по-видимому, лишь то, что оплеухи не могли предотвратить надвигающуюся беду и даже самые увесистые неспособны были стать веским аргументом. Своей нынешней подчеркнутой отстраненностью он показывал, что несдержанности больше себе не позволит.

А Повелитель Демонов кипел и бурлил. Он первым вошел, точнее, ворвался в лабораторию и минуты три только ругался, яростно доказывая, что на наши с Павлом научные достижения ему чихать, а губить Жанну он не позволит. Она прелестная женщина, и лучше ее никто не изготовит пластинки для сепарации молекул по скоростям. И меня он тоже не позволит губить, я хороший парень. Вот еще вздор — ценой своей жизни исправлять глупейшие научные ошибки, нет, куда это годится, он спрашивает! Боюсь, в таком возбуждении Антону реально вообразилось, что имеются два Эдуарда Барсова. Один — его приятель Эдик, тихий скромница, неплохой экспериментатор, в общем — добряк, и попал тот добряк в беду, из которой его надо немедленно вызволять! А второй Эдуард — мрачная бестия, нарушитель научной этики, губитель хороших людей. И того, второго Эдуарда, следовало

бы четвертовать, да жаль в наше время такое естественное обращение со скверными людьми запрещено.

— Перестань, Антон! — приказал Чарли. — Ты превеличиваешь. Эдика надо вызывать не от Эдика, а от ошибки в эксперименте. Вот этим мы и займемся.

Я всегда восхищался Чарли — как ученым и как научным руководителем. И понимал сложность его теперешнего положения. Поэтому, несмотря на серьезность ситуации, все же с некоторым любопытством ожидал, как он поведет себя. В отличие от Повелителя Демонов, которому в запальчивости виделись как бы два Эдуарда Барсова, Чарли сам ощутимо раздвоился. В одной своей ипостаси он был крупный администратор, академик и директор института, эта его ипостась поворачивалась ко мне гневным и укоризненным лицом. Директор возмущался, что в его институте ведутся необъявленные и неразрешенные работы и ведет их его душевный друг, его главный помощник. Можно ли простить этому человеку, другу и помощнику Эдуарду Барсову, его самоуправство? Как его наказать? Какие установить запреты для тех, кто вздумает последовать, впадая в азарт научного поиска, за человеком, подавшим столь соблазнительный и опасный пример?

— От кого угодно мог ожидать, только не от тебя, Эдик! Так безрассудно втянуться в безумные эксперименты! — говорил он. — Разве я не доказал, что выход в обратное время для биологических структур гибелен? И разве ты не понимал, что эксперименты, придуманные Павлом, преждевременны? Мы не научились контролировать время на молекулярном уровне, а он при твоём попустительстве пытался воздействовать на целостное время сложнейших биологических систем! Перепрыгнули через добрую сотню неизученных промежуточных ступенек! Правда, эффект научного поиска огромен, но какой ценой!

Уже в этом строгом выговоре директора института сказались вторая сторона личности Чарли — его чисто научная ипостась. Он сразу оценил открытия Павла. Он не одобрил их, этого не было, но не скрыл, что удивлен их значительностью. При иных обстоятельствах Чарли, наверно, выразился бы по-иному: «Я восхищен!» — сказал бы он, если бы речь не шла о жизни Жанны. Для его научной проницательности не составило труда сразу понять, как велики оба открытия Павла: то, что искусственно возбужденное «омоложение до уничтожения» в какой-то критической точке, становясь автоматическим,

приобретает неконтролируемую скорость и что психо-диполь, связующий души двух людей, является единственным тормозом от такого «падения в ничто». Необыкновенные возможности психо-диполя — замедление общего времени и продления жизни с помощью качелей «микромолодения» и «микростарения» — захватили Чарли. И он без возражений признал, что мой отчаянный план спасения Жанны вполне реален.

— Ты, конечно, спасешь Жанну, — сказал он. — И конечно, погибнешь сам. Расчет твой безукоризнен, я не нашел в нем ни единой ошибки. Вообще такого рода сложные и рискованные расчеты тебе вполне можно доверить, они в пределах твоих знаний и способностей. Но мы не можем примириться, что ты определил себе безрадостный финал. Самопожертвование — твое личное решение, мы не вмешиваемся в то, какой тебе рисуется твоя судьба. Но пейзаж гибели не та картина, которая способна нас восхитить. Мы решили внести поправки в твой расчет. Павел был вдохновенно пытлив, был одарен воображением, спорить на стану. Но ему не хватало научной солидности. Он, как тебе ни покажется странным, проявлял трусость в иных трудных случаях. Он отступил перед проблемой трех связанных душ, посчитав ее равнозначной проблеме трех тяготеющих тел в астрономии. Аналогия есть. Но ведь и три взаимно тяготеющих тела в космосе не редкость. И три взаимно связанные души — типичность в человеческом общении. Безусловно, проблемы взаимодействия трех душ во все времена решались не проще, чем задачи трех тяготеющих тел, однако решение все же отыскивалось...

— Не уясню, к чему ты клонишь, — прервал я Чарли. Мне вообразилось, что он готовится разразиться очередным парадоксом. Для шуток он мог бы выбрать иное время.

— Вижу, что не догадываешься. И жаль, ибо в проблеме трех душ — реальный путь к спасению вас обоих, тебя и Жанны, друг мой Эдик! Вот мой план, слушай. Мы образуем треугольник: Жанна, ты, Антон. В треугольнике три полюса: ненависть — это Жанна, любовь — это ты, дружба — это Антон. Три полюса образуют три диполя, три стороны треугольника: Жанна — ты, Жанна — Антон, ты — Антон. Твой психо-диполь с Жанной выволакивает ее из катастрофического падения в молодость, диполь Жанна — Антон добавляет своего старания в том же направлении, а диполь Антон — Эдик сыграт роль тормоза,

когда ты станешь уноситься в будущее. Антон погасит тряску одновременности в твоём теле, не допустит в тебе разрыва связи времен. Для роли дружеского психотормоза Антон годится лучше всех на Урании. Руководство операцией беру я. И можешь не сомневаться, в панику не впаду и прерву процесс точно в положении равновесия для всех трёх полюсов. Тройное равновесие высчитаем заранее, думаю, для твоего «УУ» задача не из самых сложных. А что до нашего друга Роя, то ему поручим твою любимую роль — вдохновенного обсерватора.

Не знаю, как я удержался от слез. Еще за минуту до того, как он заговорил о своем плане, я видел только один мрачный выход. Но был, оказывается, и другой путь. Чарли нашел его. Я хотел сказать, что согласен, что благодарен, что выполняю все, мне в плане отведенное, но не справился с голосом. Антон внезапно впал в восторг.

— Приступаем немедленно! — заорал он, вскакивая. — Терпеть не могу тянуть резину, как это когда-то называли. Ох, Эдик, покажем тебе теперь, до чего ты недооценивал друзей! И если не попросишь у нас извинения, задам тебе потом оплеух, будь спокоен!

Когда Чарли говорит: «Предлагаю план», это означает, что у него готова не только идея, но и расчет. Жанну решили вызвать завтра, в программу не посвящать, просто обязать вести себя, как наметил для нее Чарли. Мы с Антоном занялись подготовкой своей части программы. Повелитель Демонов с его дьявольским чутьем к необычному и вправду идеально подходил для создания прочной душевной связи и со мной и с Жанной. Такая связь с нами у него существовала всегда, но одно дело просто дружить, другое — вводить свою дружбу в аппараты в качестве физической силы. К тому же еще синхронизировать течение его индивидуального времени с биологическим временем моим и Жанны!

Включение Антона в качестве третьего полюса в наши психополы прошло блестяще. Чарли был доволен, а доволен он, если программа выполняется с блеском.

— Завтра вызовем Жанну и начнем последний эксперимент, — сказал он; шло к полночи.

Жанна смутилась, застав у меня Роя, Чарли и Антона. Мы с Павлом так таили ото всех наши исследования, а я недавно так перепугался, когда она посетовала, что надоело вечно секретничать... Она бросила на меня гневный взгляд, к ее ненависти добавилось и негодование, что я, не предупредив и не спросив согласия, открыл наши

тайны. Антон незаметно для Жанны мне подмигнул: все в порядке, говорило его подмигивание, лишняя капля возмущения ненависти не испортит, стало быть, сработает на наш план.

— Жанна, мы все знаем, — сказал Чарли. — Эдик рассказал, какие Павел разрабатывал темы. Грандиозно — вот наше мнение. Подробней обсудим потом, а сейчас тему надо завершить, пока нам не нагорело за неразрешенный научный поиск. Мы решили ускорить исследования. Психо-диполь, соединяющий тебя с Эдиком, будет сегодня проверен на разные изменения времени. Пройди в соседнюю комнату и немного побудь там в одиночестве. Можешь соснуть, если хочется.

Жанна опять метнула на меня ненавидящий взгляд. Я постарался изобразить на лице наглую развязность — она вся вспыхнула от возмущения. Уходя, она подошла к зеркалу и поправила волосы. Она любовалась собой, это было в ней новое.

— Совсем девчонка, — задумчиво сказал Рой, когда Жанна скрылась в соседней комнате. — Она помолодела даже с того дня, как я ее впервые увидел. В ней, похоже, появилось и кокетство.

— Кажется, мы захватили процесс впадения в юность на критической точке, — высказался Чарли. — Будем торопиться, друзья, будем торопиться!

Торопливость у Чарли всегда быстрая, но без спешки. Я сидел в кресле, Антон напротив в таком же кресле. Рой в сторонке, прислонясь плечом к стене, молчаливо наблюдал за нами. Чарли ходил от кресла к креслу и от кресел к аппаратам. К креслам были прикреплены датчики от командных механизмов. Компьютер «УУ» непрерывно выдавал ход процесса, на лентах самописцев извивались записи наших состояний — Жанны, Антона, моего. Чарли вел программу с интенсивностью, на которую я бы не осмелился. Он знал, что делает. Я задыхался. Меня терзала боль. Она была в каждой клетке тела. Вероятно, что-то похожее, только безмерно усиленное, испытывал и Павел. Антон испуганно закричал:

— Эдик, ты превращаешься в старца! Это ужасно, Эдик!

— Рой, подойдите к двери в другую комнату, — распорядился Чарли. — И если Жанна попытается вырваться, не давайте. А ты молодец, Антон! Помни, от тебя зависит не дать завершиться уходу Эдика в будущее. Старайся, Антон!

— Я стараюсь, — пробормотал Антон, не отрывая от меня широко распахнутых глаз. Вероятно, я очень плохо выглядел, раз он так перепугался.

Не знаю, сколько времени прошло — я потерял ощущение времени. Как бы сквозь сон я услышал крик Жанны, громкие уговоры Роя. Потом была опять тишина, и ее разорвали два крика, два вопля — торжествующий и негодующий.

— Готово! — ликующе кричал Чарли. Я открыл с усилием глаза. Он в дикой спешке отключал аппараты и все кричал: — Тройная точка равновесия схвачена! Точно тройная точка! Точно тройная точка!

А посредине комнаты стояла Жанна, вырвавшаяся из своего временного заточения, и тоже кричала:

— Прекратите пытку! Прекратите пытку!

Я опять стал терять сознание. Но взгляд на Антона придал мне какие-то силы. Антон был страшно бледен, бескровные щеки отвисли, нос заострился. Он казался мертвецом. Я попытался вскочить, чтобы помочь Антону, хотя и не знал, как это сделать. Чарли положил руку мне на плечо, рука была безмерно тяжела, я со стоном опустился в кресло. Чарли сказал очень радостно и очень торжественно:

— С Антоном все в порядке. Антон сделал свое дело, теперь отдыхает.

— А мы? — прошептал я.

— Ты жив, это главное. А Жанну спасли!

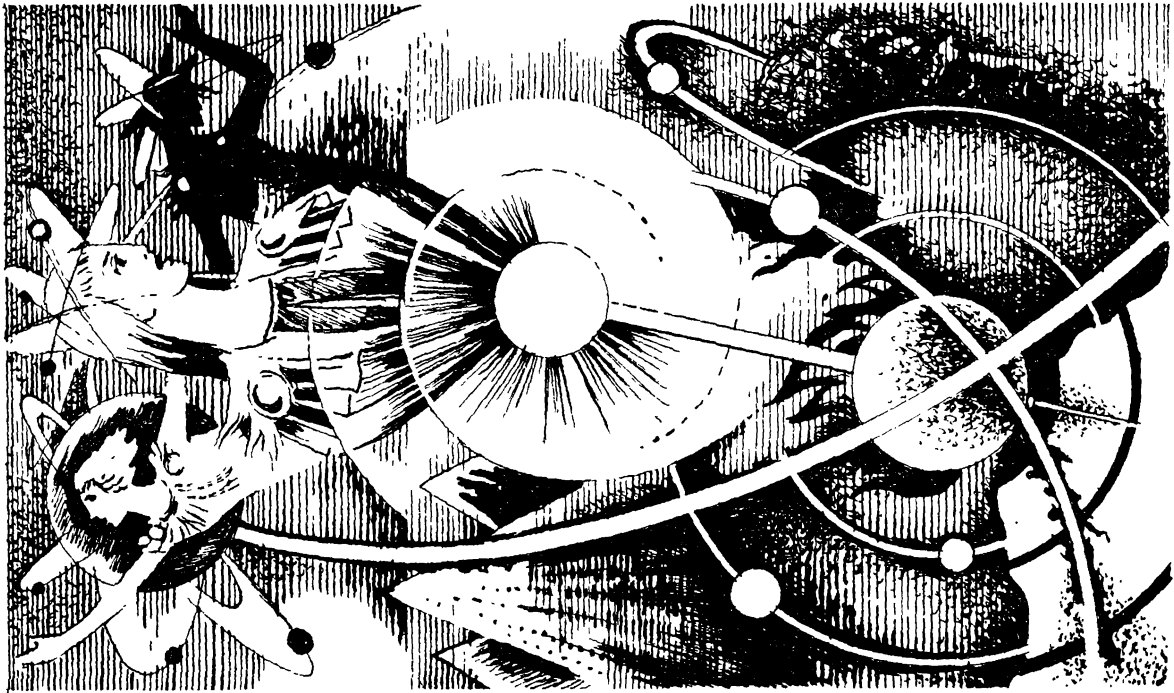
Больше говорить я не мог. Рой, Жанна и Чарли превратились в призраки — туманными силуэтами реяли в воздухе. Один Антон не двигался в кресле, он был все так же бледен. До меня, как сквозь стену, доносились голоса, я старался изо всех сил разобраться в них. Я понимал, что и Жанна, и Чарли, и Рой говорят громко, может быть, даже кричат, но слышал шепот.

— Что это значит: «Жанну спасли»? — негодовала Жанна. — Эдуард устроил какую-то новую подлость. Я хочу знать, что он сделал!

— Жанна, подойдите к зеркалу, — говорил Чарли. — Полюбуйтесь на себя. Вы теперь настоящая, вам уже ничего не грозит.

Она, очевидно, всмотрелась в зеркало. До меня донесся ее новый — шепотом — крик:

— Боже мой, что он сделал со мной! Как я подурнела! Я же выгляжу старухой. Как вы смеете говорить «полюбуйтесь на себя»! Вы издеваетесь!



— Мы радуемся за вас, Жанна!

Среди голосов выделился голос Роя:

— Жанна, вы сказали, что Эдуард устроил вам новую подлость. Подберите слова из другого лексикона. Самые высокие слова будут бледны...

Он еще что-то говорил, но я не слышал. Потом пробудившееся сознание донесло, что меня несут на носилках,— и наступил долгий провал. Очнувшись, я увидел, что лежу в палате. Около меня на столике стоял микрофон. Я попросил дежурную сестру, пришел врач. Я сказал, что слишком долго спал, наверно не меньше суток, хорошо бы мне встать. Он засмеялся. Пояснил, что не спал, а был в беспамятстве. И не одни сутки, а ровно двадцать. И что встать мне, конечно, было бы неплохо, но только вряд ли это осуществимо. Некоторое время мне придется передвигаться лишь на костылях. Окончательное выздоровление он гарантирует, но это будет не завтра. Моего первого прихода в сознание ожидают трое гостей. Он сейчас разрешит им посетить меня.

В палату вошли Чарли, Рой и Антон.

— Ты неплохо выглядишь, Эдик! — сказал Чарли.— Врач уверяет, что ты отличник выздоровления. По-моему, ему можно верить.

— Ты жутко похудел,— посетовал Антон.— В чем только душа держится! А как настроение? Неплохо, правда?

— Опыт был проведен блестяще,— сказал Рой.— Вы вскоре сами все узнаете, когда изучите записи процесса. Конечно, таких опытов вам больше не разрешат.

— Будем двигаться поэтапно,— бодро уточнил Чарли.— Следующие наши эксперименты не выше молекулярного уровня. Надо же что-нибудь оставить и будущим поколениям хронофизиков.

Я спросил о Жанне. Жанна, узнав правду, приходила в больницу, но я лежал без сознания. Несколько дней назад Жанна улетела на Латону, оттуда на Землю. Перед отлетом она великолепно справилась с монтажом «трех-миллионника». Она играла на могучих антигравитаторах, как на клавиатуре рояля. Цистерна с тремя миллионами тонн сгущенной воды плыла от космопорта к новому энергоскладу, как легкий воздушный шарик. Антон внешне рассердился.

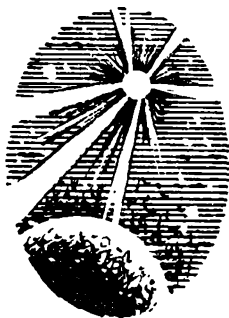
— Никогда не прощу тебе, что она улетела! — закричал он.— Ты знаешь, какие мне суют теперь сепараци-

онные пластинки? Посчитаемся после выздоровления. Хорошего не жди! Выздоровливай поскорей!

Они ушли. Я закрыл глаза, вспоминал, огорчился, радовался. То, что Жанна не захотела оставаться на Урании, было, вероятно, хорошо, а не плохо. Многое соединяло нас, еще больше разделяло, я не мог разобраться во всей этой путанице.

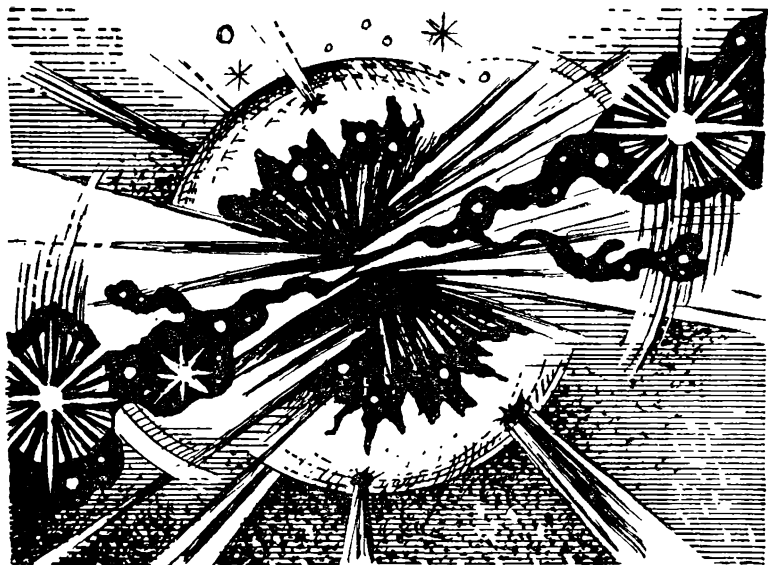
И настал день, когда — пока на костылях — я смог выбраться в столовую. К моему столику присел Чарли, деловито пробежал глазами меню, заказал, естественно, омлет с овощами и апельсиновый сок и порадовал:

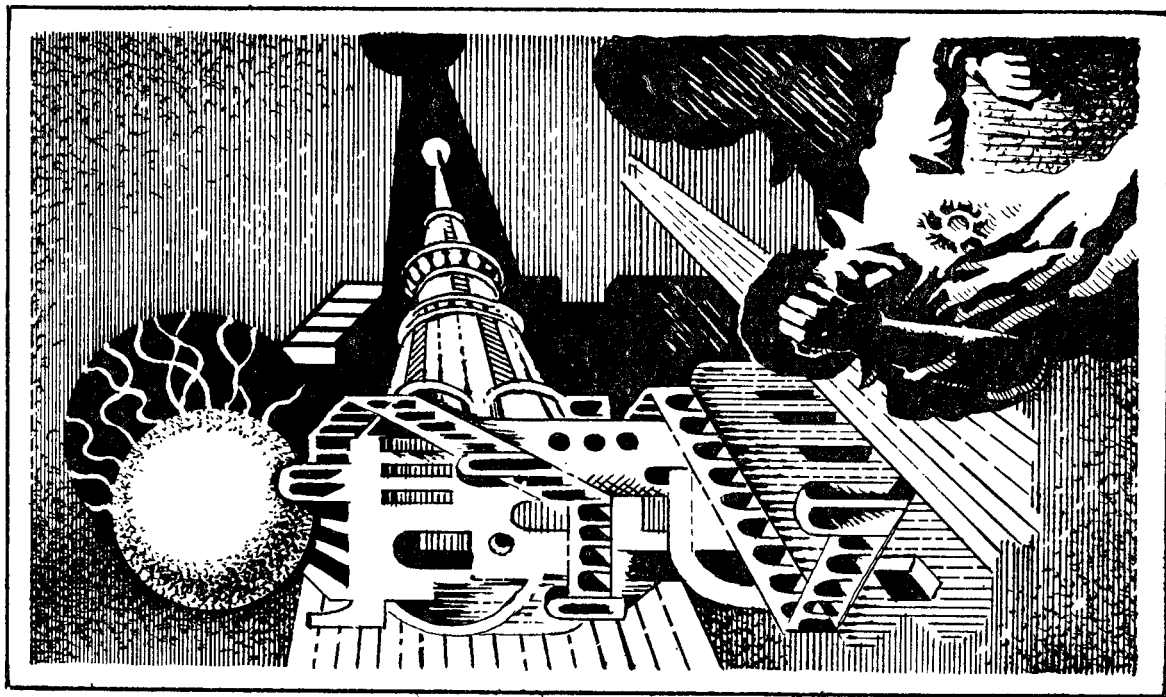
— Вчера с Латоны ушел на Землю рейсовый звездолет «Командор Первухин». На нем отбыл Рой Васильев. Он передает тебе привет.



ЧЕТЫРЕ ДРУГА

*Научно-фантастическая
повесть*





Начну с признания: я не принадлежу к числу горячих поклонников Кондрата Сабурова. И я не был его близким другом, как считают многие. Больше того, он временами был мне антипатичен. Прекрасная Адель Войцехович со всей свойственной ей бесцеремонностью убеждала Кондрата — да и меня самого, — что я ему завидую. Не думаю, что она права. Я не собираюсь ни обелять себя, ни тем более напяливать на себя ангельские крылышки. Я не ангел, это бесспорно. Но и не дьявол, каким она меня живописует. Оставляя в стороне объективную научную ценность моих споров с Кондратом, уверен, они имели и то немаловажное субъективное значение, что ограничивали его фантазию. Он заносился, его нужно было одергивать. Когда человек вообразит себя непогрешимым, ему море по колено. А море топит корабли, на нем разражаются бури. Здесь главный источник наших разногласий. Я настаиваю на этом, что бы теперь ни говорили о моем скверном характере Адель и Эдуард, изменившие Кондрату в труднейший час его изысканий. Трагический финал экспериментов свидетельствует, что прав был я, требовавший от Кондрата осмотрительности, а не они, толкавшие его на научные авантюры. И я оплакивал гибель Кондрата ничуть не меньше, чем те двое. Ибо ушел от Кондрата, а не предал его. Он мне однажды сказал: «В тебе я уверен, Мартын, ты не изменишь, изменить может только друг, а какой ты мне друг!» Так он понимал меня, Кондрат Сабуров, руководитель Лаборатории ротонной энергии. И у меня нет причин стыдиться такой оценки.

Именно в таком смысле я и высказался, когда директор Объединенного института № 18 академик Огюст Ларр и его заместитель Карл-Фридрих Сомов вызвали меня на

собеседование. Я ни одной минуты не сомневался, что будет не собеседование, а допрос, и не постеснялся довести до их сведения свое понимание. Хорошо помню, как по-разному они восприняли мой выпад.

Сейчас я формально обязался вести запись всего, что хоть в отдаленной степени касалось работ в ротоновой лаборатории, и с удовольствием вписываю в свой отчет и ту беседу с руководителями института, ибо она не в отдаленной, а в очень близкой степени затрагивала обстоятельства трагедии.

Огюст Ларр вызвал меня в свой роскошный кабинет в полдень. Окна выходили на южную сторону, и сквозь стекла лилось жаркое солнце. Я не люблю чрезмерного света и сел к солнцу спиной. Против своего обыкновения, Ларр сидел за столом. На огромном столе лежала толстая папка с какими-то бумагами. Я сказал «против обыкновения», потому что почтенный академик редко обретается в кабинете, его любимое местопребывание — институтские коридоры, где он прогуливается то с одним, то с другим сотрудником, заводя бесконечные обсуждения. А если и проникает в свой кабинет, то не сидит, а прохаживается вдоль окон или стены — длиннющим его ногам, видимо, противопоказан покой. Сейчас он сидел, и это, не сомневаюсь, должно было подчеркивать важность разговора. Он положил на стол волосатые, лопатой, ладони, вытянул ноги под столом и не сводил с меня настороженного, но, в общем, доброго взгляда — под кустистыми бровями на узком лице, перегороженном, как барьером, огромным носом, глаза его, ярко-голубые, посверкивали, как подожженные изнутри. У него, конечно, красочная физиономия, у нашего прославленного астрофизика Огюста Ларра, в Портретном зале Академии наук только президент Академии Альберт Боячек может соперничать с ним в выразительности лица.

А Карл-Фридрих Сомов, заместитель по общим проблемам, сидел у торца директорского стола и, не глядя на меня, что-то писал и черкал в обширном блокноте. Он притворялся, что инициатива вызова принадлежит Ларру, а не ему. И то, что он вызывающе отстраняется от беседы, предоставляя ее директору, хотя каждому в институте ведомо, что именно Сомов, а не Ларр занимается всем, что не имеет сугубо научного содержания, сразу возмутило меня. Если Сомов хотел настроить меня давать сдачи в ответ на любое принуждение, то мог заранее рассчитывать на полный успех.

— Друг Мартын, нам хорошо известно, что вы невиновны в несчастье в ротоновой лаборатории, — так дипломатично начал Огюст Ларр. Он, несомненно, планировал умелой фразой смягчить ожидаемую от меня резкость. И план его, естественно, имел бы успех, если бы сам Ларр не испортил его последующими словами: — Но вы были посвящены во все детали исследований Сабурова, знали его цели и намерения, он делился с вами своими идеями...

Я понял, что нужно немедленно поставить межи разговору, ибо он грозил безбрежно расплыться.

— Детали экспериментов я, конечно, знал. О целях, которые ставил себе Сабуров, иногда догадывался. Что до идей, то они являлись ему столь густо и были столь разнообразны, что он и сам в них не всегда разбирался, а уж поделиться ими зачастую забывал.

— Но его намерения...

— То же относится и к его намерениям. Я полагаю, речь идет об экспериментах, а не общечеловеческих свойствах? В быту его намерения были обычны: поесть, если уж стало невтерпеж после пропуска обеда пропускать еще и ужин, поспать часок днем после бессонной ночи. Тут он был такой же, как вы или я.

— Вы считаете обычным быть таким, как вы? Но, друг Мартын, общее мнение в институте, что если и поискать необычностей, то лучшего примера, чем даете вы, не найти.

— В институте № 18 ошибаются не только в научных экспериментах, — парировал я. — Однако не понимаю: вы вызвали меня для обсуждения моего характера?

— Вы сами догадываетесь: не для этого. Мы пригласили вас, чтобы разобраться в причинах взрыва в ротоновой лаборатории.

— Вы недовольны отчетом вами же назначенной следственной комиссии? Разве она не зафиксировала все обстоятельства трагедии?

— Ваше мнение не отражено в выводах комиссии, а оно существенно — вы были самым близким сотрудником Сабурова.

— Во время взрыва и последующего расследования я находился в командировке на дальних планетах, поэтому не мог приобщить своих показаний к тому, что комиссия установила. Последние эксперименты Сабурова мне неизвестны. И у меня не было никакого желания знакомиться с ними. Я не из тех, кто сует свой нос в дела, от которых его бесцеремонно отстраняют.

— Вы написали мне, что просите перевода, потому что вас заинтересовали другие темы,— мягко напомнил директор.

Я не сдержал горечи.

— А как было писать? Что Кондрат указал мне на дверь? А ведь было так! Не просто указал на дверь, а схватил за шиворот и пытался вытолкнуть в коридор. Только то, что я много сильнее его и не постеснялся доказать ему это, спасло меня от вылета наружу. Этого было достаточно, чтобы я навсегда перестал интересоваться всем, что Сабуров делает в лаборатории. Не требуйте от меня никаких показаний. Я не уверен, что они смогут быть объективными.

Ларр, по всему, не ожидал такого отпора. И тут в беседу вступил Карл-Фридрих Сомов. Я никогда не разделял ненависти Кондрата к первому заместителю директора. Но и мне неприятен этот сухой педант — широкое, безжизненно-желтоватое лицо, желтые волосы, желтые глаза, удивительно скучный голос. Кондрат и голос его со злостью называл желтым. Вообще, мне кажется, каждый несет свой особый основной цвет и его можно фиксировать фотометром и вносить в паспорт, наряду с группой крови и пейзажем линий на пальце, как важное индивидуальное отличие. Например, в этой шкале цветов Кондрат был бы пламенно-малиновым, Адель — тонко-салатной, Эдуард — томно-фиолетовым, а наш директор Огюст Ларр — мощно-оранжевым: ведь оранжевый проникает сквозь туман и пыль, а разве такое проникновение сквозь темень научных проблем не является характерной чертой академика Огюста Ларра, многолетнего директора Объединенного института № 18?

Карл-Фридрих Сомов сказал, как бы нехотя глянув на меня глубоко посаженными тусклыми глазами:

— Ваши отношения с Сабуровым имеют для нас важное значение, друг Мартын. Вы, очевидно, не соглашались в чем-то с методикой его экспериментов. Последующие события косвенно оправдывают ваше враждебное отношение...

Я прервал его:

— Я не был врагом Сабурову. У Кондрата не было врагов. Впрочем, ошибаюсь. Один враг у него в институте все-таки был.

— Назовите его! — Сомов, конечно, знал, кого я имею в виду, и шел напролом.

— Этот враг — вы! Только вы, и никто другой!

Ларр молча переводил удивленный взгляд с меня на Сомова и снова на меня. Я твердо решил высказать Сомову если не все, то многое, что думаю о нем. Он не показал ни удивления, ни гнева. Лишь с издевательской вежливостью попросил объяснения. На мгновение даже тусклые глаза его вспыхнули.

— Значит, вы наносите мне личное оскорбление? Я правильно понял?

— Неправильно, конечно. Не оскорбляю, а деловито квалифицирую ваше отношение к Сабурову.

Ларр счел, что нужно вмешаться в перепалку, опасно уводящую разговор от намеченной темы.

— Друг Мартын, мне неприятно ваше высказывание. В институте нет вражды. Соперничество, соревнование, споры — да, но не вражда.

Я молча пожал плечами, дав им обоим понять, что имею свое мнение о взаимоотношениях в институте — и хоть не намерен всюду кричать об этом, они с моим мнением должны считаться.

Карл-Фридрих Сомов принадлежал к людям, которых резкое суждение не способно сбить с толку. На его широком лице засветилась усмешка. Иногда он изменял своей камуфлирующей неприметности. Сейчас был такой редкий случай. Мне показалось, что ему даже приятно обвинение во вражде к Сабурову и что он не прочь признаться в ней, только мешает категорический запрет Огюста Ларра.

Опять заговорил директор:

— Мы имеем официальный отчет о несчастье в Лаборатории ротоновой энергии. Отчет добросовестен и точен, но не полон. Дело в том, что сохранились дневники Сабурова, и они показывают, что, кроме научных интересов, связанных с ротоновыми исследованиями, были и сугубо личные. Нам важно установить в его экспериментах меру личного и производственного, думаю, эти два термина, «личное» и «производственное», всего точнее характеризуют задачу. И мы хотим поручить ее решение вам. Вы лучше всех в институте способны разобраться в загадках трагедии и дополнить официальный отчет очень важными деталями.

— У меня теперь иные научные темы, — сказал я.

— Они не срочные. Мы разрешим вам временно законсервировать свои исследования.

Я задумался. Разумеется, я понимал, что проблемы

ротонной энергии несравненно значительней того, что я нынче изучал в своей крохотной лабораторийке. И, естественно, после гибели Кондрата именно я был всех компетентней в ротонных экспериментах. Скажу даже, если бы руководство института, задумав восстановление ротонной лаборатории, поручило другому разобратся в загадках взрыва, я был бы уязвлен. Но воспоминание о ссоре с Кондратом мешало сразу ответить «да». Я думал об Адели Войцехович и об Эдуарде Ширвинде. Они воспримут мое возвращение к ротонным делам как попытку свести посмертные счета с Кондратом. Не считаться с их чувствами я не мог.

— Мы понимаем ваши колебания...— осторожно сказал директор.

— Вряд ли,— отрезал я.— Мои колебания к науке отношения не имеют. В общем, я согласен.

По тому, как облегченно вздохнул Огюст Ларр, было ясно, что он не надеялся на столь быстрое согласие. Даже сухарь Сомов радостно ухмыльнулся. Оба эти столь непохожие один на другого человека одинаково неверно воспринимали меня. Впрочем, не одни они преувеличивали дурные свойства моего характера, я привык к таким преувеличениям. И даже научился использовать превратное представление о себе как о несдержанном и резком до грубости — охотно признаюсь и в этой маленькой деловой хитрости.

Сомов протянул мне пухлую папку с бумагами.

— Здесь отчет комиссии и дневник Сабурова. Они вам понадобятся.

Я отвел рукой папку.

— Не сейчас. Раньше составляю собственное мнение о происшествии, потом буду сверять его с отчетом и дневником.

— Еще одно, друг Мартын,— сказал Огюст Ларр.— Вам будет предоставлено право вызывать к себе любого сотрудника для вопросов. И если захотите поговорить со мной или с Сомовым, можете требовать и нас к себе.

— Непременно воспользуюсь этой привилегией,— пообещал я и ушел.

В моей лаборатории были свои маленькие загадки и срочные проблемы. Но они меня больше не интересовали. Придя туда, я выключил приборы, остановил генераторы и попросил повесить пломбу на дверях.

— Месяц меня здесь не будет,— сказал я сотрудникам, их было трое, хорошие, работающие парни.— И вас

тоже не будет. В Австралии сейчас весна. Почему бы вам не позагорать на пляжах Тихого океана?

Чудаки даже не поинтересовались, отчего неожиданный перерыв в работе. Впрочем, они всегда ворчали, что я тиран и что им не хватает времени даже на еду, не говоря о «полнометражном сне» — так они именовали свои мечты о безделье. Уверен, что еще не кончился день, как вся троица катила куда-нибудь подальше от Столицы и адресов своих мест отдыха предусмотрительно не оставила.

А я пошел в институтский парк. По графику Управления Земной Оси в районе Столицы сейчас значилась осень — метеорологи только гармонизировали природный климат, а не заменяли его своими искусственными разработками.

Я сел на скамейку у озера. Ласковый ветерок морщил воду, шелестел в желтеющих липах и вязах. По небу пробегали быстрые яркие облачка, на высоте, видимо, дуло сильнее, чем на земле. Мне было хорошо и скверно. Хорошо от картины воды и облаков, от теплого ветра, овевающего лицо, от смутного бормотания деревьев и еще от того, что несправедливость отстранения меня от любимого дела теперь отменена и мне выпадает судьба восстановить важные эксперименты. Некогда я весь, всеми мыслями, всеми чувствами жил ими, а недавно горевал, что они стали недосыгаемо далеки... И было скверно, что к радостной перспективе восстановления ротоновой лаборатории надо идти мучительной дорогой — разбираться в ошибках и просчетах Кондрата, в своих ошибках и просчетах, они, несомненно, тоже были, и снова переживать со всей душевной болью и нашу с ним ссору, и его такую нелепую, такую немыслимую гибель...

— Ладно, держи себя в руках! — вслух сказал я. — Ты на людях сохранял невозмутимость, только наедине с собой позволял себе раскисать. Теперь умение показывать спокойствие понадобится еще больше. Ибо среди тех, кого тебе разрешено вызвать, первыми будут Адель и Эдуард. Не завидую тебе, старина. Впрочем, им будет еще трудней. С чего ты начнешь?

Я начал с воспоминаний: велел своей памяти восстановить, как начиналась проблема ротоновой энергии, кто ее начинал, как шла работа. Нет, я не вспоминал расчеты, я видел лица, а не формулы, вникал в души, а не в цифры. Меня окружили те, кого я так долго любил, кого подерживал и кого опровергал. Был полдень, когда я вышел

в парк, светлый полдень перешел в хмурый вечер, вечер превратился в недобрую ночь, хлынул дождь, сбивая листву с шумящих деревьев, а я, закутавшись в плащ, не отряхивая усеивающих плечи мокрых листьев, все вспоминал, вспоминал...

2

Это было страшно давно, лет десять назад.

В нашем университете объявили публичную лекцию профессора из Праги Клода-Евгения Прохазки.

В научном мире всегда есть два рода гениев: общепризнанные, прославленные — чаще всего посмертно, — в общем, узаконенные реформаторы науки. И гении непризнанные: в их гениальности никто про себя не сомневается, но вслух этого не выскажут, ибо они ведут себя не так, как предписано вести гению.

Профессор Прохазка был ярким образцом такого никем не признанного, но несомненного научного гения. Он взрывал основы космологии — это было, естественно, актом гениальным. И он каждым своим словом, каждым новым расчетом не столько опровергал устоявшиеся воззрения, сколько оскорблял представителей этих воззрений. Его выслушивали, он умел заставлять себя слушать, но дружно отказывали в признании. Он изобретательно высмеивал оппонентов, устраивал публичные скандалы из нормальных дискуссий. Если в мире существовал академический дебошир, то его, вне сомнений, звали профессором Прохазкой.

И он известил столичный университет, что намерен провести открытую дискуссию на тему: «Как возникла наша Вселенная и что с ней сейчас происходит?» Легко догадаться, что его предстоящий приезд породил смятение у наших светил. Научный блеск иных стариков уже погасал, сияние других, помоложе, только разгоралось, но все они опасались, что в сверкающем пламени мятежных идей пражского профессора каждый потускнеет и потеряет уже завоеванный солидный облик.

Я пришел в актовЫй зал университета вместе со своей сокурсницей Аделью Войцехович.

Мне тогда казалось, что я в нее влюблен. Нет, Адель еще не была той красавицей, в какую потом превратилась. И она еще не выделялась нынешней роскошной укладкой салатных волос, так гармонирующих с блеском совершен-

но зеленых глаз. Разумеется, она и тогда была миловидна. И все же была скорей простушка, чем богиня. Ни особого интереса к науке, ни тем более научных успехов в ней отдаленно не угадывалось. Она говорила мне о родителях, о детских увлечениях, о местах, где родилась и училась, — какие-то леса и поселки возле древнего польского городка Ольштына; те места, по ее рассказам, были чем-то вроде маленького филиала райских угодий. В общем, кто знает нынешнюю Адель Войцехович, доктора и профессора астрономии, несомненного в будущем академика, тот и не поверит, что она могла быть такой, какой я ее знал, когда мы были студентами.

Мы явились за час до начала лекции, чтобы раздобыть хорошие места. Но не одни мы проявили предусмотрительность.

Зал был уже заполнен. Мы с Аделью осматривались в проходе: не углядим ли где свободного кресла? Нас окликнул невысокий, плотный — он уже и тогда начал полнеть — юноша:

— Друзья, идите сюда! Специально для хороших людей храним два местечка.

Он снял какие-то вещи, положенные на соседние кресла и свидетельствовавшие о том, что они заняты. Адель уселась рядом с ним, я поместился крайним в четверке. Полный юноша весело сказал:

— Кондрат, хочу познакомить тебя с нашими новыми друзьями.

— Мартын Колесниченко, будущий ядерщик. — Я протянул руку второму парню.

— Кондратий Петрович Сабуров, космолог, — представился тот.

Кондрат говорил на хорошем международном языке, общепринятым для знакомства, но, по русскому обычаю, называл отчество. Как древний аристократ, каким он, впрочем, не был, Кондрат гордился своим происхождением от сибиряков, в незапамятные времена покоривших дикий край. И он, надо сказать, знал те давние времена гораздо лучше нас и не упускал случая щегольнуть своими знаниями.

А я отметил в те минуты знакомства, что он сказал не «будущий космолог», а именно «космолог», хотя по годам еще не мог выйти из студенчества. Самоуверенность — его характерная черта; к любому своему намерению он относился так, словно оно уже осуществлено, и требовал такого же отношения от нас.

— Адель Януаровна Войцехович, будущий астроном, — сказала Адель, протягивая руку Кондрату.

Она, думаю, бессознательно подделалась под его манеру называть себя. Впоследствии она подделывалась под его прихоти сознательно и достигала быстрого успеха — этого умения у нее не отнять.

Полный юноша сказал:

— Теперь, когда ты познакомился с соседями, представь им и меня. — И, не дожидаясь, пока медлительный Кондрат отреагирует, он весело протянул руку Адели: — А дочка, я — Эдик Ширвинд, специальности не называю: пока не имею, а в будущем — не уверен, какая получится. Естественно, прошу любить и жаловать. Согласен даже на исполнение половины просьбы — только любить. Но в этом случае — крепко!

Мы смеялись. Так со случайной встречи на лекции приезжей знаменитости началась наша дружба. Возможно, для каждого из нас, не для одного Кондрата, было бы лучше, если бы этого знакомства не произошло. Но что было, то было. Предвидением грядущего никого из нас природа не одарила.

Эдик шутил, пока на кафедру не взошел Прохазка. В прошлом году он умер, и теперь его могут видеть на всех континентах: портреты его вывешены не только в университетах, но и в школах. Посмертного признания он удостоился. Но тогда мы увидели его впервые — зрелище из впечатляющих. Невысокий, но такой широкоплечий, что выглядел почти квадратным, огромная голова, а на голове чудовищная копна серых от густой седины волос, и каждая волосинка, как наэлектризованная, отталкивается от соседней и торчит самостоятельно, щеки впалые, как у смертно голодающего, нос вряд ли поменьше, чем у нашего Огюста Ларра, а в довершение пейзажа — именно этим словом сформулировал Эдуард впечатление от облика Прохазки — голосок, очень сильный, очень резкий и такой высокий, что, казалось, не проникал в наши уши, а пронзал их. Первые же слова профессора вызвали физическую дрожь — так непривычен был этот острый звук.

Я говорил, что каждому свойствен свой цвет. Профессор Прохазка был синим. Я видел ясно, что у него красноватые, как у индейца, щеки, это было далеко от синевы, но излучал он в синих тонах, он был всем в себе — словами, мыслями, темпераментом — убивающе синим. Эдуард потом уверял, что в помещениях, где долго обретается

Прохазка, чихнут мухи и гибнут комары. Он шутил, но в каждой шутке гранула правды.

Своеобразная известность Прохазки заставляла ожидать с первых же слов каких-то необычных утверждений. Но он начал с понятий, известных и школьнику. Он поведал аудитории, что в двадцатом веке ученые заинтересовались происхождением Большой Вселенной. И в том же двадцатом веке «согласились о нижеследующем» (и в этом выражении прозвучала свойственная Прохазке издевка): существовал-де некогда нерасчлененный сгусток материи, а вокруг безграничное пустое пространство. И вот неизвестно по какой причине первоначальный комок сверхплотной материи взорвался, и все его куски стали с бешеной скоростью разлетаться в безграничном пространстве. И часы истории Вселенной пошли. В первые мгновения взрыва почти вся взорвавшаяся материя превратилась в фотоны, то есть в свет. Таким образом, в начале Вселенной был свет — в резком голосе Прохазки снова прозвучала ирония. Фотоны быстро трансформировались в стандартные ныне протоны, нейтроны, электроны, позитроны, нейтрино и прочие частицы, а частицы стеснились в звезды и скопления звезд — галактики. Галактики продолжали разлетаться от места взрыва, и которая была побойчей, убегала подальше, а медлительные отставали. Явление это назвали «расширением Вселенной в результате Большого Взрыва». Сосчитали даже скорость бегства галактик от места, где Первичный Взрыв наддал им пинка в беспредельное пространство. И обнаружили, что в дальнем далеке бесконечной Вселенной звездные беглецы так быстро мчатся, что уже подошли к скорости света — тремстам тысячам километров в секунду: воистину бег без памяти к границе физического бытия! А дальше, видимо, провал в бездну несуществования. Вот такой рисовалась в двадцатом веке Большая Вселенная: первоначальный взрыв и бешеное разбегание всей материи, а на бегу — формирование нынешних звезд, галактик, скоплений галактик.

— Пока довольно тривиальная картина Вселенной, — шепотом прокомментировал Эдуард начало лекции. — В общем, будь профессор студентом в нашем университете, ему поставили бы тройку. Со строгим указанием на нестрогость формулировок.

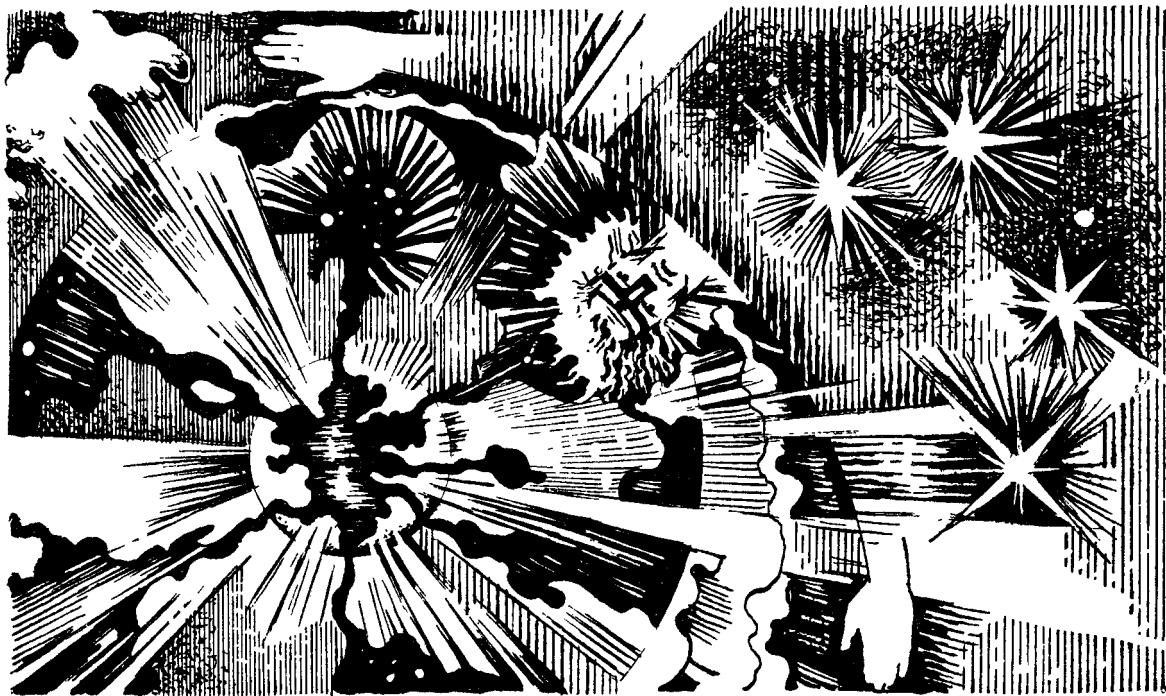
Прохазка, закончив почти веселое изложение разработанных в двадцатом веке космологических гипотез, перешел к их критике. Много слабых мест было у тех

теорий, но на них долго не обращали внимания, увлеченные красивой картиной Вселенского Взрыва. И главная слабость — загадка пространства. Ну, хорошо, имелась первичная глыба нерасчлененной материи, и та глыба, содержащая в себе все вещество мира, неведомо почему взорвалась и разлетелась в пространстве. А само пространство уже было? Или тоже возникло в момент взрыва? О физическом времени уже в двадцатом веке согласились, что до взрыва его не было, мировые часы стали отсчитывать секунды, минуты, годы, миллионлетия, лишь когда нынешняя Вселенная начала существовать. А загадку пространства игнорировали. Забыли, что еще великий Ньютон называл пространство «чувствищем бога», указывая тем самым на особое его значение во Вселенной. Наличие пустого беспредельного пространства было величайшей тайной мироздания, и сколь долго этого не понимали?

Я пока излагаю то, что вам и без меня хорошо известно, с аффектацией возвестил Прохазка. А теперь обязан высказать мои собственные недоумения. Почему, я спрашиваю, никто не увидел того, что прямо-таки бросалось в глаза? Вещество таит пространство в себе, пространство же никакая не геометрическая пустота, а нечто вещественное — вот такого понимания требовала логика, но простого этого понимания не усвоили самые здравомыслящие головы. В головах зияла все та же абсолютная пустота — я говорю о восприятии пространства, а не о всем прочем содержимом голов. И в этой беспредельной пустоте бешено разлетались атомы, кванты, звезды, галактики... И ничто им не мешает мчаться к бездне, физическому пределу скорости. Ибо «убег» совершается в неведомой пустоте, а пустота сопротивления не оказывает.

— Кажется, начинает стучать кулаком по столу, — удовлетворенно прошептал Эдуард. Столь развившаяся потом в Эдуарде любовь к научным скандалам в зародышевой форме была уже и тогда.

Прохазка перешел к сути своей теории. Уверен, что именно на той университетской лекции, на которой мы вчетвером присутствовали, он впервые высказал ее в полноте. И он торжественно объявил, что первоначальный Большой Взрыв полностью принимает, одновременно отказываясь, как и все его предшественники, от объяснения, почему материя взорвалась. Взорвалась — и все, душа из нее вон! Зато категорично отрицает тот характер Большого



Взрыва, какой ему доньше приписывается. Взорвалась не материя, взорвалось, верней, вырвалось пространство. Первоначальное безмерно плотное вещество существовало не только вне времени, но и вне пространства. Все мгновенно народилось в тот удивительный момент: время, движение, объемы, расстояние, массы, плотности, силовые поля, заряды — в общем, все то, что мы сегодня называем физическими характеристиками объектов Вселенной.

— Лихо, даже очень лихо! — пробормотал Эдуард.

Никто из нас не отозвался. Гипотеза Прохазки была слишком серьезна, чтобы сопровождать ее ироническими репликами.

Итак, взрыв произошел оттого, что народилось пространство и разметало первоначальную массу, продолжал Прохазка. Вещество исторгалось, парило, дымило пространством — и разлеталось, и раздрабливалось в ново-созданных просторах. Не вещество мчалось в пустом беспредельном пространстве, а оно, только что народившее пространство, разбрасывало вещество, расширялось, стремилось к беспредельности. И в те первоначальные мгновения скорость новообразования пространства была столь исполински велика, что постороннему взгляду, если бы он существовал, показалось бы, что частицы вещества разлетаются одна от другой с быстротой света. А значит, сами частицы могли быть только фотонами, ибо один свет обладает максимальной скоростью. Вселенная в момент своего создания была неистовым, всепоглощающим светом, как справедливо считали космологи уже в двадцатом веке, неправильно, впрочем, интерпретируя это явление.

По мере выброса непрерывно исторгаемого из вещества пространства скорость его расширения падала, и это было равнозначно тому, что падает скорость частиц, — они превращались из фотонов в электроны и протоны, нейтроны и нейтрино. И появилась новая сила — мировое тяготение. Оно тоже родилось в момент Большого Взрыва. Пространство, разбегаясь, разбрасывало частицы вещества, тяготение стягивало их в кучи. И когда распирание пространства потеряло первоначальную неистовую быстроту, тяготение приступило к своей организующей роли — стало сгущать безмерные массы частиц в туманности, звезды и галактики. Так возникла современная Вселенная.

Пространство продолжает исторгаться из вещества, говорил Прохазка. И это означает, что Вселенная расширяется — в целом и в каждой точке, где имеется вещество. А нам воображается, что все объекты Вселенной отдаля-

ются от нас благодаря собственной скорости разбега. Между космическими объектами взаимные их отдаления увеличиваются, но собственного бега нет, и звезды, и галактики отбрасывают одну от другой исторгаемое ими самими новое пространство. Еще в двадцатом веке заметили удивительный факт: чем дальше от нас звезды, тем они быстрее отдаляются. И никто не обратил внимания на несуразность: почему так неодинаковы скорости убегания разных звезд, ведь первоначальный Взрыв должен был наддать частицам одинаковое ускорение? Но если принять мою теорию, то парадоксы исчезают. Раз пространство одинаково везде новообразуется, то чем дальше объект от нас, тем больше между нами создается нового пространства, а это равнозначно тому, что у дальних объектов скорости удаления закономерно больше, чем у объектов близких.

И последнее, говорил Прохазка. Взрывное самоистечение пространства давно себя исчерпало. И видимо, интенсивность образования пространства продолжает падать, вещество все меньше и меньше исторгает его из себя. Это означает, что расширение Вселенной замедляется. В какое-то время вещество полностью растратит внутренние пространственные ресурсы. И тогда начнется обратный процесс — схлопывание Вселенной. Тяготение будет сжимать разрозненные массы, пока не сольет все вещество Вселенной в прежний сверхплотный комок. Вселенная возвратится к исходному пункту, где уже не будет ни пространства, ни времени, ни тяготения, ни выраженного в материальных частицах вещества.

— А потом новый Большой Взрыв создаст новую Вселенную, — не удержался от комментария Эдуард.

На этом Прохазка закончил. Правда, он еще продемонстрировал на экране математические уравнения — они, естественно, свидетельствовали об абсолютной правоте его идей, — потом отвечал на вопросы и высмеивал оппонентов, такие тоже нашлись, — обычный ритуал его публичных выступлений.

Профессор принял букет ярких роз от покоренных слушателей и церемонно раскланялся.

Мы вчетвером вышли из зала.

Эдуард предложил погулять по университетскому парку — для остужения пылающих мозгов. Он говорил это всем, но глядел на одну Адель, и она за всех ответила согласием.

Не могу сказать, чтобы мне хотелось гулять в компании малоознакомых людей, тем более что Эдуард слишком уж вызывающе кинулся в ухаживание за Аделью, не поинтересовавшись, нравится ли это мне. Он не сомневался, что ей-то понравятся комплименты, которыми он намеревался ее одарить, — и не ошибся. Я заметил, что и Кондрат не выразил прогулочного энтузиазма, он, кажется, даже хотел отказаться, чтобы в одиночестве поразмыслить о теориях Прохазки. Но я не мог оставить Адель наедине с Эдуардом и дружески взял Кондрата под руку. Кондрат посмотрел на меня удивленно. Он трудно сходилась с людьми, и приятельские отношения у него надо было заслужить, а не запросто получить. Все же он молчаливо побрел с нами.

В парке творился отличный весенний вечер. Теплый ветерок шелестел листвой, перекликались птицы. Мы знали, разумеется, что вечер сработан по графику — Управление Земной Оси в последние годы трудилось без накладок. Но разве не все равно, сама ли природа приносит нам радостные дары, или ее вежливо и непреклонно принуждают быть доброй и щедрой?

— Профессор малость заврался, — сказал Эдуард. — Малость — в смысле очень сильно. Собираюсь доказать это. Где мы это сделаем?

— На первой свободной скамейке, — сказал я.

В парке не одни мы «остужали пылающие мозги». По всем дорожкам ходили пары, кучки и одиночки. Не найдя свободной скамейки, мы уселись на откосе берега. Внизу посверкивало мелкими волнами парковое озерцо, на другом берегу, уже вне университетской территории, сиял широкими окнами Объединенный институт № 18. Адель подбодрила Эдуарда, ей показалось, что его вдруг одолела робость:

— Итак, Эдик, доказывайте, что профессор заблуждается.

Робость относилась к разряду свойств, абсолютно неведомых Эдуарду Ширвинду. Он просто удобней усаживался на землю.

— Одну минуточку, Адочка. Какой-то сучок попал под

это самое... Прохазка не заблуждается, а завирается. А это вещи разные.

— Мне не показалось, что он очень путал, — заметил я.

— Он увлек вас широкой концепции. Заворожил, покорил, очаровал, восхитил. Он пользуется на трибуне недозволенными средствами художественного воздействия. Заметьте, ему одному подносят цветы на лекциях, такие подношения, словно он певец или музыкант, случались не только сегодня.

В отличие от Кондрата, да, пожалуй, и от меня, Эдуард был, конечно, умелый оратор. Я говорю «умелый», а не «прирожденный» или «блестящий» — так точнее. Словесными красотами он пренебрегал, разнообразием интонаций не брал, хотя отлично знал, что они воздействуют не только на женщин. Он покорял логикой, в этом было его ораторское умение. В тот весенний вечер особенного ораторского искусства и не требовалось, проблема была из простейших — для несложного вычисления, что тут же и доказала Адель. А говорил он о том, что нынешняя материя выделяет из себя нового пространства еще больше, чем в первоначальные минуты взрыва. Ибо что было тогда? Комок разлетающегося вещества! А что сейчас? Огромный космос! И границы его отстоят от нас на миллиарды светолет. Сколько же надо и сегодня превращать материального вещества в пустое пространство, чтобы стал возможен такой разлет?

Меня Эдуард убедил, хоть я старался подобрать контрдоводы. Как и многие люди — особенно если оппонент неприятен, — я не так даже стремился вдумываться в его аргументацию, сколько подыскивал возражения. В тот вечер Эдуард меня весьма раздражал, но убедительного опровержения я не придумал.

А Кондрат взорвался. Он так закричал на Эдуарда, что я удивился. Грубость не вязалась с обсуждением научной проблемы. Прошел не один год, пока я стал если и не оправдывать, то понимать Кондрата. Мы трое еще обсуждали прослушанную интересную лекцию, а он уже шел гораздо дальше. Кондрат защищал не Прохазку, а новые свои идеи, они были бы неверны, если бы был прав Эдуард.

— Вздор! — раздраженно крикнул Кондрат. — Чушь и чепуха! Скорость создания пространства не может расти! Прав Прохазка, а не ты.

— Возможно, прав Прохазка, а не я, — сказал Эдуард. — Но, друг мой Кондратий, зачем орать об этом на

весь парк? По-моему, надо проделать небольшое вычисление, и станет ясно, чепуха ли и вздор...

— Я уже сделала вычисление, — прервала его Адель.

Еще когда Эдуард доказывал, что Прохазка ошибся, Адель достала из сумочки карманный калькулятор. Если и был в нашем кругу человек, свято выполнявший завет древнего философа Лейбница, изобретателя дифференциального исчисления: «Не будем спорить, будем вычислять!», то им была именно она, пока еще простушка, пока только миловидная, а не красавица, только будущий астроном, а не светило космологии, наша зеленоокая, салатноволосая Адель Войцехович. Слова она приберегала для выражения чувств и живописания жизненных целей. Для научных же проблем ей служили формулы и цифры. А сияние далеких окон Объединенного института № 18 давало вдосталь света для игры на клавишах карманного калькулятора.

Адель объявила:

— Исхожу из того, что высвобождение пространства зависит только от массы вещества и совершается всюду одинаково. Так вот, объем в один кубический сантиметр расширяется в год на один сантиметр, помноженный на пять в минус десятой степени. Иначе говоря, удвоение объема космоса при современной скорости его расширения потребует что-то около пятидесяти миллиардов лет.

— Между тем возраст Вселенной определяется нынче всего в двадцать миллиардов лет, — сказал я, чтобы показать, что не безучастен к спору.

Кондрат с прежним раздражением сказал Эдуарду:

— Теперь ты понимаешь, что нынешняя скорость расширения космоса не годится для Большого Взрыва? Тогда выброс пространства разбрасывал материю со световой скоростью, отчего она и превращалась в фотоны. Категорически настаиваю на этом!

Эдуард снисходительно улыбался.

— Если категорически настаиваешь... Не ожидал, что это для тебя так важно, Кондрат.

— Важно! — отрезал Кондрат.

Не один день прошел, пока мы поняли, как воистину важно было Кондрату в этом споре оказаться правым.

Бурная вспышка Кондрата оборвала обсуждение лекции Прохазки. Да и поздно уже было. Кондрат пожал мне и Адели руку и позвал с собой Эдуарда. Эдуард пообещал догнать его, небрежно потрянул мою руку, долго не выпускал руки Адели и сказал, что поражен ее пониманием

трудных вопросов космологии и быстротой вычислений. Потом он побежал догонять Кондрата — побежал, а не просто поспешил за ним.

— Замечательные люди! — горячо сказала Адель.

— Что ты заметила в них замечательного?

Она не уловила моей иронии.

— Все, Мартын! Умные, остроумные. И такие друзья!

— Особенно чувствовалась дружба, когда Кондрат орал на Эдуарда.

Ирония наконец дошла до нее, а ума ей было не занимать.

— Скажи, а ты мог бы так закричать на чужого человека, как Кондрат на Эдуарда?

— Только если бы он смертельно оскорбил меня.

— И ты, думаю, не потерпел бы, если бы на тебя так закричали?

— Нет, конечно.

— Вот видишь. А Эдуард стерпел. И то, что Кондрат в научном споре кричит на Эдуарда, а тот не обижается, и есть доказательство дружбы, для которой подобные вспышки — мелочь.

Я промолчал. Она добавила:

— Но главное не их дружба. Мало ли кто с кем дружит! Мы с тобой тоже друзья. Они живут наукой! Наука у них — самое важное в жизни. Я бы хотела укрепить наше знакомство. Ты не возражаешь?

— Ты знаешь, Ада, твои желания для меня закон.

Я говорил искренно. Но жестоко бы соврал, сказав, что меня обрадовало ее желание. Умных парней хватало в университете и без этих двух. И меня огорчили ее слова, что мы с ней друзья. Сколько раз она доказывала мне, что мы больше, чем просто друзья! Я предугадывал, что новое знакомство внесет разлад в наши отношения. Перед входом в студенческую гостиницу я предложил подняться ко мне, она отказалась:

— Не сегодня, Мартын. У нас с тобой впереди целая жизнь.

Впереди точно была целая жизнь. Но общей жизни уже не было.

Ни она, ни я этого еще не понимали.

Так я вспоминал начало нашей общей дружбы, кутаясь в плащ под дождем на берегу институтского озера. Уже наступила ночь, на другом берегу темнело здание университета, наша ласковая «альма матер», наша «мать кормящая», где мы учились, где приобретали и теряли любимых, где из пытливых «сосунков науки», как мы сами себя тогда окрестили, постепенно превращались в мастеров мысли и знания.

Я рассердился на себя. Не о том думаю! Единственно важное — красочный, бурноречивый Клод-Евгений Прохазка, его тогда еще мало кем признанная, теперь узаконенная теория Большой Вселенной. Именно из парадоксальной теории пражского профессора, из идеи непрерывного умножения мирового пространства и родилась работа Кондрата Сабурова, возникли все мы — «призовая четверка ошалелых гениев», как обозвал нас однажды Карл-Фридрих Сомов, потребовавший от меня сегодня анализа горестного финала столь блестяще начатых исследований. Истоки несчастья были в космологических теориях Прохазки, надо было размышлять о них, а я видел Адель и не хотел вникать в то короткое, так быстро ею проделанное на карманном компьютере вычисление, хоть и знал теперь, что существенно важным было оно, это маленькое вычисление, а вовсе не внешний облик Адели, ее зеленые глаза, шелест ее платья, запах ее духов, дразнящий смутными ароматами гвоздики, яблок и ананасов. «Твои духи так аппетитны, что ими можно насыщаться. Какое-то сладостное попурри из плодов и цветов!» — симпровизирует однажды Эдуард и будет часто со смехом повторять свою не то остроту, не то комплимент. «У нас с тобой впереди целая жизнь», — сказала она, прощаясь. И, я понимаю, сказала это, в общем-то, не для меня, а для себя самой, ибо чувствовала, что знакомство с двумя новыми студентами станет барьером для наших с ней отношений. Я не жалею и не огорчаюсь. Наша любовь возникла случайно, распад ее совершился закономерно.

— Опять не о том! — упрекнул я себя. — Адель да Адель! Не превращай свои личные неудачи в причину научных просчетов. Думай о Прохазке, думай об идеях Кондрата, такое тебе задание.

Задание было ясное. Но ясно было одно: все темно! И загадка была, конечно, не в Адели. Однако не думать

о ней я не мог. Столько лет после я равнодушно смотрел на нее, спокойно с ней разговаривал. Но в тот вечер, когда мы слушали лекцию Прохазки, Адель была важной частью моего существования, и потому в воспоминании о том вечере она вдруг стала для меня важнее и Прохазки, и Кондрата, и Эдуарда, и всех наших дел. И я как бы вновь ходил вдоль общежития, смотрел на ее освещенное окно. Почему она так долго не гасит свет, почему не ложится, может, чувствует, что я еще здесь, внизу, может, раскроет окно и выглянет? Свет горел долго, вероятно, она читала в постели, потом окно погасло.

— Вот так и кончилась твоя любовь, — сказал я себе и рассмеялся. — Никто в окно не выглянул, и ты пошел спать.

И помнится, спал хорошо. Любовные неудачи никогда не нарушали твоего спокойствия, немного подосадуешь, и все. Будешь теперь думать о буйном профессоре из прекрасного города Праги? Или вспомнишь пословицу предков: «Утро вечера мудреней»?

Я направился домой.

Утром я пошел в Лабораторию ротоновой энергии. И перед закрытой дверью остановился.

Ровно год я не переступал порога этого одноэтажного над землей, многоэтажного под ней здания. Действует ли мой шифр? В час нашей последней ссоры Кондрат гневно кричал: «И не смей приближаться к лаборатории! Я вычеркиваю твой шифр из памяти компьютера, как вычеркиваю облик из моей памяти!» В ярости он перебирал в угрозах — в лаборатории хранились мои вещи, он не мог запретить мне прийти за ними. Но я не пришел, я все бросил, перечеркнул прошлое навеки, как мне казалось. И я не захотел проверить, так ли абсолютен запрет. А потом был взрыв — сожженные генераторы, гибель Кондрата... Возможно, никакие шифры теперь недействительны. Придется тогда просить разрешения на принудительное открытие дверей. Так, наверно, входили в лабораторию члены следственной комиссии: ведь ни у кого из них не было личного шифра входа.

Долгую минуту я рассматривал массивную дверь. Никаких следов повреждений! Та же угрюмая поворотная машина, какую шесть лет я ежедневно созерцал, ежедневно же возмущаясь, что на вход приходится тратить сорок секунд, бесценные сорок секунд, которые можно использовать куда эффективней, чем на лицезрение тупой броневой плиты. А когда я говорил Кондрату, что он

отделился от внешнего мира слишком неповоротливыми механизмами, он ухмылялся: «Зато надежными, Мартын. Кстати, зачем ты пялишь глаза на дверь? Думай о своих делах, пока компьютер высчитывает, достоин ли ты входа». Он считал, что каждый способен так самозабвенно предаваться размышлениям, как он. Эдуард уверял, что как-то дверь открылась, побыла открытой, потом снова закрылась, а за ней стоял Кондрат, который настолько задумался, что забыл переступить порог.

Без уверенности, что механизмы работают, я положил левую руку на пластинку в небольшом углублении. Ничто не показало, что линии моей ладони прочитаны. Впрочем, и раньше все совершалось без шума, только Адель с ее слухом летучей мыши различала какие-то там подрагивания и поскрипывания, до меня они не доходили. Я поглядел на часы, секунды плелись еще медленней, чем при Кондрате. Стрелка проползла цифру сорок, входа не было. Я еще постоял секунд пять и повернулся уходить. Но на пятидесятой секунде дверная плита задвигалась, я поспешил вернуться, раньше вход открывался только на десять секунд, сейчас могло быть и того меньше. Переступив порог, я вновь взглянул на часы. Дверная плита, закрылась через одиннадцать секунд. Все было, как до моего ухода из лаборатории, лишь чуть замедленней — возможно, последствия взрыва. И шифр мой действовал, Кондрат не стер его из памяти компьютера. Я еще не знал, почему он не выполнил своей угрозы, но мне это было приятно.

Я вынул из кармана два датчика мыслеграфа и закрепил их за ушами. Теперь все, о чем я подумаю, что увижу, услышу, даже все, что почувствую, будет зафиксировано на бесстрастной пленке моего личного самописца. В помещениях вспыхивали светильники, я переходил из комнаты в комнату. И здесь все было на своих местах, все было цело. Как будто и не произошло взрыва, и никто не погиб, лишь временно прекращены работы. Перед комнатой Кондрата я остановился. Мне не хотелось в нее входить, но входить было нужно. И в ней ничего не переменялось — стол, два стула, диван, компьютер с дисплеем, шкаф для документов, шкаф для приборов и приспособлений. Над столом четыре портрета — Ньютона, Эйнштейна, Нгоро и Прохазки. На стене против дивана — Ферми и Жолио. Кондрат редко бывал в своей комнате, он любил ходить, а здесь не хватало простора. Внизу, в обширных подвальных помещениях, среди тесно



сомкнувшихся механизмов он чувствовал себя свободней — одна из тысяч его странностей. Впрочем, для этого поразительного человека наиболее странным было, когда он становился похожим на других.

Я заглянул в комнаты Адели и Эдуарда, но не стал в них задерживаться. Даже духа бывших хозяев не ощущалось в этих самых роскошных помещениях лаборатории. Еще при мне Кондрат с яростью выметал, выбрасывал, выскребывал все, что хоть отдаленно напоминало о ней и о нем. Сам он сюда никогда не заглядывал, мне эти комнаты были не нужны, только компьютер порой включал автоматические пылесосы. «Что же осталось в моей комнате?» — думал я. Ведь ссору со мной Кондрат переживал сильнее, чем разрыв с Аделью и Эдуардом.

Пораженный и растроганный стоял я посреди своей комнаты. Ничего не изменилось в ней. Будто я не год назад, а только вчера покинул ее. Если бы сюда заходил посторонний, он непременно что-нибудь изменил бы и переставил: стул, стоявший боком к столу, так и просился придвинуть его поаккуратней, настольная лампа — я любил это древнее световое приспособление — по-прежнему торчала на краю стола. Я всегда ставил ее на самый край, чтобы побольше было на столе свободы, — коснись кто неосторожно, вмиг упадет. Нет, не упала, не сдвинута к середине. Я сел за стол, выдвинул ящик — там, на кучке бумаги, лежал наискосок мой калькулятор. Хорошо помню, что бросил его именно наискосок, времени не было поправить. Вот он лежит, придавив своей тяжестью легкие пластиковые листочки, ни разу за год моего отсутствия его не коснулась чужая рука...

И хотя ничего в моей комнате не изменилось, я не ощущал в ней заброшенности. Ничто не свидетельствовало, что ее посещали, но я сразу уверовал, что Кондрат в ней бывал: входил, пересекал по диагонали, останавливался, осматривался и уходил — так случалось, когда я в ней работал, так происходило и после нашего разрыва. Только Кондрат мог двигаться в этой небольшой комнатушке, ни до чего не дотрагиваясь. Нет, здесь не было уважения ко мне, скорей уж мщенье: вот ты ушел, мне трудно без тебя, так смотри — ничего не беру, ничего не меняю, все твое, твое! Тебя нет — есть недобрая память о тебе! С Аделью и Эдуардом он вел себя по-иному.

Я достал из стола чистый журнал для записей и на первой странице вывел заглавие: «Лаборатория ротоновой энергии. Создание и гибель замысла».

Тема теперь была обозначена ясно. Оставалось расчленить ее на важнейшие события и каждое исследовать особо. Кондрата, будь он жив, взбесила бы моя педантичность, он выходил из себя всякий раз, когда я разрабатывал методику очередного эксперимента. Он привык скакать через ступеньки. Ему это удавалось. Но я не обладал его чудовищной прозорливостью. Историю исследований Кондрата я мог описывать лишь шаг за шагом, а не теми гигантскими прыжками, как она реально мчалась к трагическому финалу.

И я вывел на второй странице:

Основные ступеньки движения

1. Знакомство на лекции профессора Прохазки.
2. Туманные идеи Кондрата Сабурова.
3. Содружество четырех. Идеи проясняются.
4. Диплом и назначение в Объединенный институт № 18.
5. Лучезарный Огюст Ларр и зловещий Карл-Фридрих Сомов.
6. Лаборатория ротоновой энергии получает первое признание.
7. Женитьба Сабурова и бегство Ширвинда.
8. Эдуард Ширвинд возвращается.
9. Карл-Фридрих Сомов ставит палки в колеса.
10. Сабуров обнаруживает ошибки в своей теории.
11. Измена Адель Войцехович и Эдуарда Ширвинда.
12. Изгнание Мартына Колесниченко.
13. Взрыв.

— Отличная программа! — произнес за моей спиной насмешливый голос. — Если не ошибаюсь, друг Мартын, вы собираетесь писать детективный роман в древнем стиле — таинственные преступления, любовные страсти, злые противники и прекраснодушные покровители... Не так?

Я вскочил. Позади стоял Сомов. Его глубоко посаженные глаза горели, широкое лицо кривилось в усмешке. Он наслаждался, словно поймал меня на скверном поступке, которого заранее ожидал. Я возмутился:

— Кто дал вам право вторгаться в мою комнату? Я не посылаю разрешения на вход.

Усмешка слетела с его лица, как сдернутая маска. Теперь он глядел холодно и хмуро. Тысячи раз я видел его таким.

— Обращаю ваше внимание на две ошибки, друг Мартын. — Голос звучал бесстрастно и отстраняюще — тот

«желтый» голос, каким он разговаривал с подчиненными. Во всяком случае, со мной — всегда. — Первая: заместителю директора института не требуется иного разрешения на вход в любую лабораторию, кроме его личного шифра. Вторая: эта комната не ваша, а бывшая ваша. Если вы того пожелаете, она снова станет вашей. Но вы такого желания пока не высказывали.

Во мне все сильнее закипал гнев.

— Даже положение заместителя директора не дает право высматривать через мое плечо, что я пишу.

— Третья ошибка. Я не заглядывал вам за плечо. — Он показал на дисплей настольного компьютера, на нем сияла исписанная мной страница. — Советую в другой раз использовать старинные карандаши, а не современное стилос, переносящее каждую букву на экран. Укажу и на четвертую ошибку. На дисплее изображена программа расследования катастрофы: именно то задание, которое мы с Ларром вам предложили. Стало быть, нет вины в том, что я случайно с ней познакомился.

Я взял себя в руки.

— Все логично. У вас есть замечания к программе?

— Пока стилистические. Лучезарный Огюст, злоеший Карл-Фридрих, бегство Ширвинда, измена, изгнание... Не слишком ли много цветистой старины даже для любителя старого стиля? Например, вот это: «ставить палки в колеса»! Колесный транспорт можно увидеть только в музеях. К чему в век ракет и антигравитаторов такие древние термины?

— Хочу доказать, что и в наш век антигравитаторов иные старинные выражения точно отражают реальность.

Он сел, не дожидаясь приглашения.

— Ваше право. Как вы догадываетесь, я пришел не для того, чтобы вычитывать с дисплея предварительную программу вашего расследования. Будет день, вы сами доложите мне методику поиска.

— Результаты, а не методику, — поправил я. Сомов многого хотел. Наши личные отношения, сколь ни важны они были для Кондрата и меня, Карлу-Фридриху Сомову раскрывать я не собирался.

Он пожал плечами.

— Границы установите сами. Я не любитель старинных детективов, так что с этой стороны можете оставаться спокойным.

— Итак, вы пришли сюда ради того, чтобы... — напомнил я.

— Совершенно верно: чтобы вручить вам эту папку с документами лаборатории.

Он протянул толстый пакет, который держал в руках. Я сказал:

— Разве я не говорил вам с Ларром, что отчет комиссии, расследовавшей катастрофу, и личные дневники Сабурова меня пока не интересуют? Я обращусь к ним, когда стану сверять свое мнение с официальными выводами.

— Вот, вот! Пусть все эти документы будут у вас под рукой, когда понадобятся. Кстати, здесь не только доклад комиссии и дневники Сабурова, но и рабочие журналы лаборатории. Без них вы вряд ли восстановите в памяти все детали экспериментов.

Я положил пакет на стол. Было что-то раздражающее в настойчивости, с какой Сомов стремился заранее воздействовать чужими мнениями на мое не сложившееся пока собственное мнение.

— Кажется, вас беспокоит, что мое заключение будет сильно отличаться от того, какое вы хотели бы получить? Он хладнокровно снес мой выпад.

— Почему вам так кажется?

— Ну знаете, Карл-Фридрих!.. Наши с вами отношения никогда не были дружескими. Эдуард острил, что если всюду, где вы говорите «да», поставить «нет», то будет сносно. Но до этого с вами трудно.

— Ширвинд хорошо острил, мне часто нравились его шутки. И отношения с вашей блестящей четверкой могли быть лучшими, чем реально были. Но какую это имеет связь с сегодняшней беседой?

— А ту, — резко сказал я, — что мы всегда были вам нежеланны в институте. И особенно был неприятен я. Разве вы не жаловались на мою бесцеремонную прямоту еще больше, чем на грубость Кондрата? И сомневаюсь, что вам нравились остроты Эдуарда! Уверен, что из всех кандидатур в расследовании трагедии с ротонами моя — самая для вас неприемлемая. Могу представить себе, какой нажим оказал директор на вас, чтобы вы согласились привлечь меня, а не другого.

— Вашу кандидатуру предложил я, а не Ларр, — холодно возразил он. — И могу информировать, что он согласился только под моим нажимом.

Я бы жестоко соварал, если бы сказал, что ожидал такого признания. На какую-то минуту я растерялся. Сомов пристально и спокойно глядел на меня.

— Все-таки, думаю...

Он прервал:

— Будет еще время разобраться во всех «почему» и «отчего». Сейчас вы знаете, что я сам пожелал вашей кандидатуры, и это облегчит мою просьбу к вам.

— Вы сказали — «просьбу»?

— Я сказал — «просьбу». Она такова. Со временем ваши выводы станут известны всем. Но пока они не отлились в окончательную форму, не делитесь своими соображениями ни с кем. Особенно с вашими друзьями Войцехович и Ширвиндом. Они, вы сами понимаете, пристрастны.

Я снова сделал ошибку. В этот первый день расследования мне предстояло непрерывно ступать на тропки, уводящие от истины.

— Я толкую ваши слова, Карл-Фридрих, что посвящать в свои предварительные соображения я должен только Ларра и вас?

— Вы неправильно толкуете мои слова, друг Мартын. Только меня. Академик Ларр относится к тем, кого нельзя знакомить с фактами, не получившими завершенной оценки. И скажу откровенно: я настаивал на вашей кандидатуре не только потому, что вы лучше всех знаете ротонтовую лабораторию, но еще и потому, что с вами надеялся легче, чем с другими, достичь такой договоренности.

— Карл-Фридрих! Что кроется за вашими странными просьбами?

— Только одно. Огюст Ларр — выдающийся энтузиаст чистой науки. Но я опасаюсь, что в вашем расследовании обнаружатся обстоятельства, весьма далекие от специфических научных задач. Зачем подвергать испытанию глубокую мысль и чуткую совесть нашего руководителя?

Нет, решительно в этот день мне суждено было нагромоздить одно заблуждение на другое!

— Это звучит так, словно вы опасаетесь раскрытия каких-то преступных действий, задевающих вас лично!

— Преступных действий? И задевающих меня лично? Уж не подозреваете ли вы, что какие-то мои административные решения вызвали взрыв в лаборатории?

— Во всяком случае, не буду поражен, если обнаружится что-либо похожее. Вы столько мешали нам, столько...

— Ставил вам палки в колеса, так? — Он кивнул на дисплей, там еще сияла моя программа. Я резким нажа-

тием кнопки погасил экран.— Что ж, исследуйте и это, друг Мартын.

— Не премину, — с вызовом отозвался я.

Впервые он улыбнулся. В улыбке было больше печали, чем сарказма. Что-то, а печаль мало соответствовала его характеру.

— Вот видите, вы уже сами готовы признать, что в трагедии могут появиться побочные к науке обстоятельства. Это меня устраивает. Для полноты укажу вам еще одну тему из таких побочных. Имею в виду вашу личную роль в лаборатории.

— Вы, кажется, считаете, что я причастен к взрыву?

— А почему бы и нет? Вы глубже всех разбираетесь в специфике ротонных исследований, вы были близким другом Сабурову... И вы поссорились с ним, да еще так, что и слышать не хотели о ротонах, создали собственную, принципиально иную лабораторию. Сабуров, вы это сегодня сами узнали, не отменил вашего входного шифра, он оставил вам возможность возвращения, но вы возненавидели его лабораторию и его самого. Отсюда один шаг до мщения. Логическая цепь, не правда ли?

Я засмеялся. Мой смех звучал, наверно, невесело.

— И вы верите в правдоподобность этой любопытной цепи?

Он встал.

— Я верю, что вы исследуете и эту логическую цепь и доложите мне первому выводы, к каким придете. У меня нет причин сомневаться в вашей человеческой и научной честности.

Сухо кивнув, он ушел.

5

Многое мог я вообразить, только не то, что меня самого можно заподозрить в причастности к катастрофе. И самым, вероятно, удивительным было, что логика в таком подозрении имела. Наша ссора с Кондратом прямо наводила на такую мысль. Я вдруг понял, каким искаженным может выглядеть мой уход из лаборатории. И я не мог опровергнуть такое искажение. Не объявить же: Кондрат стал переносим, потому я и покинул его. Звучало бы слишком уж по-детски. Я сам в ходатайстве об уходе указал иную причину: охладел к ротонной тематике, хочу поэкспериментировать в другой области. Ларр с Сомовым

понимали, что причина не в охлаждении к ротонам, а в чем-то более важном. Но в чем? Сомов только что объяснил: испугались-де, что эксперименты ведут к катастрофе, и заблаговременно сбежали. И я не могу возмутиться, не могу на оскорбительное подозрение ответить оскорбительной дерзостью, ибо реально не было серьезной причины для моего ухода из лаборатории! Прав, прав сухарь и недоброжелатель Карл-Фридрих Сомов, он точно нащупал большую точку, безошибочно ударил в нее. Он сообразил, что сам я неспособен оценить свои поступки, и предлагает взгляд со стороны — вот эти официальные отчеты, рабочие журналы да в придачу дневники Кондрата, такие же путанные и пристрастные, каким был Кондрат, какими мы оба с ним были.

Я положил в ящик стола принесенный Сомовым пакет.

— Не удалась ваша подсказка, дорогой Карл-Фридрих, — сказал я вслух. — И не удастся! Понимаю, понимаю вашу цель! Представить трагедию если и не в (светлых одеждах, то хотя бы как благородный научный риск. Даже вызовет уважение — ах как опасна их работа на наше общее благо, вот они, герои науки, благоговеть перед ними! Нет, Карл-Фридрих, слишком уж элементарная задумка! Хотите знать правду? Правда в том, что я понятия не имею, какова правда. Но постараюсь узнать. Это единственное, что обещаю. — Я включил дисплей. На экране снова засияла намеченная мной программа. — Итак, встреча четырех на лекции Клода-Евгения Прохазки. Слушаю себя. Что еще скажешь о Прохазке?

Но мне нечего было говорить о Прохазке, кроме того, что существовал такой научный скандалист, невысокий, почти четырехугольный, дико лохматый, крупноносый, толстогубый человечище. И что он приехал в нашу прекрасную Столицу из древнего города Праги и мощнотрубным голосом крушил с университетской трибуны фундаменты космологии. И что мы, четверо юнцов, были покорены и красочным обликом профессора, и громopodobным его голосищем, и яркостью революционных теорий. И что космогоническая теория Прохазки наконец стала общепринятой, а сам он умер вскоре после того, как ему поставили в его родном городе первый памятник.

— Вот и все, что я знаю о великолепном научном буйне, — сказал я вслух экрану. — Что там следующее? Туманные идеи Кондрата? Но ведь если они туманные, что-либо ясного о них не сказать.

Я закрыл глаза и задумался. Закрытые глаза мало помогали мысли, но так лучше вспоминалось прошлое.

...Я шел по университетскому парку. На свободной скамейке сидел Кондрат. Я присел рядом, он недоброжелательно посмотрел на меня. Я решил это перетерпеть. На всякий случай сказал:

— Мы недавно познакомились. Вас зовут Сабуров, верно?

— Кондратий Петрович Сабуров,— ответил он хмуро.— А вы парень этой... Клавдии Войцехович?

— Адели, а не Клавдии. Нет, я сам по себе, а не чей-то. Надеюсь, возражений не будет?

— Ну и оставайтесь сами по себе, мне какое дело,— пробурчал он и отвернулся.

В парке весна преобразовывалась в лето. Время шло к полудню. В вышине торчали неподвижные золотые тучки, и от этого все небо казалось золотым. Вспомнились две строчки древнего поэта: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, Аи». Мне никогда не приходилось видеть черных роз, и я не знаю, что такое Аи — просто лимонад или покрепче, но насчет неба поэт не ошибся, оно сегодня было таким.

— Почему вы молчите? — вдруг с негодованием спросил Кондрат.

— Вы тоже молчите,— огрызнулся я. На возражение умнее я не нашелся.

— Я размышляю.

— Вы считаете, что размышлять свойственно только вам!

— Ничего вы не размышляете! — Он все больше сердился.— У вас пустые глаза. Вы любуетесь небом и цветами, вот что вы делаете! Это даже слепой увидит.

— А вы, естественно, не слепой. Если хотите, чтобы я ушел, скажите прямо. Не буду навязывать своего присутствия.

— Я не гоню, оставайтесь.

— Благодарю за разрешение. Какие еще веления?

В нем совершилась перемена. Потом я привык к скачкам его настроения, но в тот день удивился. Кондрат произнес очень дружески:

— Послушайте, помогите мне. Вы сможете.

— А какого рода помощь?

— Простая. Нужно совершить одно великое открытие.

Оно у меня на языке, но никак не формулируется. Помните вашу Адель?

— В каком смысле надо ее помнить? Я с ней дружу уже несколько лет. Но она, между прочим, не моя, а тоже своя собственная. И очень своя, могу вас уверить.

— Это хорошо. Я хотел бы, чтобы вы вспомнили ее маленькое вычисление. Поразительный результат, не правда ли?

Мне показалось тогда, что я понял нового знакомого. Этот сумрачный верзила с таким переменчивым настроением, видимо, не знает меры в оценках: какую-то — несомненно мелковатую — идею называет великим открытием, да еще уверяет, что совершать великие открытия очень просто. А в примитивном арифметическом подсчете обнаружил поразительные результаты. Я постарался, чтобы моя ирония дошла до него.

— Адель непрерывно что-нибудь вычисляет. Для этого она и носит крохотный компьютер в сумочке. Вычисление — рабочая площадка астронома-теоретика. Разве вы этого не знали?

Он нетерпеливо отмахнулся.

— Знаю, знаю! И что она готовится в теоретики. И что вы тоже... это самое... ядерщик! Я говорю о расчете, что она сделала на лекции Прохазки. Все думаю и думаю о нем.

— И в результате этих дум пришли к великому открытию?

Ирония до Кондрата не дошла. Насмешки его не брали. Он был слишком глубок, чтобы замечать такие мелочи, как издевка или зубоскальство. Человек, лишенный чувства смешного, — вот таким он был. Он сказал с какой-то только ему свойственной задумчивой рассеянностью:

— Любой комочек вещества рождает пространство. И ваша Адель подсчитала, что для удвоения объема потребуется примерно пятьдесят миллиардов лет, в два раза больше, чем возраст нашей Вселенной. Вас это не потрясает?

— Нисколько. Я не уверен в точности вычисления.

— Приблизительно верно, я проверил. Да и какое это имеет значение — один миллиард лет больше, один меньше! Вы не согласны?

Мне было совершенно безразлично, сколько миллиардов лет потребуется для удвоения объема любого предмета, тем более объема космоса. Земное бытие эти фантастические цифры не затрагивали. К тому же я шел в

ядерщики, а не в космологи: проблема была вне моей специальности.

Кондрат вслух размышлял:

— Пятьдесят миллиардов лет на удвоение объема... Но объем мирового космоса с момента Первичного Взрыва увеличился не вдвое, а в миллиарды, в миллиарды миллиардов раз! Ведь из этого следует, что образование пространства ныне идет значительно медленней, чем в момент рождения Вселенной. Вот почему основная материя в мире состоит уже не из света, не из фотонов, а из вещественных частиц — протонов, нейтронов и прочего. Вселенная все тускнеет и тускнеет, разве не так?

— Вы уже высказывали эту идею своему приятелю Эдуарду, — напомнил я. — В этой печальной идее и заключается ваше великое открытие? Я имею в виду непрерывное потускнение Вселенной.

— Почему печальная? Нормальная, а не печальная. Нас не должно огорчать падение дозы света в большом космосе.

— Меня, во всяком случае, не огорчает. На миллиарды лет существования я не рассчитываю. Удовлетворился бы ста годами, а на это время света в мире хватит. Так в чем ваше великое открытие?

Нет, до него решительно не доходила ирония! Он сказал:

— Пока не открытие, только идея открытия. И по-настоящему великого, вы в этом сейчас убедитесь. Слушайте меня и не прерывайте. Терпеть не могу, когда перебивают. Итак, скорость образования пространства непрерывно падает. Но если она способна меняться, то может не только падать, но и убыстряться. Вот если бы наддать ускорения созданию пространства!

— Вам мало простора в сегодняшнем космосе? — все же прервал его я. — Или хотите сотворить новый Большой Взрыв во Вселенной?

Он гневно махнул рукой. Доброе настроение вмиг превратилось в раздражение.

— Не говорите глупостей, Мартын! Ведь вас Мартыном, верно? Зачем мне устраивать вселенские взрывы в космосе? Но небольшой, хорошо контролируемый взрыв пространства в лабораторном масштабе, внутри специального механизма!.. Неужели вас не прельщает такая идея?

— Я ее не понимаю, — сказал я, поскольку тогда и вправду даже отдаленно не постигал, на что Кондрат

замахнулся. Но что слушаю не бред, а нечто заслуживающее внимания, уже соображал.— Зачем вам взрыв пространства внутри небольшого лабораторного механизма?

И его охватило вдохновение. Он не высказывался, а исторгался. Немногословный, быстро раздражающийся от того, что его плохо понимают, а сам он мало способен популяризировать себя, Кондрат в ту нашу встречу был захватывающе красноречив. И он не кончил своей речи, как я был полностью убежден. Больше чем убежден — покорен.

О чем он говорил? Сейчас я не мог бы точно передать его слова. Мне вспоминается озаренное лицо, глубокий, глуховатый голос. Но не сомневаюсь, что он уже тогда говорил о том, чем спустя несколько лет мы стали заниматься вчетвером. Использование энергии, образованной в атомном ядре заново создающимся пространством,— так впоследствии, тяжело и невнятно для непосвященного, он сам назвал свою идею.

— Мартын, какой мы построим механизм для вычерпывания энергии из вакуума! — говорил Кондрат.— Древняя мечта о вечном двигателе покажется мелким пустячком рядом с нашими гигантскими генераторами!

Вот такой он был. Любая идея казалась ему уже осуществленной, раз уж она засела в мозгу. Он был одарен великой способностью открывать, но равноценной способности претворять ему дано не было. Интуитивно понимая это, он отыскивал и создавал помощников и вскоре превращал их в почитателей и преданных научных слуг. Такими были мы трое — Адель, Эдуард и я. Правда, каждый только до поры до времени.

А в тот день, как ни был я сам увлечен, все же постарался вылить ведро холодной воды на его разгоряченную голову.

— Интересно, Кондрат, интересно и значительно. Но ведь это только идея открытия, а не само открытие. И довольно туманная идея, доложу вам.

Он нехотя согласился:

— Да, пожалуй. Добавлю, однако: пока туманная. Когда мы засядем за расчеты? По-моему, сегодняшний вечер вполне пригоден для начала.

— Ни сегодня, ни завтра, — сказал я. — Еще не знаю, гожусь ли для такой работы, если даже найдутся свободные вечера и дни.

Кондрат пропустил возражение мимо ушей. Он умел не слышать того, что ему не нравилось.

— А четвертой будет ваша подруга... Адель. Я правильно называю? Надо бы с ней встретиться. Вы проведете меня к ней?

— В любое время. Вы сказали, Адель — четвертая. А кто третий? Считаю, что первый вы, а второй — я, хотя это не бесспорно.

— Третий — Эдик. Эдуард Ширвинд, вы его знаете. Он, пожалуй, легковесен. Зато хорош в критике неудач. Нам он пригодится.

Даже мысли такой ему не явилось в голову, что кто-то из нас троих откажется идти к нему в помощники!

6

Адель не обрадовалась появлению Кондрата. Она готовилась к экзаменам по небесной механике. Курс был трудный. «Небесный механик» — старичок очень ученый и педант — спрашивал строго, а у Адели была расточительная привычка все экзамены сдавать только на «отлично».

— Друзья, вы выбрали неудачное время. Давайте встретимся через несколько дней.

Я поднялся уходить. У нас с Аделью уже шло к разрыву, только мы оба еще не знали этого, нам казалось, что трудная экзаменационная сессия — единственная помеха к продолжению ежедневных встреч. Но Кондрат остановил меня. Он не мог уйти не высказавшись. Что Адель не способна внимательно слушать, его не смущало. Она должна слушать, раз он того пожелал: идея, какую он выскажет, несравненно важнее всех ее экзаменов — и сегодняшних, и будущих.

И он высказался. Без того вдохновения, каким воздействовал на меня, зато короче. Не думаю, чтобы новизна его идей захватила Адель. Но, в отличие от него, она была хорошо воспитана.

— Очень интересно, Кондрат. Я, конечно, смогу помочь вам как вычислитель. Но только после экзаменов.

Она сказала это так категорично, что Кондрат потускнел. С Аделью он вообще был сдержанней, чем с нами, — первое время, естественно, надолго скудных запасов его тактичности не хватало. Он ушел, а я задержался у Адели. Она со смехом сказала:

— У нашего нового знакомого есть божество, которому он поклоняется. Это божество — он сам. Заботы других ему безразличны.

Я уже немного глубже разобрался в характере Кондрата, чем Адель.

— В нем совершается наука, Ада. Она его единственное божество. И он поклоняется только ей.

— Возможно, Мартын. Но божество его выглядит мрачноватым. Мало радости поклоняться такой требовательной науке. Наверно, поэтому Сабуров сам выглядит хмурым и недовольным. Его товарищ Эдик гораздо приятней. Ты не знаешь, где он обретается?

— Могу специально для тебя разузнать. Кондрат с ним общается.

— Не надо. А теперь уходи. Честное слово, много работы.

Я ушел. Потом была экзаменационная сессия. Адель сдала все экзамены с блеском, я — посредственно. Что выходило за межи специализации, то меня не захватывало, я готовил себя в узкие профессионалы и утешался этим, когда получал тройки. А после экзаменов был праздничный вечер, и на нем сверкнула Адель. Студенты показывали свои артистические умения. Адель пела арии из оперетт. Небольшой голос не очаровывал, но она привлекала внешностью, движениями, просто тем, что красиво стояла на сцене. Ни одной студентке так много не хлопали, как ей. У меня и на другой день болели ладони.

Ко мне пришли Кондрат с Эдуардом. Я не видел Эдика со дня лекции Прохазки, он еще больше пополнел. Эдуард радостно сказал:

— Совершил важное открытие на экзаменах. Духовная пища по эффективности обратно пропорциональна телесной. Чем больше я вгоняю в мозги духовных яств, тем более пустым ощущает себя мой желудок. Вот почему все ученые мужи выглядят истощенными.

— По тебе не скажешь, что истощен.— Мы с Эдиком сразу перешли на «ты». С Кондратом эта операция так быстро не совершалась.

— Ты не уловил сути моего открытия,— важно сказал Эдуард.— Раз наполнение мозгов опустошает желудок, значит, надо нейтрализовать опустошение усиленной порцией еды. Вот почему я полнею от интенсивного интеллектуального труда.

— Пойдемте к Адели,— нетерпеливо сказал Кондрат.— Экзамены кончились, пора приступать к делу.

Адель повстречалась нам около общежития. Она была одета по-дорожному, держала в руках чемоданчик.

— Сегодня начинаем работу, — объявил Кондрат.

— Сегодня я улетаю к родным в Ольштын, — сказала Адель. — И вернусь к осенним лекциям. На меня не рассчитывайте.

У Кондрата стал такой обалделый вид, что я не удержался от смеха. От неожиданности он терялся. Эдуард был человеком иного сорта. Он мигом показал, как преодолевать любые затруднения.

— Отлично! — бодро сказал он. — Сейчас вы докажете нам, Адель, что в вас таится научная знаменитость. Давайте чемоданчик, я понесу его обратно.

Она отвела руку Эдуарда и сухо сказала:

— Разве вы не слышали? Ровно через час я улетаю в Польшу.

— Наука требует жертв, Адель. И масштабы жертв соразмерны величию успеха. В этом году ваши родные обойдутся без вас. А спустя десять лет сами приедут сюда, на лужайку, где мы стоим и будут любоваться тем, что вознесется тогда на этом местечке.

Говоря все это, он широким жестом обводил кругом, а мы поворачивали головы, куда он показывал. Местечко было из захудалых: десяток кустиков сирени, налезавших один на другой, скамейки и чуть подальше — два могучих вяза. Сама лужайка была как лужайка — заросшая травой площадка. В общем, любимый студенческий уголок, днем здесь на травке штудировали записи и прослушивали магнитофонные лекции, а вечерами назначали свидания.

Кондрат опять показал, что соображает туго.

— Эдуард, что может здесь вознестись? Здания не построить, а если насадят деревья, так ведь через десять лет они будут еще маленькие.

Эдуард наслаждался нашим недоумением.

— Друзья мои, наука требует не только жертв, но и воображения. Что до жертв, то все мы готовы их приносить. Адель сегодня покажет нам великолепный пример в этом смысле. Но с воображением у вас слабовато, констатирую это с душевной скорбью. Памятник вознесется на этом месте, вот что произойдет через десять лет.

— Умрет какая-нибудь знаменитость? — поинтересовался я. — Не расшифруешь, кого собираешься умертвить?

— Познай самого себя — так говорили греки. Худо, худо у нас с самопознанием! Памятник воздвигнут нам

четверым — живым, а не мертвым. И, естественно, всемирно знаменитым, — без этого мрамора не дадут. Впереди на постаменте шагает Адель Войцехович, прекрасная, как Афродита, и мудрая, как Афина, — в камне она получится еще красивей и умней, чем в жизни. А за ней компактно мы трое. И надпись — золотые буквы, завитушки и все прочее, — что именно на этом месте, именно в сегодняшний день, именно сразу после экзаменов четверо студентов начали совместное исследование, которое ошеломительно двинуло вперед человечество. Как вы думаете, Адель, понравится ли вашим родителям групповой памятник с вами в заглавной роли? Что до мраморных волос, линий фигуры и складок одежды — все будет по классу «люкс», это гарантирую.

Мы хохотали. Меня потом долго удивляло, что веселая шутка Эдуарда могла так подействовать на Адель.

— Неси назад, Эдик! — Она протянула ему чемоданчик. Я отметил про себя, что Адель без полагающихся в таком деле церемоний сама сказала ему «ты». — Поездка отменяется. Вычислять будем у меня.

Так началась наша совместная работа. И началась с неудачи.

Первый блин вышел комом. Идея Кондрата была слишком туманна, чтобы послужить практическим фундаментом. Это была именно идея, а не теория, даже не гипотеза. Она увлекла нас многими достоинствами — широтой, глубиной, интеллектуальным изяществом, философской гармонией, можно еще подобрать таких красот, — но превратить ее в математический расчет не удавалось. Это стало очевидно, когда Адель застучала длинными, как у пианистки, пальцами по своему калькулятору. Мы знали уравнения Прохазки, по которым не вещественные объекты разбегаются в неподвижном беспредельном пространстве, а само динамическое пространство, непрерывно нарождаясь, еще более разбрасывает эти самые объекты, но из уравнений Прохазки не сумели вывести своих. Ибо он описывал уже существующий пейзаж Вселенной, а мы хотели менять его. Принципиально выразился: «Философы до сих пор только объясняли мир, а задача заключается в том, чтобы мир изменить». Прохазка тоже лишь объяснял реальный мир, а мы пожелали его переконструировать. И не хватило пороха.

Собирались мы всегда у Адели. Кондрат жаловался, что в ее комнатухе нельзя ходить, а без непрерывного

хождения у него и мысли плохо двигаются, лучше бы трудиться в пустом лекционном зале или — при хорошей погоде — в парке. Мы не поддавались на упрашивания. Адель любила работать за столом, пухлый Эдуард чувствовал себя уютно на диванчике, а для меня комнатка Адели была родным местом — столько в ней выпало отрадных минут!

Я закрываю глаза и снова вижу ту узкую комнату: две боковые стены в сиреневых — в полутон — обоях, входная дверь, задернутая портьерой, и окно шире двери. А в окне, в оранжевой брусчатке, как в броне, главная университетская площадь, отделяющая общежитие от учебных корпусов. И в комнатке четверо: Адель за столом, Эдуард на диване, я на стуле возле стола, а Кондрат на любом свободном месте и всегда стоит — это, он объяснял, дает некоторое впечатление ходьбы. Он хмуро молчит, выслушивает нас и сердится, если что не так. Больше всех достается мне, он почему-то придает особое значение каждому моему слову. А я слушаю вполуха и украдкой люблюсь профилем Адели. Я уже упоминал, что она тогда была далеко не той красавицей, какой ныне стала. «Милостивая, и только», — говорили о ней не одни девушки, но и парни. Хотя профиль у нее и тогда был прекрасен — ровная линия высокого лба, с легкой горбинкой нос, губы, похожие на красный цветок, и точно соразмеренный подбородок. В общем, древние скульпторы такие профили вытесывали у своих богинь, говорю о хороших богинях, бывали, кажется, и скверные, для тех Адель моделью бы не послужила.

Хорошо помню, как мы вдруг поняли, что ничего не выйдет из нашей попытки совершить научную революцию. Я сказал «вдруг», потому что ни разу до того мы не задумывались, сколь безмерно малы наши средства по сравнению с целью. Было чудовищное несоответствие между теорией происхождения Вселенной и попыткой применить эту теорию для конструирования нового генератора энергии. Мы так были увлечены своими мечтами — самый точный термин, — что это несоответствие и отдаленно до нас не доходило. А в тот день дошло.

Адель бросила вычислять и с досадой объявила:

— Ничего не получится, пока мы не раскроем главную загадку: почему вообще возникло пространство? И как можно влиять на его образование? У Прохазки об этом ни слова, и у нас не больше.

Кондрат тоже понял, что от космологических теорий не просто перейти к технологическим делам, но не мог отречься от своей идеи.

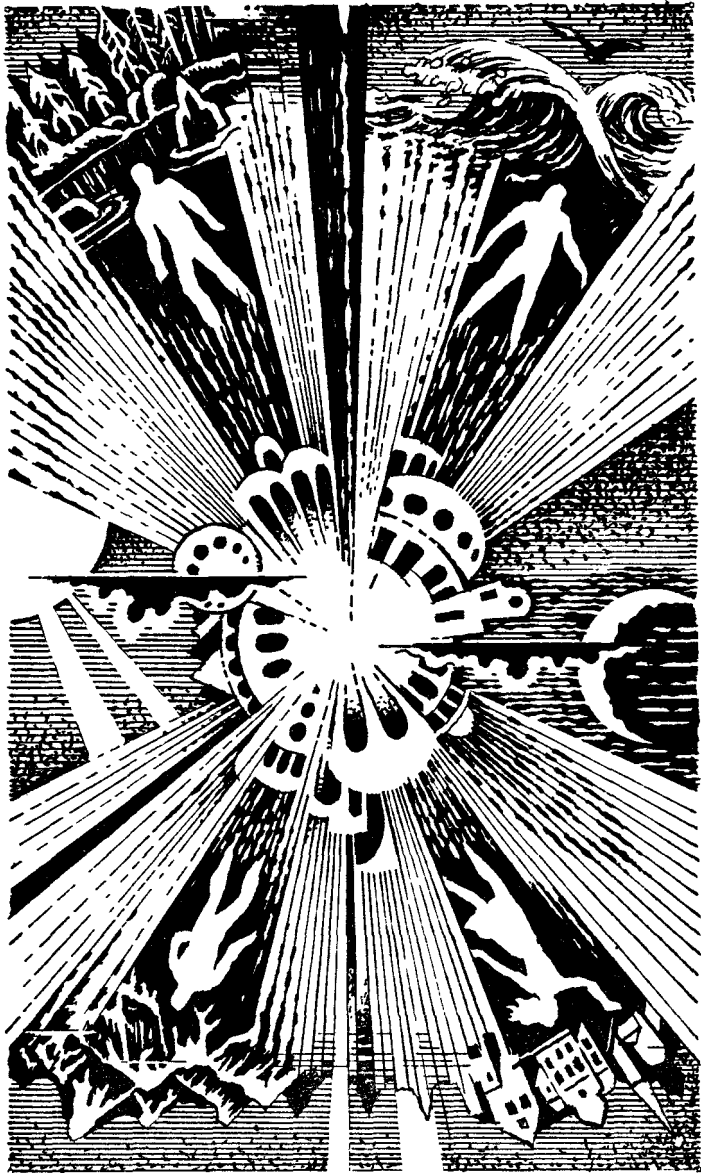
— Кое-какие результаты все же получены. Мы теперь знаем, какую энергию можно получить от того, что пространство новообразуется. И не в масштабах Вселенной, а в ядерных превращениях внутри лабораторного механизма.

Эдуард — он был далеко не такой вычислитель, как Адель, и ему всех раньше надоели бесперспективные расчеты — безжалостно опроверг Кондрата:

— Помнишь пословицу: «Ежели бы да кабы да во рту бы росли бобы, то был бы не рот, а огород»? Точная формула нашего исследования. Кабы скорость образования пространства увеличилась вдвое, то прирост энергии был бы такой-то, а ежели втрое, то другой. Если это называется результатом, то что называть переливанием из пустого в порожнее? Дорогой Кондрат, предлагаю прервать нашу работу. Лето слишком хорошее время, чтобы так бездарно его терять. Завтра отправляюсь в горы. На семитысячники я поднимался, а восьмитысячники не покорял. Считаю это серьезным просчетом.

Мы отложили работу до осени. Адель улетела в Ольштын к родным, Эдуард двинулся в Гималаи, я провел отпуск на Тихом океане. В то лето мне представлялось, что наши совместные изыскания постигла окончательная неудача. Я встретился с Кондратом, и он подтвердил, что потерял надежду на успех. Встреча произошла в Туруханске, многомиллионном городе на Енисее. Нашу ракету, летевшую с тропических островов Тихого океана, задержали в Туруханске по навигационным причинам, и я воспользовался этим, чтобы познакомиться с городом. Уже давно не строят таких исполинов, как Туруханск, он да новый Бийск, оба возведенные в XXI веке, — последние гиганты Сибири. Разрастанию заштатного городка Туруханска способствовало, что он стал административным центром Великой Северной магистрали, связавшей север Норвегии с Камчаткой, а когда железные дороги потеряли свое прежнее значение, еще больший импульс развитию города дало открытие в приенисейских краях уникальных рудных богатств.

Туруханск меня не восхитил. Город как город — небоскребы, широкие проспекты, экзотические парки, вечерние гулянья на Енисее... Только золотые лиственницы, впадавшие в осеннюю дрему, да показанное ночью



местным Управлением Земной Оси красочное полярное сияние впечатляли: ни такого густого золота деревьев, ни такой неистовой светопляски в небе в других городах не встретишь.

В ресторане я увидел Кондрата. Собственно, не я его, а он меня. Я сидел за столом, он подошел, сел, кивнул, ткнул вилкой в закуску, прожевал и хмуро выговорил:

— Здравствуй, Мартын. Ты что здесь делаешь?

— То же, что и ты — ужинаю, — ответил я.

— Ты же на Тихом океане.

— Был.

— Сейчас в Туруханске?

— Сейчас в Туруханске. Тебе не откажешь в наблюдательности.

— Перестань ёрничать! Что за привычка надо всем издеваться?

— Иронизировать, а не издеваться, — поправил я. — И не надо всем. Ты преувеличиваешь.

— Я здесь живу, — сообщил он.

— В Туруханске? Влечет к большим городам? Не ожидал.

— Не влечет, нет. Я здесь учился. А родной дом — на Курейке. Слышал, наверно? Речка небольшая, около тысячи километров, но красота! Мартын, поедем со мной! Еще две недели до учения. Метеорологи обещают у нас небывалую осень — теплынь, тишина. Будем грибы собирать, удить рыбу. Ты знаешь, какая рыба? Нельма, муксун, хариус, попадается и осетр. От одних названий во рту слюна! Не пожалеешь!

Я еще не слышал от Кондрата столь зажигательной речи. Даже когда он излагал свои космогонические идеи, у него так не светились глаза.

— Мы ведь хотели собраться пораньше, чтобы поработать еще над идеей, — напомнил я.

Он вмиг потускнел. У него была своеобразная внешность — черные лохмы прикрывали две трети могучего лба, скуластые щеки, выдвинутые вперед двумя подушками, почти поглощали собой незначительный нос, широкий рот окаймляли слишком тонкие губы, а подбородок вообще не годился для такого массивного лица — слишком маленький, к тому же и округлый. Тонкие чувства — нежность, ласку, тихое удовольствие, вежливое неодобрение — таким невыразительным лицом не изобразить. Да он и не старался их изображать, они были ему не по душе. Уже при первой встрече с Кондратом меня поразили его

глаза. Они легко вспыхивали и погасали, то расширялись так, что становились огромными, то суживались до щелок. Ярко-голубые на темнокожем лице от предков эвенков — и таких прародителей Кондрат отыскал в своей родословной, — в минуты крайних чувств его глаза вдруг меняли свой цвет. Это звучит фантастично, но в воспоминании я вижу со всем ощущением реальности несхоже разных Кондратов — безмятежно голубоглазого и почти черноглазого. И все это его родные краски, не моя придумка.

В туруханском ресторане он поглядел на меня потемневшими глазами и буркнул:

— Ну и езжай, коли не терпится. Собирайтесь втроем, без меня. Без меня вам будет интересней.

— Почему такая опала на нас?

— Не опала, а трезвая оценка ситуации.

— Не потерял ли ты веры в свою идею?

— Не я, а вы. Не было у вас настоящей веры, не появилось и старания. Ты больше заглядывался на Адель, чем размышлял о проблеме. Эдуард про себя прикидывал, как бы отбить ее у тебя. А она только бездумно вычисляла и была довольна, что два таких парня не отрывают от нее глаз. Не хотел говорить, но раз уж к слову... Никогда не прощу тебе!

— Чего именно? Того, что заглядывался на Адель?

— И этого. Напрасно ухмыляешься! Адель все равно тебе не достанется, ты не про нее. И она не годится для тебя.

Я чувствовал, что разговор должен кончиться ссорой. В отличие от Кондрата, я еще пытался сдерживаться.

— Разреши, мой милый, мне самому определять, кто и что мне годится. В твоих советах я не нуждаюсь.

Он распоясался. Впервые я видел его таким сердитым. Впоследствии выпадали сцены и поскандальней.

— Ты слепец! — воскликнул он. — Как можно так себя не понимать? Ты же талант, ты способен на такое!.. Ни от Эдуарда, ни от твоей смазливой Адели настоящей помощи не ждал и не жду. Выполнять указания, приобщаться к идее — это они да! Но ты?.. Сколько великих умов погубил шаблон создавать семью! На глазах тривиально гибнешь! Как это терпеть, я спрашиваю?

— И не терпи, — холодно посоветовал я. — Выходи из себя, рви волосы, проклинай человеческую природу, осуждай тривиальность любви мужчины и женщины. Но делай

это про себя. Я не из тех, к кому безопасно лезть в душу грязными сапогами! Тебе понятно, дорогой Кондрат?

— Грязные сапоги! Вот как ты это понимаешь? Ладно, твое дело. Но когда-нибудь сам об этом заговоришь со мной...

— Не в Курейке ли, куда приглашаешь меня погостить? Слишком короткий срок, чтобы отделаться от шаблона заводить семью.

— Отменяю приглашение! — Он встал. — Нечего тебе делать на такой реке, как Курейка!

Я не пытался его задержать.

В Столице я пошел к Адели, которая вернулась из Ольштына за день до меня. Она очень смеялась, когда я рассказал, как мы хорошо поговорили с Кондратом в Туруханске.

— Все-таки замечательный он человек! И во многом прав.

— Какую же правоту ты заметила в этом замечательном человеке?

Она мотнула головой. Ей очень шло, когда тяжелые, густые волосы закрывали на секунду лицо и потом снова, как приглаженные, ложились на плечи.

— Нет, ты подумай, Мартын! Влюбляться, рожать, забыть о себе ради детей... Неужели человек появляется на свет только ради того, чтобы продолжить цепь кровных родственников? Кондрат отрицает общечеловеческий шаблон ради чего-то высшего в себе. Это не может не покорять!

— Еще никому из великих людей обзаведение семьей не мешало достичь величия, — неосторожно возразил я.

Она лучше меня изучила биографии великих людей науки.

— Ты уверен в этом? А почему оставались холостыми Архимед, Платон, Ньютон, Декарт, Спиноза, Кант, Лейбниц, Руссо, Гоголь... Нужны еще имена?

Я попытался внести в разговор веселую нотку.

— Мало ли что было в древности! Тогда заботы о семье ложились на плечи беднякам таким непосильным грузом, что было не до науки. Но ты меня пугаешь, Адель. Неужели и тебя прельщает отказ от человеческого шаблона — любить, быть любимой, иметь детей?..

Она смеялась.

— Я не великий человек, как он и ты сам, если верить его мнению о тебе. И трудно уклониться от шаблона

влюбленности, когда двое так заглядываются на тебя, — цитирую Кондрата в твоём изложении. Кстати, разве Эдуард мной увлечен? Он больше подшучивает надо мной, чем сыплет комплиментами. На шаблон ухаживания не похоже.

— Между прочим, Адель, хоть Кондрат и провидит во мне что-то великое, ни от одного из хороших человеческих шаблонов не откажусь. И меня устраивает, что и ты от них не отрекаешься. Ты понимаешь меня?

Она стала серьезной.

— Не надо, Мартын. Раньше закончим университет. Наберись терпения.

— Терпение — продукт скоропортящийся, — грустно пошутил я.

Таким был наш разговор после каникул. Я набрался терпения и ждал. Впрочем, и мне вскоре стало не до любви. Предпоследний курс университета всегда самый трудный, а этот для меня оказался трудным особенно. В тот год открыли ротонны, и мне предложили специализироваться в экспериментальной ротонологии. Дело было из тех, что захватывает и душу, и время.

У Адели и Эдуарда тоже хватало своих забот. Кондрат не показывался на люди. За всю ту зиму мы ни разу не встречались.

7

Открытие ротонн сыграло решающую роль в реализации идеи Кондрата. И первый это понял я.

О ротоннах сейчас много говорят: впечатление, будто о них всё знают. Но количество слов, посвященных ротоннам, обратно пропорционально пониманию их природы. Ротонны — одна из великих загадок физики. Ныне меня называют ведущим специалистом по ротоннам, хотя я никого не веду за собой и вся моя специализация исчерпывается признанием, что я мало чего понимаю в этих удивительных частицах. Конечно, я знаю, что ротонны — связующее звено между вакуумом и веществом, что они возникают из вакуума и исчезают в нем и что никакие превращения вещества в энергию без их посредства не происходят. Я могу любые явления, связанные с ротоннами, описать безукоризненными уравнениями, а разработанные — не только мною, но главным образом мною — ротонновые генераторы убедительно доказывают, что нам доступны

практические действия с ними. Но все же — что такое ротоны? На этот такой простой вопрос я не могу найти ни простого, ни сложного ответа.

И я иногда вспоминаю одного остроумного физика первой половины двадцатого века. В те годы открыли волновое уравнение, описывающее взаимодействие микрочастиц. В уравнение входила загадочная функция «пси». И вот этот физик, Яков Френкель, так звали его, шутил: «Мы все умеем делать с функцией пси — логарифмировать и интегрировать ее, вводить и выводить ее из уравнений, установили ее точное соотношение с другими функциями. Мы только одного не знаем о ней — что она, собственно, такое?» Потом узнали, и природа функции пси оказалась удивительной: не частица, не действие, а вероятность того, что с частицей совершится какое-то действие. Возможно, и мы когда-нибудь узнаем, что такое ротоны, но пока известно лишь, что они существуют и что с ними можно производить кое-какие практические операции.

Вскоре после того как я углубился в эксперименты с ротонами, мне стало ясно: они вполне годятся для Кондрата. И тогда я пошел его искать.

Кондрат готовился к экзаменам, а это означало, что ни в аудитории, ни в лаборатории, ни в библиотеке, ни тем более в общежитии его не найти. Я обнаружил его на берегу университетского пруда, он валялся на траве и, как мне показалось, задумчиво поплевывал в небо.

— Здравствуй! — сказал я.

— Постараюсь, — скучно отозвался он. Это тоже относилось к свойствам его характера — в тривиальных выражениях вдруг отыскивать их первоначальный смысл. — Но трудно, Мартын. Математика душит.

— А на что вычислительные машины? — Я уселся рядом с ним. — С компьютерами даже малыши интегрируют дифференциальные уравнения. Почему бы тебе не воспользоваться передовым опытом детских садов?

— Я не Адель, которая без карманного компьютера боится отвечать на вопросы: «Вы голодны?», «Не пойти ли нам прогуляться?». Впрочем, что ожидать от астронома? Максимум их интеллектуальных возможностей — в перерыве между вычислениями фотографировать небо, не замечая, что оно сегодня затянуто тучами.

Кондрат сказал это так, словно и впрямь верил, что все мыслительные способности Адели сосредоточены в пальцах, играющих на клавиатуре компьютера. Когда им ов-

ладевало раздражение — особенно беспричинное, оно всегда бывало самым сильным, — он терял объективную оценку вещей и людей. Я однажды видел, как он в приступе подобного раздражения с такой силой врезал ногой по стулу, что стул взвился птицей и еще в воздухе распался на части. И Кондрат мигом успокоился, как будто единственным, что его выводило из себя, был этот стул, мирно покоившийся на четырех непрочных ножках.

Я весело сказал:

— Между прочим, Адель мыслит не хуже нас с тобой. И еще не раз нам прибегать к ее великолепному дару любую мысль превращать в таблицу знаков и чисел.

Он пробурчал:

— Ладно, пусть мыслит, если умеет. Меня это не касается.

— Очень касается, Кондрат. Нехорошо недооценивать друзей.

— Слушай, к чему эта скучная дидактика? И зачем ты вообще явился ко мне? Я тебя не звал.

— Ошибка на ошибке. Не просто звал, а призывал. Требовал и умолял, чтобы я появился. В душе, конечно, а не на словах. И вот я уступил твоему внутреннему отчаянному зову. Теперь радуйся.

— Иди к черту! — Он уже догадался, что произошло что-то чрезвычайное.

— Не пойду, Кондрат. Черти упразднены. Теперь слушай внимательно. Вскрикивать от восхищения разрешаю!

— Опять ёрничаешь! — Кондрат приподнялся. Слушать лежа он органически не умел.

Вскрикивать от восхищения он не стал, но на одобрительные реплики не поспешил. Я описывал, какие эксперименты с ротонами поставлены в нашей университетской лаборатории. Одно уже очевидно: что бы собой реально ни представляли ротонны, они — тот единственный ключик, который способен раскрыть сокровищницу вакуума. Вакуум — великое хранилище вещества, энергии, самого пространства, самого времени, но вход в это хранилище был наглухо закрыт. А теперь появилась возможность распахнуть таинственные подвалы. Не воспользоваться этим — научный грех.

Кондрат вскочил на ноги, и так стремительно, что мне показалось, будто он хочет куда-то бежать.

— Куда торопишься? — спросил я и тоже поднялся.

— Отыщем Эдуарда и Адель! И немедленно разработаем инженерную модель.

Он уже настолько уверовал в эффективность ротонов, что мысленно видел тот механизм, формулы для которого еще не было изобретено. Я сказал посмеиваясь:

— А зачем нам Адель? Мыслить не умеет. Астроном, а не инженер. Не послать ли ее к черту, как недавно посылал меня?

— Ты же сам сказал, что черти упразднены. Посылать некуда.— И добавил с волнением: — Я всегда верил в тебя, Мартын. Я знал, что ты предназначен для чего-то более высокого, чем зубоскалить и нудно влюбляться в хороших студенток. И когда наша установка заработает, я торжественно всем объявлю, что главный ее творец — ты!

Когда наша установка заработала, он и не подумал особо выделить мою роль в ее конструировании. Он и свою воистину главную роль не выпячивал, это была наша общая работа — что же говорить обо мне!

Но все же мне было приятно, что он так сказал.

8

Путь от расчета к инженерной модели оказался много сложнее, чем представлялось даже мне, а меня Адель и Кондрат быстро отнесли к тому разряду людей, которых именуют бесплодными скептиками. Кондрат негодовал: я, нашедший единственный путь к успеху, меньше их всех верил в успех и своим неверием гасил общее воодушевление. Систематическое сомнение способно родить одни провалы, разве не так? Адель вторила: плодотворна увлеченность, а не скепсис — истина, выстраданная всем человечеством. Она завершила труднейшие вычисления в университетском вычислительном центре, впервые отказавшись от своего карманного компьютера как от слабо-сильного средства, и численные выводы безукоризненно совпали с теоретическими ожиданиями. Но отличное окончание ее труда было началом, а не завершением нашей общей работы. Лишь я умел оперировать с ротонами, а в моей крохотной лаборатории и отдаленно не получалось того, что изображалось математическими уравнениями. Оба они — Адель и Кондрат — подозревали, что я не показываю усердия, если вообще не лишен экспериментального дара.

Эдуард один понял суть моих затруднений, когда сам я уже не знал, как оправдываться.

— Ребята, не душите Мартына, — сказал он. — Конечно, он звезд с неба не хватает и пороха пока что не выдумал, тем более что выдумывать порох давно уже незачем. Но в лаборатории он каждому даст десять очков форы. И если у него не получается, значит, так и должно быть, чтобы не получалось.

Кондрат вздыбился:

— И ты разуверился в нашей работе? А кто горячий всех уверял, что нас ждет неслыханный успех? Какие только не находил слова!

— И сейчас на них не скуплюсь. И в том памятнике, который нам прижизненно воздвигнут, давно зарезервировал себе на постаменте местечко слева, плечом к плечу с тобой. Но одно дело — грядущий памятник, другое — лабораторный стенд. Лаборатория Мартына слишком скудна, чтобы воспроизвести в ней теоретические эффекты.

— Создать новую лабораторию специально для нас?

— Именно, Кондрат!

— Пустые мечты! — сказала Адель. — Ты позабыл, Эдик, что университетские лаборатории оборудуются для учебных курсов, а не для научных потуг студентов. Кто мы такие, чтобы нам создавали новую?

Эдуарда нелегко было сбить с курса.

— Адочка, у меня и мысли нет требовать для нас новой университетской лаборатории.

— Этим сказано все, Эдик!

— Пока ничего. Дальше будет так. «Квод лицет йови, нон лицет бови», простите мое латинское произношение. Впрочем, кто знает сегодня, как римляне говорили две с лишком тысячи лет назад. Смысл: что прилично Юпитеру, то неприлично быку. Или в данном конкретном случае, что неприлично быку...

— Не тяни! — приказал Кондрат.

— Не буду. Короче, предлагаю открыть ротонную лабораторию не в университете, а в лучшем научном центре Столицы, том самом, который вознесся своими прекрасными корпусами на другом берегу нашего паркового пруда.

— Нет, ты с ума сошел! Соображаешь, что говоришь?

— Отлично соображаю! Сейчас вы в этом убедитесь.

Кондрат смотрел в окно. На другом берегу озера высились величественные здания Объединенного института № 18. За десять последних лет ни один выпускник университета не получил назначения в Объединенный ин-

ститут. Раньше нужно было потрудиться на заводах, в других научных учреждениях, опубликовать толковые исследования, удостоиться ученого звания и почетной медали — и лишь тогда Объединенный институт заинтересовывался тобой. Если в университете мы четверо что-то значили (все-таки из лучших студентов), то на том берегу наше научное значение — ноль!

Эдуард опровергал наши возражения и рассеивал наши сомнения. Мол, нужно различать научное значение и научную известность. Научное значение — это реальная ценность уже сделанных работ. А научная известность — лишь доведенное до всех извещение, что ты имеешь это научное значение. Так вот, научное значение мы уже имеем, ибо творцы великого открытия, которое, правда, еще не открыто, но скоро совершится. А научной известности пока никакой, ибо, кроме нас самих, никто не знает, какие мы выдающиеся ребята. Но что трудней приобрести — научное значение, свидетельствующее о твоём таланте, или научную известность, отражающую отношение к тебе других людей?

— Итак, научное значение у нас есть, но известности нет, а в Объединенный институт принимают только известных, — прокомментировала Адель. — Довольно скудная мысль, доложу тебе, Эдуард.

— Зато из скудной мысли воспоследуют богатые выводы!

Выводы были такие: нужно популяризировать себя. Пусть о нас заговорят крупные ученые. То, что в старину называлось рекламой. И начать с оповещения наших профессоров о том, что мы втайне от них разрабатываем. Второй шаг: каждый выбирает для защиты диплома раздел нашей общей темы. И третий: на защиту приглашаем самых знаменитых из знаменитостей Объединенного института.

— Не вижу, как пригласить знаменитостей на студенческую защиту.

— Зато я вижу. И это важней! Вы разрабатываете темы своих дипломных работ. Остальное сделаю я.

Я пошутил:

— В старые времена одна похоронная компания так себя рекламировала: «Господин клиент, ваша основная задача — умереть. Все остальное сделаем мы!» Ты действуешь по рецептам той компании.

— С тем отличием, что буду не хоронить вас, а выводить в большую науку. Называйте свои темы, друзья.

Кондрат взял тему «Общая проблема применения теории Клода-Евгения Прохазки о непрерывном нарастании пространства в космосе к разработке лабораторной модели установки, выводящей энергию вакуума в предметный мир». Мы трое объявили название труднопроизносимым. Но для Кондрата точность была важнее фразеологических удобств.

Мне досталась разработка ротоновых генераторов, Адель взяла себе математическую теорию производства энергии путем использования ротоновых ливней из вакуума. Не могу не отметить, что термин этот — «ротоновые ливни» — является ее личным изобретением. А Эдуард настроился на доказательство, что наше изобретение вызовет такой же переворот в технике, как некогда пар, электричество, ядерные реакторы и солнечные генераторы.

— Будешь научно обосновывать, что надо без отлагательства приступить к сооружению нам четверым прижизненного памятника? — Адель смеялась, но я видел, что тема Эдуарда ей по душе.

Вскоре мы представили наш проект в форме четырех разных работ на одну тему. Уже сама тема поразила университетских профессоров, а еще больше, что в новой научной теме сразу выделено четыре проблемы и каждой посвящено отдельное исследование.

Эдуард не ограничился шумихой в университете.

— Друзья, торжественно информирую: на нашу защиту прибудет сам великий Огюст! — объявил он. — В смысле: академик Огюст Ларр, директор Объединенного института № 18, выдающийся астрофизик, член тридцати академий и сорока научных советов — точное их число не подсчитывал, но если и ошибусь, то в сторону уменьшения.

— Эдуард, ты гений организации! — воскликнула Адель.

— Немножко есть, — скромно согласился он. — Когда я показал академику отзывы наших научных руководителей, он ахнул, такими мы расписаны начинающими гениями.

— И ты тоже? — съехидничал я.

— Я — особенно, друг мой Мартын! И не начинающим, а уже полноценным, в отличие от вас троих... Ибо вы только еще обещаете что-то сделать, а я широкими мазками живописую реальные последствия ваших пока нереальных проектов. Это ли не научный подвиг — воз-

двигнуть гигантское здание на фундаменте, которого еще нет!

Он хохотал. Кондрат после первой радости стал хмуриться.

— Одно мне не нравится, Эдуард: твое хвастовство! Ты, конечно, хорошо подвешенным языком мог, как колоколом...

— Не было! — опроверг Эдуард. — Хорошо подвешенный язык не качался, колокол красноречия не звучал. Было совсем другое. Был сутулый мужчина с длинными ногами и носом размером и конструкцией с боевую секиру предков и был застенчивый юноша, семенящий мелкими шажками рядом с широко шагающим по коридору академиком. И были отзывы, которые робкий юноша совал академику, роняя их от смущения на пол и не мешая академику самому поднимать их. И был трудный возглас академика: «Да если что здесь написано хоть наполовину правда, то вы четверо — гении, друзья мои!» Я из скромности не протестовал против обвинения в гениальности. И тогда он подвел итог нашей встрече: «Непременно приду на защиту и задам несколько вопросов». Вот так было.

— Самое главное — мы замечены! — ликовала Адель.

— Самое главное — неизвестные нам вопросы, которые задаст Ларр, — сказал я. — И возможность оскандальиться на ответах.

— Каждый будет отвечать по своей теме, а общие проблемы возьмет Кондрат, — постановил Эдуард. — В себе и Адели я уверен, Кондрат одним своим хмурым видом покажет такую мыслительную сосредоточенность, что любой ответ примут как откровение. А за тебя, Мартын, побаиваюсь. Ты от обычного человеческого слабоволия, которое почему-то именуешь научной честностью, способен на вопрос: «Уверены ли вы, что дважды два четыре?» — нерешительно промямлить: «Сомнения, конечно, есть, и довольно обоснованные, но с другой стороны...»

— Буду помнить, что дважды два четыре, и не мямлить.

А затем была защита наших работ — четыре исследования четырех разных сторон одной темы. Одним за другим мы выходили на трибуну — первым Кондрат, за ним Адель, потом я, завершал цепочку Эдуард. И хорошо завершил, говорил он лучше нас всех.

В зале сидели гости — Огюст Ларр, знакомый каждому по его портретам, и рядом с ним большеголовый, широ-

колицый блондин. На него я сразу обратил внимание, даже красочный Ларр так не заинтересовал меня, как этот невыразительный человек, — несомненное предчувствие будущих стычек с ним. Я спросил Эдуарда:

— Ты все знаешь, Эдик. Кто это рядом с Ларром?

— Рыжий? Серый кардинал Объединенного института.

— Кардинал? Разве имеются такие должности в научном штате? И почему серый? Он, скорее, желтый.

— Надо лучше изучать историю, дружище. Серый кардинал — прозвище духовника Ришелье, втихаря подказывавшего своему владыке многие решения. В общем, тайная сила. Та самая левая рука, о действиях которой ничего не знает правая. У Ларра он духовник. В смысле — главный заместитель по второстепенным делам. Понятно?

— Не очень. Но пока хватит.

Директор Объединенного института № 18 обещал задать несколько вопросов. Он задал один и адресовал его мне. Уверен ли я, что генератор ротоновых ливней будет работать надежно. Я ответил, что, пока генератор не сконструирован, остается доверять теоретическому расчету. Ларру понравился мой неопределенный ответ.

После защиты Ларр подозвал нас четверых.

— Поздравляю, юные друзья! И тема многообещающая, и разработка солидная. Мы с моим другом Карлом-Фридрихом Сомовым, — он кивнул на желтоволосого соседа, — хотели бы видеть вас в коллективе нашего института. Возражения будут?

— Ни в коем случае! — заверил Эдуард. — Трудиться в вашем институте — предел мечтаний для начинающего ученого.

— Я тоже так считаю. Вам надо подумать, в какой лаборатории вы собираетесь трудиться.

— В собственной, — твердо заявил Кондрат. — В Лаборатории ротоновой энергии.

Ни о собственной лаборатории, ни о ее названии мы между собой не говорили, это была отсебятина Кондрата. Ларр, вероятно, удивился не меньше, чем мы трое, но не стер улыбки.

— Как думаете, Карл-Фридрих, — сказал он Сомову, — найдется ли у нас особая лаборатория для четырех юных талантов? Название ей уже дано, так что остается немного — выделить помещение, заказать оборудование, разработать программу экспериментов, утвердить штат...

— Посмотреть можно,— неопределенно ответил Сомов.

— Завтра ждем вас,— сказал Ларр.— Поскольку научная программа у вас, кажется, разработана на несколько лет, принесите и ее.

Дома мы набросились на Кондрата.

— Нет, ты сошел с ума! — негодовала Адель.— Представить завтра программу! Да нам месяца не хватит. Все, что ты Ларру наговорил,— несерьезно.

— Не все, но многое,— поправил Эдуард.— Что Кондрат выпросил нам лабораторию — успех. Но успех может превратиться в провал, ибо без обоснованной программы...

— Программа есть,— сказал Кондрат.— Я ее уже составил.

— Уже составил? Где же она?

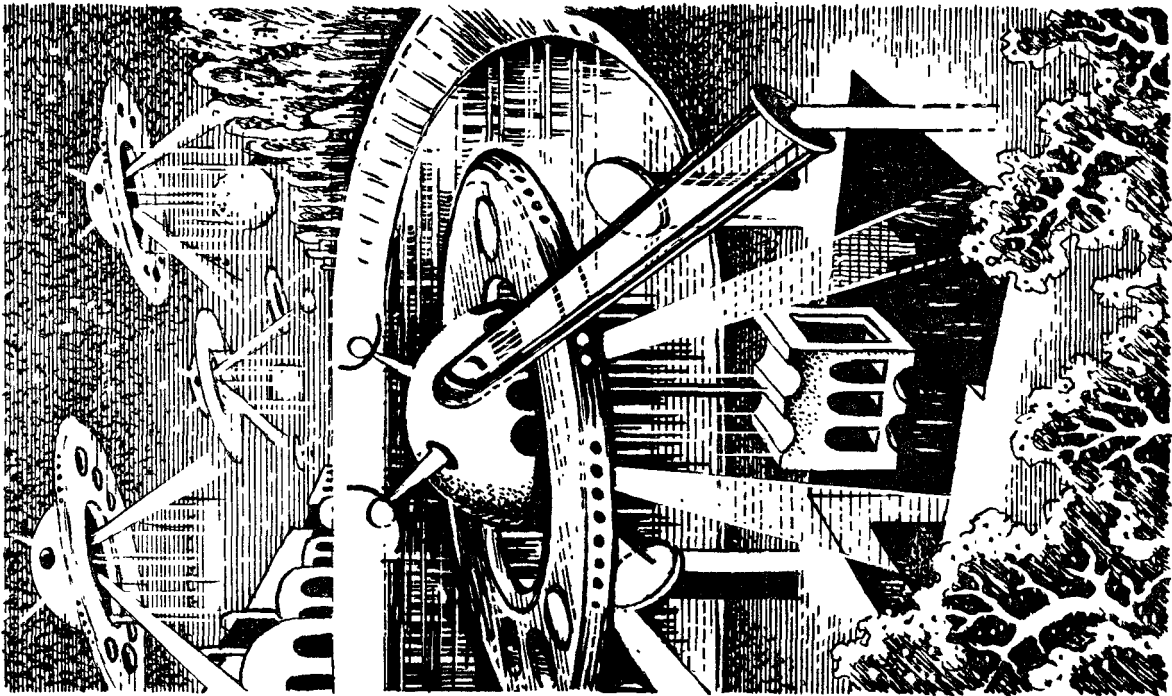
— Здесь! — Кондрат хлопнул себя по лбу.

9

Я устал размышлять. Сидеть в кресле и вспоминать прошлое — тоже работа. И утомительная работа. Проще действовать у стенда руками, чем перекачивать мысли, как валуны. Я снял оба датчика мыслеграфа, закрепленные за ушами. Все, что я думал и что разворачивалось в мозгу живыми картинками, зафиксировано на пленку. Если захочу, она заговорит моим голосом, покажет, что видели мои глаза в прошлом и сегодня. Интересно, заметил ли Сомов, что я слушаю его, навесив датчики? Вряд ли! Хотя волосы у меня не так длинные и не так кудрявы, как у Эдуарда, но уши они прикрывают. Я засмеялся. Карл-Фридрих Сомов дьявольски умен. Он мог и не заметить двух крохотных датчиков за ушами, но он не мог не знать, что я ими непременно воспользуюсь. Программу воспоминаний на экране дисплея он заметил сразу. И что любые мои мысли и слова будут фиксироваться, он знал заранее. Значит, и сам говорил не только для меня, но и на запись.

— Тем лучше,— сказал я вслух и встал. Раньше, работая здесь, я часто забывал и об обеде, и об ужине. Сегодня забывать о еде резона не было.

Мне захотелось перед уходом еще раз заглянуть в комнату Кондрата. Бывая тут, он чаще садился на диван, а не за стол. Я поглядел на научный иконостас над столом: четыре гения, четыре лика — Ньютон, Эйнштейн, Нгоро и Прохазка,— и сел на диван.



Теперь с противоположной стены в меня вглядывались два физика — Фредерик Жолио и Энрико Ферми. И я вспомнил, что великая четверка была над столом с первого дня лаборатории, а эти двое появились незадолго до ухода Адели и Эдуарда. Эдуард тогда удивился:

— Зачем еще два портрета, Кондрат? К нашей тематике их работы отношения не имеют.

— Для Мартына, — буркнул Кондрат. — Чтобы не забывал, что ядерщик, как они.

— Если для Мартына, то повесь их в его кабинете, а не у себя.

Переносить ко мне портреты старых ядерщиков Кондрат не захотел. И часто всматривался с дивана в оба портрета, что-то выискивал в тонких, одухотворенных лицах. Я как-то тоже поинтересовался, чем они так привлекают его.

— Великие ученые, разве ты не знаешь?

— Знаю. Но Эдик прав: портреты Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна, Доменико Нгоро и Клода-Евгения Прохазки больше отвечают тематике нашей лаборатории. Будем поклоняться тем, кто нам ближе.

— Что называть поклонением? У этих двоих судьба сложилась по-иному, чем у Ньютона, Эйнштейна и Нгоро. Те просто творили, шли от одной великой теории к другой. И Прохазка таков же. А эти отрелись от собственных великих достижений. Научная трагедия двух гениев, разве не интересно? Тема для литературного произведения.

Никогда до этого я не замечал, чтобы Кондрата интересовала литература, живописующая личные драмы. Биографии великих ученых занимали его гораздо меньше, чем их научные труды.

Больше мы не разговаривали о двух старых физиках. Было не до них...

Я вышел из кабинета Кондрата и направился домой.

Утром я пришел в свой бывший кабинет, как на службу. Опять прикрепил к ушам датчики мыслеграфа и принялся восстанавливать в памяти прошлое.

Итак, мы четверо стали сотрудниками знаменитого института. И не просто сотрудниками, а работниками собственной лаборатории. Однако оказалось, что в этом есть свои неудобства. Лаборатория существовала лишь на бумаге. Помещения не было: все свободные комнаты давно освоили другие лаборатории и мастерские.

— Как вы отнесетесь к тому, что институт построит

для вас специальный корпус? — спросил Карл-Фридрих Сомов.

Мы отнеслись хорошо — и совершили ошибку. Даже Кондрат, горячий всех настаивавший на самостоятельности, вскоре понял наш просчет. Если бы мы отвоевали себе комнатуху, кого-либо потеснив, работа началась бы неотлагательно. Но нам сперва проектировали, потом строили, потом монтировали отдельный корпус. А пока лаборатория создавалась, мы истомились в безделье. Адель проверяла многократно проделанные вычисления, Эдуард внедрялся во все отделения института и всюду предсказывал, что на нас четверых вскоре будут с почтением оглядываться прославленные научные старцы.

— И ведь верят! — со смехом говорил он. — Считаю, что теперь мы просто не имеем права быть меньше, чем научными титанами.

— Болтун! — сердился Кондрат.

— Не болтун, а популяризатор. Нечто гораздо более почетное.

Строительство и монтаж лаборатории друзья поручили мне. Но я провалился. Каждый день приходил к Сомову, каждый день на что-то жаловался и чего-то требовал. Он обещал ускорить работы — ничего не ускорялось.

Адель первая поняла, что Карл-Фридрих Сомов наш недоброжелатель.

— Он почему-то не терпит нас, но старается не показать этого, — заявила она. — Я читала в одной старой книге, что был такой термин: «тянуть резину». Вот он и тянет резину, хотя я сама не очень понимаю, что это за штука — резина, которую нужно тянуть.

— Которую не надо тянуть! — поправил Эдуард. — Резина — древний строительный материал, ныне не употребляется. Для чего ее тянули, сейчас не установить. Но хорошего в этом не было, это точно.

— Разберись! — приказал мне Кондрат. — Не что такое резина, а для чего ее тянет Сомов. Выясни его истинное отношение к нам.

Но как я мог выяснить истинное отношение Сомова, если он скрывал его за маской вежливости. На невыразительном лице ничего не открывалось, а в душу залезть я не мог. Кондрат пошел вместе со мной к Сомову.

— Я его раскрою, Мартын! Сцена будет впечатляющая.

Сцена, разыгранная Кондратом, мало походила на деловое объяснение. Кондрат обвинил Сомова, что тот на-

меренно мешает нашим исследованиям, потому что не верит в их значение. И Сомов немного приоткрылся. В глубоко посаженных тусклых глазах замерцало что-то живое.

— Вот как — не верю в значение ваших работ? — В голосе, который Кондрат называл «желтым», послышалась ирония. — А почему должен верить? Потому, что вам этого хочется? Основание недостаточное. Покажите результаты, и посмотрим, каковы они.

— Чтобы были результаты, нужно, чтобы мы начали работать, а вы этому не способствуете! Вы словно опасаетесь чего-то плохого. Вот ваше отношение к нам.

Он высокомерно усмехнулся. Улыбка редко появлялась на его лице, а такая — особенно.

— Если бы я опасался чего-то плохого, я вообще не разрешил бы вашей лаборатории. Но известные сомнения у меня имеются. Наш директор горячо увлечен вами, у меня такого увлечения нет. Очень надеюсь, что в дальнейшем вы опровергнете все мои сомнения.

Этот разговор имел два результата: строительство лаборатории ускорилось и Кондрат возненавидел Сомова. Ненависть была столь острой, что представлялась почти беспричинной. Кондрат выходил из себя при одном упоминании о Сомове. И чтобы не порождать вспышек, мы трое сговорились при Кондрате помалкивать о первом заместителе директора института.

Затем произошли два важных события: стала функционировать наша лаборатория и развалилась наша творческая группа.

Адель объявила, что выходит замуж за Кондрата.

10

Лишь впоследствии я понял, что только для меня было неожиданным решение Адели и Кондрата соединиться. Я слишком ушел в конструирование и наладку ротонового генератора и проглядел, что совершается с тремя друзьями. Конечно, я знал, что Кондрат нравится Адели, она этого не скрывала. Но ведь и я ей когда-то нравился. И Эдуард ей нравился. У меня иногда появлялась мысль, что она выберет Эдуарда. Я говорю «она», а не «он», подразумевая под «он» меня, Эдуарда, Кондрата, ибо все мы могли лишь подчиниться или не подчиниться, решала

она одна. И ни мгновения не сомневалась: кого выберет, тот и будет.

Было сумрачное осеннее утро, был тяжкий день, шел монтаж оборудования, и уже не помню, светило ли в тот день солнце, лил ли дождь, шастал ли по деревьям сухой ветер. И был вечер, когда мы наконец распрямили спины и подумали об отдыхе. Мы, трое мужчин, сидели на диване у Кондрата, а Адель раздала нам бутерброды и бутылочки с апельсиновым соком. Потом она подвинула к дивану стул, села перед нами и сказала:

— Ребята, имею сообщение. Мы с Кондратом поженемся.

Хорошо помню, что сразу обернулся к Кондрату. Он побагровел, низко опустил голову, дышал прерывисто — так волновался. Она улыбалась. У нее была — да и теперь бывает — удивительная улыбка, та самая, какую предки называли пленительной. Эдуард пробурчал:

— Поздравляю обоих!

Адель поглядела на меня. Из миловидной она вдруг стала красавицей. От нее трудно было оторвать взгляд.

— Почему ты молчишь, Мартын? У тебя есть возражения?

Я наконец обрел голос:

— Какие могут быть возражения? Я рад за тебя и Кондрата.

Эдуард попробовал благопристойно пошутить:

— Очень жаль, конечно, что ты выбрала не меня, Адочка. Но против рожна не попрешь. В смысле: насильно мил не будешь. Такова печальная истина, установленная тысячелетними изысканиями человечества. Мы с Мартыном примиряемся с нашей горькой участью. В смысле: счастливы вашим счастьем! Какие нести подарки на свадьбу?

— Только один: хорошее настроение.

— Хорошее настроение обеспечим. За вас, молодожены!

И мы чокнулись бутылочками с апельсиновым соком.

В эту ночь я дежурил. Адель и Кондрат ушли, Эдуард остался мне помогать. Мы работали и говорили всю ночь. Эдуард не скрывал, что подавлен. Он признался, что влюблен в Адель со встречи на лекции Прохазки. Я сказал, что он умело камуфлировал свое чувство дружескими шуточками. Неужели так и не открылся ей?

— Что было открывать? Тебе и Кондрату, чтоб по-

няли, нужно подробно растолковать, желательно с приложением формул и чертежей. А она чужие чувства ощущает без слов. Всем существом резонирует на них.

— На твою любовь не прорезонировала, Эдуард.

— На твою тоже. И что до тебя — правильно поступила.

— Почему такая дискриминация моих чувств?

— Не дискриминация — понимание. Не сердись, я от души. Ты ведь кто? Фанатик науки, вот твоя натура. Куда больший фанатик, чем сам Кондрат. Адель с тобой не могла быть счастливой, ибо чувствовала бы себя как бы при тебе. Придаток к научным исследованиям, красочная деталь в семейном пейзаже, который сам по себе второстепенен... Нет, такая судьба не для нее.

— С тобой у нее была бы иная судьба?

— Можешь не сомневаться! Видишь ли, Мартын, мы с Адой вовсе не гении, хоть и пыжимся. Новую главу в науке не обозначат ни ее, ни моим именем. Мы всегда будем при вас — при Кондрате и при тебе. Это не значит, что я уже объявляю вас научными исполинами. Но вы можете, если повезет, вырасти в исполинов, мы — нет. Улавливаешь разницу? Вот почему для меня Адель совсем иное, чем для вас.

— Короче, ты в нее по-настоящему влюблен!

— Настоящее, не настоящее! Какая еще может быть любовь, кроме настоящей?

— Тогда объясни все-таки, почему она не отрезонировала благожелательно на твое чувство, которое сулит ей счастливую судьбу? Почему вдруг покорила желанию Кондрата взять ее в жены? Сам же говоришь, что он не будет ей хорошим мужем, и она не может этого не чувствовать.

— Мартын, знаешь главную страсть Адели? Она честолюбива — вот доминанта ее характера.

— Все мы честолюбивы.

— По-иному. Для тебя и Кондрата слава — признание важности ваших работ, признание их научного значения. Вы гордитесь ими, а не собой. А для нее слава — признание ее собственного значения. Результаты, принесшие ей славу, не просто открыты ею, а она сама раскрыта в них, они лишь ее иновыражение. Тебе понятен этот философский термин — «иновыражение»?

— Я плохой философ. С этим ничего не поделаешь. Значит, она сошлась с Кондратом ради будущей славы?

Но слава, если будет, равно осенит нас всех. И раз так, то Адели должна быть дороже близость с тобой, ибо ты сильней любишь ее.

— Не всех одинаково осеняет слава. Больше всех ее достойны вы с Кондратом. Я считаю, что ты крупней, чем Кондрат, но она уверена в обратном.

— И я уверен в обратном. Это не мешает мне спокойно спать, когда есть возможность выспаться. Эдуард, а тебе не приходило в голову, что Адель попросту влюбилась в него? С людьми иногда это бывает — влюбляются. Вот и она влюбилась в Кондрата. С нами дружит, а его полюбила.

Эдуард покачал головой.

— Если бы так! С ее любовью к другому человеку, особенно к Кондрату, я бы примирился. Во всех нас угнездилось уважение к любви без разума и расчета. В старину говорили: «Любовь зла — полюбишь и козла». В необоснованности любви угадывали ее силу, это не могло не трогать. Но нет любви! Аделью командует честолюбие, а не страсть.

Мы помолчали. Я проверял монтажную схему роторного генератора, Эдуард отмечал силу импульсов при включении. Потом он сказал:

— Только для тебя, Мартын... Раз уж исповедуюсь...

— Валяй! Дальше меня твоя исповедь не уйдет.

— Адель, конечно, будет изображать семейное счастье. Видеть это, боюсь, выше моих сил.

— Устроишь сцены ревности? Поссоришься с Кондратом?

— Хорошо бы,— сказал он с сожалением.— На кулачках либо на шпагах! В старину бытовали неплохие способы эффективно решать личные проблемы. Да не модно ныне! Нет, я выбрал другой путь. И в буквальном смысле путь — улечу с Земли!

— Ты рехнулся, Эдуард! Уйти перед успехом? Когда каждый так нужен в общем деле!

— До успеха не скоро. И во время монтажа и пуска я менее всех нужен. Мне отведено Кондратом и тобой внедрение результатов, а не эксперименты. Катастрофы не будет, если я на год откомандируюсь на другую планету. Год — срок достаточный для излечения больной души.

— Особенно если болезнь не смертельная.

Он засмеялся.

— Друг мой Мартын, тыразишь безошибочно. Само-

убийства от любви — давно пройденный этап человеческой истории.

— Куда же ты «откомандировываешься»?

— В планетную систему Цереры. В смысле — на Гарпию.

Я уставился на него. Среди новооткрытых планет не было страшнее Гарпии. И грозное ее название отвечало обстановке: на ней обитали существа, похожие на мифических гарпий.

— Там же война!

Эдуард пожал плечами.

— Ну и что? Если война, повоюю!

— Но там погибают наши астронавты! Такого страшилища, как Гарпия, надо избегать:

Он не преминул поострить:

— Люди обычно погибают в постелях, Мартын. Но я еще не встречал человека, который на этом основании избегал бы постели.

Мы посмеялись, потом я сказал:

— Когда собираешься улететь?

— После их свадьбы. Не сразу, чтобы они не связали с ней мой отъезд. Буду аргументировать, что временно мое присутствие не обязательно, поэтому хочу поразмять мускулы и поднакопить житейского опыта. Крепко надеюсь, что ты меня, во-первых, не выдашь, а во-вторых, поддержишь просьбу.

Я пообещал:

— Во-первых, не выдам, во-вторых, поддержу.

11

Вот так стала разваливаться наша группа.

Еще месяца два Эдуард исправно трудился в лаборатории, не говоря ни Кондрату, ни Адели, что надумал уходить. Только я угадывал скрытый смысл иных его поступков: он слишком громко требовал, чтобы ему выдали конкретное задание, возмущался, что всех меньше загружен и что это ему не нравится. Не знаю, как Адель, а Кондрат видел в таких требованиях лишь усердие и выдумывал Эдуарду работу.

Как-то я показал Эдуарду пусковой график ротонового генератора.

— Кондрат еще не видел? — быстро спросил он.

— Пока не видел. Улавливаешь ситуацию?

— Все ясно! Пуск через неделю — тогда у всех загрузка по горло. Короче: сейчас или никогда!

— Сейчас или никогда. Но советовал бы передумать.

— Об этом не может быть и речи, Мартын!

В тот же день Эдуард объявил, что ему предложили рейс на Гарпии сроком на год и он согласился. В лаборатории этот год будет налагодным. В общем, легко обойдемся без него. А на Гарпии небольшой коллектив наших астронавтов отражает натиск местных чудовищ. Люди требуют срочной помощи. Спасательную экспедицию возглавляет знаменитый Семен Мияко, проделавший четырнадцать дальних рейсов — столько еще никто не налетал среди звезд.

Эдуарду поручено разобраться в обстановке и дать рекомендации по освоению планеты.

Если Эдуард надеялся обмануть Кондрата и Адель, то сомневаюсь, чтобы в отношении Адели это удалось. Она побледнела, ее глаза впелись в Эдуарда. И сказала она то, что и я говорил ему:

— Эдик, там война!

— Типичная картина дикости, Адочка. И на Земле когда-то бывали такие войны. Битвы двух популяций гарпов со сладостным поеданием побежденных. Не то гражданская война, не то охота за кормом.

— Но ведь они едят и людей, Эдик.

— А почему бы им и не есть людей? Ты видела изображения гарпов? Человек даже по внешнему виду вкусней. Тем не менее задача не попасть чудовищам в зубы не относится к безнадежным. Спустя год я ворочусь живым, здоровым, лишь похудею, но это меня скорей обрадует, чем испугает.

— Не шути, Эдик. Если астронавты просят срочной помощи, значит, им грозит реальная перспектива стать пищей для бестий.

Он понял, что надо отвечать серьезней:

— Есть одно затруднение, Адель, и именно поиски выхода из него и составят мою задачу. Ты знаешь, что астронавтам запрещено использовать убийственное оружие? Они являются в иные миры с миссией мира, так это формулируется. Все древние пушки, автоматы, пистолеты, бомбы простые и ядерные, смертоносные лучи и газы — все они объявлены вне закона и строго запрещены. Вот почему астронавты и просят помощи — на них лезут с жадно распахнутыми ртами, а они не могут ответить ни пулей, ни бомбой. Есть еще вопросы?

— Есть,— сказал Кондрат.— Мы еще не согласились на твой отъезд.

— Думаю, у Мартына возражений не будет. Я не ошибся?

— Не будет. Ты не ошибся.

— А у меня будут,— сердито сказал Кондрат.— Ты астрофизик, а не астросоциолог. Почему же тебя приглашают решать социологические проблемы? Мне непонятна цель твоей командировки.

Эдуард знал, что именно такой вопрос и задаст Кондрат.

— Я не объяснил вам важного обстоятельства. Дело в том, что дикие обитатели Гарпии не только лезут на людей с раскрытыми пастями, но и обстреливают их генерируемыми импульсами.

— Дикари овладели такой техникой?

— Они не производят генераторов, Кондрат. Они сами являются генераторами. Гарпы — живые, разумные или полуразумные — орудия. Они убивают своим естеством, а не с помощью механизмов. Вот так.

Кондрат был порядком озадачен. Я тоже впервые слышал о странной природе гарпов.

— Вижу, вы ошарашены,— спокойно продолжал Эдуард.— Я сам онемел, когда мне продемонстрировали последние данные. О них еще не оповещали, изучение не закончено. И заканчивать его буду я. Как видишь, Кондрат, тема для астрофизика, а не для астросоциолога. Нужно выяснить, как работает боевой организм гарпов. Это бросит свет и на их внутренние распри, и на их свирепую ненависть к людям, и на еще не известные нам возможности творения мощных силовых полей. Понимаешь теперь, что ни как человек, ни как физик я не мог отказаться от командировки на Гарпию?

Кондрат посмотрел на меня, я развел руками. Адель молчала.

Эдуард улетел на базу звездолетов, разместившихся на Марсе, уже на другой день.

Вскоре после его отлета я показал Кондрату график пусковых испытаний роторного генератора. Что разразится скандал, я догадывался, только не ожидал, что Кондрат так разъярится. Он чуть не набросился на меня с кулаками. К счастью, Адели не было, при ней я не смог бы вытерпеть такую сцену.

— Да понимаешь ли сам, что сделал? — орал Кондрат.

— Понимаю. Составил пусковой график и прошу тебя его утвердить, а потом понесем его нашему общему другу Карлу-Фридриху.

— Врагу, а не другу! — Ирония и в обычные минуты до него доходила плохо, а впадая в неистовство, он совершенно ее не ощущал. — Возможно, впрочем, что он твой друг. Ты это скрывал, но сейчас я тебя разоблачил!

— Выбирай выражения, Кондрат, — посоветовал я.

— Нет, это же черт знает что! — бушевал он. — Я ведь думал, что до испытаний месяца два, ты так ловко уклонялся назвать точную дату. А дата — завтра! И мы отпустили Эдика! Да знай я, как близки испытания машины, разве он выпросил бы моего согласия на отъезд?

— Обойдемся. Мы с тобой тоже чего-то стоим.

— Я настаиваю на честном ответе! Ты знал, как близок пуск, и намеренно молчал, чтобы я не задержал Эдика. Зачем ты это сделал, можешь сказать?

— Могу Кондрат. Это же так естественно. Чтобы помешать успеху наших экспериментов, навредить самому себе. Другого объяснения ты, кажется, не примешь.

Он уже не кричал, а шипел:

— Ладно, издевайся! Насмешки твои — камуфляж, я давно заметил.

— Выбирай выражения, Кондрат, — кротко повторил я. Мной тоже овладела ярость.

— Мартын, дело не в выражениях! Я понял твою суть!

— Что же ты понял, скажи на милость?

— Никакой милости! Ты сознательно усложнил нашу работу. Я не верил Адели, теперь верю. Боишься, что вся слава достанется мне, и теряешь охоту работать со мной. Успокойся, все, что заслужишь, то и получишь сполна.

Я вплотную подошел к нему. Он замолчал и отодвинулся.

— Дурак ты, Кондрат! — сказал я. — И твоя Адель не блещет пронизательностью. Теперь я ухожу к себе. И пока ты не воротишься в сознание, не смей заходить ко мне. Слышишь, Кондрат? Пока не обретешь ясность мысли, открывать мою дверь запрещаю!

Ссора с Кондратом потрясла меня. Небольшие стычки уже бывали, Кондрат слишком горячо воспринимал всякую неполадку, а мы все же строили еще невиданную

установку, такие дела без неполадок не обходятся. И после одной рабочей стычки мы договорились: каждый ведет свое дело особо, лишь информируя других о результатах. Конечно, выпадали и общие дела, пусковые испытания роторного генератора как раз относились к таким, но их было немного. Разделение функций в какой-то момент стало необходимо для сохранения в лаборатории согласия. Моя совесть не испытывала угрызений. Я не показывал пусковой график генератора, ибо имел право не оглашать незавершенную программу. Что мое умолчание совпало с отъездом Эдуарда, было случайностью, а не сговором: он заторопился, узнав о графике, но сам я не наталкивал его на отъезд.

Зато не случайной была вспышка Кондрата. Раздражение в нем накапливалось исподволь, он лишь выплеснул его, получив повод. И я сидел в своем кабинете и думал о том, что никогда у нас с Кондратом не было тесной дружбы, а сейчас немисливо восстановить и прежние прохладные связи. Он оскорблял меня, зная, что оскорбляет. Остынув, он извинится, но можно ли принять извинения? Извинения — слово, оскорбление — дело. Не лучше ли уйти из лаборатории, пока взаимное раздражение не превратится в ненависть?

Дверь отворилась, и вошла Адель.

— Не ждал? — спросила она и встала у окна. Сидя, она не так смотрелась и редко об этом забывала. Демонстрация красивой фигуры являлась у нее одним из аргументов в спорах. Красота имеет свои привилегии, и часто не меньшие, чем логика рассуждений.

— Не ждал. Ты пришла мирить нас?

— Для чего же еще?

— Для примирения должен прийти сам Кондрат, а не ты.

— Он и придет, когда ты успокоишься. Ты ведь запретил ему открывать твою дверь. На меня запрещение не распространялось. Вот я и пришла.

— Адель, это чепуха какая-то. Успокоиться нужно ему, а не мне.

— Вам обоим, так точней.

— Считай, что я уже успокоился. Что теперь?

— Теперь я вызову его, и вы пожмете друг другу руки.

Она сделала шаг к столу. Я остановил ее. Она медленно воспользовалась этим.

— Вот видишь, ты еще не готов к примирению.

— Не готов, — с горечью признался я. — Слишком уж тяжело он обидел меня. Собственно, не он один, ты тоже. Кондрат рассказал, как ты толкуешь наши отношения. Повторить?

— Не надо. Он подробно описал вашу стычку. И я пришла к тебе, чтобы ты судил обо мне не только с его слов.

— Ты думаешь, это лучше? Такое чудовищное обвинение — в зависти и намеренной задержке работы.

— Давай расчленим эти два пункта, Мартын. Первое относится ко мне, другое — выводы одного Кондрата. Итак, зависть. Тебе не понравилось, что я так сказала?

— По-твоему, это может понравиться?

— А тебе нужно, чтобы все только нравилось? Ты слишком много требуешь от жизни. В ней не все может нас улаживать.

Я начал терять терпение. Мне было не до абстрактных рассуждений.

— Адель, пойми меня...

— Я тебя понимаю, Это ты не хочешь меня понять! Да, я говорила о зависти. Но как? Ты разве забыл, что тон делает музыку? Тона Кондрат не передал. Мартын, ты не знаешь Кондрата. Он кажется твердым, решительным, целеустремленным, нетерпимым до грубости, до неуважения друзей. Какое заблуждение! Он совсем иной. Он неустойчив, нерешителен, вечно в себе сомневается, постоянно обвиняет себя в ошибках, в неумелости. Во время одного такого приступа подавленности я утешала его. Ты, говорила я ему, ставишь себя ниже всех, завидуешь, что Мартын так логичен, так честен, так целеустремлен, что Эдуард так весел и широк душой, а ведь они ставят тебя гораздо выше себя, по-хорошему завидуют твоему таланту, тому, что именно ты придумал модель энергетической установки, а они лишь исполнители твоих проектов. Вот так я говорила о зависти, Мартын, о хорошей зависти одного таланта к другому, о зависти, порожденной уважением и высокой оценкой. Разве это не меняет дела?

— Меняет. Но только относительно тебя. А в сознании Кондрата твои рискованные утешения так трансформировались...

— В ссорах хватаются за оружие, которое сильнее разит. Ты должен понимать логику ссоры.

— Но мне, несправедливо обиженному, не легче от того, что я понимаю, почему возникла несправедливость.

— Ему тоже нелегко. Обижать и быть обиженным —

одинаково скверно на душе. Ты сейчас в этом убедишься. Я вызываю Кондрата.

Кондрат вошел смущенный, с растерянной улыбкой. Он готов был просить прощения за грубость, нужные слова были заранее обговорены с Аделью. Я не дал ему ничего сказать — протянул руку, мы молча стиснули наши ладони. Так было лучше.

Так было лучше, конечно. Я и сейчас в этом уверен. Но молчаливое прощение не высветляет всех хитросплетений чувств. Дружеское пожатие рук — поступок, а не объяснение. Что-то у нас с Кондратом надломилось. Он выглядел прежним, но я опасался новых стычек.

Нет, не могу сказать, что работа шла неудачно. Мой маленький генератор давал устойчивый пучок ротонов. Пришел черед вводить ротонны в энергетическую установку. Разрабатывал ее сам Кондрат, мы только помогали — Адель вычислениями, я при монтаже. Установка была, конечно, сложна, но Кондрат слишком уж затягивал ее пуск. Я сказал Адели, что нельзя так тянуть, монтаж надежен, проект добротен — что еще?

— Страшно подумать, что случилось бы, если бы пуск установки задерживал не он, а я.

А когда состоялся затянувшийся пуск, мы трое были измотаны вконец. Мы сидели и смотрели на стенд, на нем сияли две лампочки — пока единственные потребители энергии, полученной от манипуляции с внутриядерным пространством согласно теории Прохазки — Сабурова. Так мы теперь называли идеи, положенные в фундамент нашей конструкции. Ни на что другое, кроме как сидеть и молчаливо любоваться тусклым сиянием двух лампочек, нас попросту не хватало.

В лабораторию пришли Огюст Ларр и Карл-Фридрих Сомов.

— Великолепно, друзья мои! — порадовался Ларр. — Человечество в вашем трехликом облике продвинулось вперед на шаг.

— Пока шажок, — отозвался Кондрат. — И почему трехликий облик? Нас четверо. Откомандированный на Гарпию Эдуард Ширвинд — полноправный член нашего коллектива.

— Да, еще Ширвинд. Он скоро прилетит, юные друзья. Нехорошо на Гарпии, очень нехорошо. Такие странные проблемы поставили перед нами гарпы... Вот вернется ваш друг, узнаем подробно, что там происходит.

Сомов деловито осведомился:

— Сколько тратится энергии на возбуждение ротонового пучка и сколько энергии выдает энергетическая установка?

Ему ответил Кондрат:

— Вас интересует коэффициент полезного действия? Ротоновый генератор конструкции Мартына Колесниченко потребляет сегодня около десяти киловатт. Энергетическая установка моей конструкции выдает, как вы видите по накалу этих лампочек, около ста ватт. КПД — одна сотая.

— А по вашим расчетам, должно быть, если не ошибаюсь...

— Вы не ошибаетесь! В десять тысяч раз больше. Мы исходим в проекте из того, что установка на киловатт затраченной мощности должна обеспечить на выходе не меньше ста киловатт. Почти вечный двигатель! Вечный в смысле высочайшей эффективности.

Они ушли. Мне не понравился вызывающий тон Кондрата. Он так ненавидел Сомова, что технической справке придал характер дерзкого отпора. Я все же промолчал, но Адель не выдержала:

— Зачем ты так с Сомовым? Да еще в присутствии Ларра!

— Сомова нужно ставить на место! — зло ответил Кондрат. — И именно в присутствии Ларра! Неужели ты не поняла смысла его ехидного вопроса? Вот, мол, обещали стократную выдачу от затрат, а что реально? Сомов был нам врагом и останется им!

— Пойдемте домой, друзья, — сказал я. — Ужасно хочу спать. А завтра начнем тихонько поднимать эффективность с одной сотой до обещанной полной сотни.

Ни завтра, ни послезавтра, ни даже через месяц не было подъема эффективности. Установка работала все в том же первоначальном режиме. Кондрат снова и снова задавал один и тот же съем энергии. Все так же тускло тлели две лампочки на стенде. Мне они стали даже снится, до того надоел их жалкий свет.

— Впечатление, будто ты боишься менять режим, — сказал я однажды.

— Боюсь, Мартын, — признался Кондрат.

— Чего боишься?

— Сам не знаю чего! Просто боюсь.

— Это не ответ.

— Другого у меня нет.

— Скажи тогда, сколько времени отводишь на боязнь.

Хотелось бы, чтобы свой беспричинный страх ты как-то планировал во времени.

Он засмеялся.

— Адель твердит то же, что и ты, Мартын. Не терпится вам поскорей добиться славы. Но мы все плохо знаем себя. Думаем о себе одно, а на практике получается другое. Отсюда нередки саморазочарования.

— Не понял. Выпусти свою философскую сентенцию вторым изданием. Для широкого пользования и со сплском опечаток.

Теперь мы хохотали оба. Кондрат сказал:

— Вы с Аделью правы. Я слишком затягиваю испытания. Завтра начну прибавлять энергию.

Он выполнил свое обещание. Неконтролируемые вспышки эмоций в нем соединялись с жесткой педантичностью. Иногда Кондрат говорил, что завидует моей дотошности и моему спокойствию. В спокойствии я его, естественно, превосходил, но в научной дотошности уступал. Он неделю каждодневно увеличивал съем энергии на одну сотую потребляемой. Вскоре уже гирлянды лампочек не хватало, чтобы потребить все, что выдавала энергетическая установка. Кондрат стал возвращать энергию в генератор, возбуждающий ротонный поток. Соответственно уменьшалась потребность в посторонней энергии для генератора. Наступил воистину торжественный день — энергия, потребляемая генератором, сравнялась с энергией, выдаваемой установкой. Мы создали замкнутый цикл: производили энергию для того, чтобы потребить ее для этого самого производства.

Давно не было в нашей лаборатории так радостно, как в тот день.

— Мне вспоминается сказочка о бароне Мюнхгаузене, — шутила Адель. — Помните, барон сам себя вместе с конем вытащил из болота, потянув руками за косичку. Столько веков человеческая техника не могла повторить блистательного подвига этого великого барона. А мы сумели! Мы ухватили себя энергетически за волосы и держим на весу. Чуть добавим энергии и потащим себя наверх.

Я повторил шуточку Адели по-своему:

— Сколько веков человечество мечтало о вечном двигателе, производящем энергию из ничего. А что такое вакуум, из которого мы высасываем ротонны? Типичное же ничто! Не знаю, как вы, а я претендую на почетное звание «Изобретатель реального вечного двигателя».

Мы посмеялись. Потом Кондрат сказал:

— Нам еще долго работать без выдачи энергии на сторону. Пока всесторонне не изучим процесс, кричать об успехе не будем. Ведь есть еще такая проблема — техника безопасности.

Адель говорила, что нет смысла таить удачу, раз удача несомненна. Но я поддержал Кондрата. Все может быть, любая непредвиденность. Нужна не убежденность, а несомненность — это вещи разные.

Непредвиденности обнаружались очень скоро. Прилетел Эдуард и вызвал смятение в наших душах. И Кондрат обнаружил ошибку в своих вычислениях, столь важную и столь трагичную, что все впереди стало видеться по-другому...

Я снял датчики, закрепленные за ушами. Мыслеграф перестал записывать воспоминания. Я очень устал от ворошения картин прошлого, от заново переживаемых, вовсе не перегоревших чувств.

13

Утром, сев за стол и прикрепив датчики мыслеграфа, я велел себе думать о вернувшемся Эдуарде Ширвинде.

...Он с шумом ворвался в лабораторию, обнял и расцеловал каждого. Адель ужаснулась:

— Эдик, ты же обещал похудеть, а стал таким толстяком!

Эдуард, и до отъезда полный, очень добавил веса. Но живости у него не убавилось. Он бегал по всем помещениям, трогал механизмы и приборы, с восхищением осмотрел мой ротоновый генератор, об энергетической установке с уважением сказал: «Ошеломительно и сногсшибательно! Предлагаю на постаменте нашего общего монумента поставить ее модель впереди, а мы вокруг. Если, конечно, вы еще не надумали лишить меня почетного местечка, что из-за моего бегства к проклятым гарпам было бы справедливо».

Кондрат со смехом успокоил его:

— Местечки на памятник зарезервированы для всех.

Эдуард позвал нас в свой кабинет, самое большое из непроизводственных помещений лаборатории, и радостно сказал, что мы молодцы: ничего не переставили и не добавили, не вынесли и даже, кажется, не вытирали пыль.

— Пыль вытирали, я сама это делала, — сказала Адель. — И открыла закономерность: в твоей комнате больше всего скопляется пыли.

— Это оттого, что она была пустая. Разве ты не знала, что пустота притягивает пыль? С чего начнем, друзья? Будете воспевать свои достижения или разрешите мне покаяться в грехах?

— Кайся! — предложила Адель. — Ужасно люблю истории о прегрешениях. Надеюсь, их у тебя много?

— Вполне хватает, чтобы потерять надежду на рай. Начнем с одного из семи смертных грехов — греха чревоугодия. Как видите, я не злоупотребляю постом. Потому что выпадали недели, когда мы питались одним собственным жирком. Как человек предусмотрительный, я делал надежные запасы. На Земле теперь порастрясу излишки.

Он, впрочем, всегда обещал в ближайшее время похудеть и всегда не худел, а полнел.

— Жизнь на Гарпии определяют гарпы, — продолжал Эдуард. — Даже на Гарпии не знают о гарпах всего. Эти бестии — загадки. Быть может, только один человек в мире способен сказать о гарпах хоть и не все, но что-то существенное.

— Этот человек, разумеется, ты? — засмеялась Адель.

— Естественно! Рад, что ты меня понимаешь. Мне было поручено изучить Гарпию и гарпов. Мог бы я вернуться на Землю, если бы не выполнил с блеском задания? Теперь смотрите вон на ту стену, я сфокусирую на нее стереокартины этой страшноватой планеты.

Одна из стен кабинета вполне годилась быть приличным экраном, Эдуард и раньше использовал ее для этой цели. Первые снимки Гарпии ужаса не внушали. Планета была неудобная, но не страшная: в морщинах горных хребтов с долинами и впадинами, для которых подходило лишь одно название — «бездны», с тусклым небом и катящейся в нем Церерой, звездой из самых свирепо-голубых. В небе редко сгущались тучи — так, мерцали легкие облачка. Но воды хватало, вода била из грунта, рушилась в пропасти, а на высоких вершинах каменела массивными ледяными шлемами. И воздух, хоть и разреженной земного, содержал кислорода больше. Даже в окрестностях Солнечной системы звездопроходцы осваивали местечки понеудобней и пострашней.

— Я вижу, вы не прониклись ужасом от лицемерия планеты, — со вздохом проговорил Эдуард. — Ну что ж, еще добавлю хорошего впечатления. Гарпия безмерно бо-

гата изотопами редких элементов. Мы на заводах вырабатываем их килограммами, а там тонны их можно собирать на поверхности. Скажу тебе особо, Адочка. Я привез изумруд, которого и в музее не найти! Когда его отшлифуют, буду просить тебя украсить им свое платье или волосы, тут я всецело полагаюсь на твой вкус. Вот такова Гарпия, друзья!

— Изумруды — это хорошо, но где же ужас?

— Ты жаждешь ужасов, Мартын? Получай ужас!

Нападение страшилища Эдуард разыграл безукоризненно.

Он скомбинировал несколько снимков, чтобы получить сюжетное событие. Из-за скалы выполз гарп, остановился, осмотрелся, зевнул, увидел нас и бешено ринулся в комнату, распахнув зубастую пасть. Адель отшатнулась и вскрикнула.

— Эдик, останови! — рявкнул Кондрат.

Гарп замер на прыжке, он был в комнате, а не на стене. Но не на полу — повис в воздухе взлетевшим живым телом. Я вскочил и толкнул рукой его рыжее бронированное туловище. Рука вошла в броню без сопротивления. Эдуард ликовал, как ребенок, дорвавшийся до вожделенной игрушки. За мной подошел к зверю с протянутой рукой Кондрат, потом и Адель набралась храбрости собственными пальцами установить, что в комнате лишь изображение.

Да, гарп был из внушающих почтение, Эдуард подобрал нерядовой экземпляр. Все на Земле знают, что гарпы напоминают наших вымерших крылатых ящеров, хотя и бескрылы. Мне показались всего удивительней лапы: их было шесть, и каждая смахивала на двойные челюсти — верхняя оснащена десятью гибкими и очень прочными когтями, а нижняя похожа на совок или лопату. Морда гарпа нас не удивила — видели и раньше в стереопередачах: огромная пасть, сотня зубов, колющих, режущих, размалывающих... Даже камни можно дробить такими зубами! В общем, бестия, какой и в незапамятные времена не водилось на нашей смирной Земле. А глаз не было. Вместо глаз на голове гарпа, как раз над пастью, торчала рыжая опухоль — орган для локации и нападения.

Эдуард устроил еще одну неожиданность: от гарпа пахло. От него несло острым ароматом озона и чеснока. Я бы сказал, что гарп пахнет, как мокрая собака, только сильнее.

— Специально для вас! — ликовал Эдуард. — Вот так





воняет от каждого, при нападении зажимай покрепче нос, иначе не вынести. Я попросил ребят снабдить изображенные запахом живого зверя, они постарались, как видите.

— Как обоняем, — поправил я. — Эдуард, ты не мог бы убрать свой зубастый экспонат? Он занимает добрую треть комнаты, а ходить сквозь него никто не решится.

Эдуард поворчал, что три земных месяца каждый день видел гарпов, каждый день дышал их убийственным ароматом, каждую минуту страшился попасть под силовой импульс их боевых генераторов и собирался передать нам хоть ничтожную долю своих ощущений, а мы не проявляем желания даже отдаленно посопереживать.

— Ты передашь нам свои ощущения словами. Говорить ты мастер, а мы обещаем быть добрыми слушателями. Начинай лекцию о природе гарпов и о твоей личной роли в благоденствии этого хищного народца.

Ширвинд строго разделил природу гарпов и свою роль в их истории. Много в его информации мы знали и раньше, многое слышали впервые. Эдуард был зорким наблюдателем, недаром его выпрашивал звездопроходец Семен Мияко. Гарпы отнюдь не искусственные создания, палеонтологи уверяют, что на планете они появились миллионы лет назад, продолжая эволюцию существовавших до них тварей. И бурно эволюционировали сами, хотя и весьма необычно. Любой внутренний орган гарпа — силовой аппарат. Они совмещают в теле генераторы электрических и магнитных зарядов, оптические локаторы, гравитационные и лазерные органы и многое другое, еще неизвестное. Даже челюсти их необыкновенны: каждый зуб — резонаторное оружие, генерируемая зубами вибрация быстро разрушает любую добычу. Лапы, совмещающие в себе когти и совки, также служат и для захвата, и для вибрации. Астронавты как-то метнули в гарпа десятикилограммовую гантель, зверь поймал ее пастью, и не прошло минуты, как голову гарпа окутала черная пыль — закаленный металл на глазах превратился в порошок. Полет этих бестий явление настолько необычайное, что ничего даже отдаленно похожего еще нигде не встречалось. Сама Гарпия — планета сильных физических полей. В недрах таятся очаги ядерных реакций, вулканы выбрасывают не огонь и дым, как наши, а струи радиоактивных ядер, генерируют опасные излучения. А в целом Гарпия представляет собой как бы гигантский магнит, но с чудовищно перепутанными магнитными линиями. Она вроде нашего магнитофора, пластинки, на которой сотни

разбросанных магнитиков. Гарпы умеют так сгущать в своем теле магнитные линии и так их ориентировать, что с силой отталкиваются от места, над каким проносятся. Для полета им не требуется ни опоры на воздух, ни такого примитивного органа, как крылья.

— Энергия на возбуждение в теле отталкивающих полей, наверно, не меньше, чем у птицы на махание крыльями, — заметил Кондрат.

— Больше. И значительно больше! Поэтому они неутомимо выискивают и жадно поглощают пищу. А пища — растения и животные, некоторые камни и грунт. Думаю, те несчастные астронавты, которые угодили в пасти гарпов, показались им восхитительной закуской. Недаром они так свирепо охотятся на людей.

— Гарпы — каннибалы, — сказала Адель. — Они рокошествоуют над телами своих товарищей.

— Они, конечно, каннибалы, но не пиршествуют, пожирая своих, а совершают необходимую жизненную операцию. Без поедания друг друга гарпы не могут существовать. И я горжусь, что первый раскрыл это.

— Ерунда какая-то! — не выдержал я. — Сколько знаю, гарпов относят к полуразумным, интеллектуально они выше обезьян и дельфинов. Ты еще скажешь, что и начатки разума у них оттого, что они пожирают один другого?

— Именно это и говорю, — с торжеством объявил Эдуард. — Уверяю вас, друзья, я хорошо поработал на Гарпии. Теперь громко восхваляйте мою проницательность. Без восторженного одобрения рассказ не пойдет.

Восторженного одобрения не было, но слушали мы с интересом. Эдуард обнаружил, что странный организм гарпов является, по существу, неуничтожаемым достоянием всей популяции. В любом гарпе присутствуют материалы, извлеченные из тысяч его прапредков, и само его тело — хранилище этих материалов для последующих поколений. Гарп не превращается в прах, а эффективно используется другими гарпами. Различия полов у гарпов нет, каждый создает детенышей самостоятельно, но сам по себе гарп не способен народить потомство. Вот если два-три гарпа сожрут другого, то их тела переполняются элементами сожранного и может появиться потомок. Новосозданный гарпеночек почти не растет, пока не примет участия в пожирании соседа. После десятка таких актов каннибализма гарп становится взрослым и особенно агрессивным, ибо приходит пора размножаться, а без пожирания других

гарпов потомства не создать. Жертвой обычно становится постаревший гарп, но и молодому не поздоровится, если зазевается. Канибализм, стало быть, естественная предпосылка роста и размножения. Общество гарпов напоминает мифическую змею, которая питалась тем, что поедала свой непрерывно отрастающий хвост.

— Иначе говоря, жизненная энергия гарпов создается канибализмом, так я тебя понял? — спросил Кондрат.

— Ты плохо меня понял, дружище Кондрат. Жизненную энергию эти бестии черпают из обычной своей пищи. Но как особое существо гарп создается лишь поглощением такого же существа. Первые астронавты, кормившие детенышей гарпа всеми видами пищи, какие у них были, с изумлением наблюдали, что гарпята не погибают и не растут. А неосторожность астронавтов приводила к тому, что для гарпята они сами становились желанной пищей.

— Зачем же гарпам поедать людей, если обычной пищи вдоволь? — спросила Адель.

— Вот первый вопрос, свидетельствующий о проникательности, — торжественно возвестил Эдуард. — И ответом будет второе мое замечательное открытие. Я выяснил, что люди для гарпов частично заменяют съедаемых сородичей. Что именно они извлекают из тканей человека, пока не выяснено, но гарпята, расправившиеся с неосторожными астронавтами, быстро росли, а не только пребывали в затянувшемся детстве.

— Тебе не приходила в голову идея практически проверить, так ли это? — поинтересовался я.

— Как видишь, я жив. Следовательно, не пожертвовал собой ради проверки такой идеи.

— Но если мы для них не только лакомая, но и необходимая пища, то не лучше ли покинуть эту страшную планету?

— Второй умный вопрос. Люди не могут покинуть Гарпию. И не только потому, что она сказочно богата редкими минералами и металлами высокой чистоты. Наша земная промышленность достаточно мощна, чтобы производить любые материалы. Но на Гарпии есть то, что наша промышленность пока не освоила. Я уже говорил о редких изотопах химических элементов. Так вот, среди них есть такие, которые даже в наших лабораториях не созданы. И когда их в достаточном количестве доставят на Землю, совершится новый промышленный переворот. Гарпия обеспечит подъем всего нашего общества на новую тех-

нологическую ступень. Таково значение этой удивительной планетки.

— Неужели невозможно какое-либо содружество людей и гарпов? — спросила Адель. — И если не содружество, то хотя бы нейтралитет, осторожное соседство.

— Еще один умный вопрос! И на него отвечает мое последнее и самое значительное открытие. Добрососедство с гарпами исключено. Дело в том, что они расселены не по всей планете, а концентрируются группками в особо укромных местах. И вот я установил, что места их поселения — кладези сокровищ. Гарпия — что-то вроде уникального космического реактора, выплавляющего в своих недрах все возможные изотопы всех возможных химических элементов. И как на Земле существуют районы ценных оруденений, так на Гарпии типичны районы интенсивной концентрации изотопов. Их и заселили гарпы. Наверно, существует какая-то важная причина, почему их тянет к этим местечкам, но я ее не открыл. Во всяком случае, промышленное освоение Гарпии невозможно без выселения гарпов из их гнездовищ. О добровольном переселении говорить не приходится.

Адель взволнованно воскликнула:

— Но это значит!..

— Совершенно верно! Война с гарпами.

— Истреблять этих необыкновенных зверей?

— К тому же не зверей, а полуразумных, возможно, и полностью разумных, — сказал Кондрат. — Я слышал, что гарпы разбирают нашу речь, различают подаваемые знаки, быстро оценивают ситуацию. Не исключено, что скоро с ними можно будет разговаривать.

— Не исключено, — хладнокровно согласился Эдуард. — И допускаю, что разговоры будут содержательными. С единственным добавлением, что один из дружелюбных собеседников может оказаться в пасти у другого.

Я повернул спор в другую сторону:

— Ты рассказал о гарпах много удивительного. Самое удивительное — их внутренние органы. Имею в виду биологические генераторы магнитных, гравитационных и других полей. Будет преступлением, если мы не изучим их. А как это сделать без добрососедства?

— Четвертый умный вопрос. Ты прав, гарпов необходимо изучить, ибо ничего похожего не открыли на других планетах. И для этого нужно добрососедство. Добрососедство обеспечит война между людьми и гарпами.

— Ты рехнулся! Войны всегда усиливали взаимную неприязнь.

— Смотри какая война, Мартын. Между людьми — да. Но не между людьми и зверями. Приведу пример. Когда-то было чересчур много тигров и люди были для них добычей. Но люди победили, свели популяцию тигров к приемлемому количеству. И что же? Тигры нынче отлично сохраняются в своих резервациях, люди способны их существованию. Чем не добрососедство?

— Ты собираешься загнать гарпов в резервации? Но какие? Ты же хочешь очистить их гнездовья!

— Сократив поголовье гарпов, скажем, вдесятеро, мы очистим много гнездовых да еще ликвидируем каннибализм. Ты забыл, что каждая новая генерация гарпов содержит в себе вещества, накопленные сотнями поколений их предков. У гарпов нет трупов, любая частица их тела используется в следующих генерациях. Законсервируем всех гарпов, погибших в войне. Оставшимся не будет нужды поедать друг друга, они будут питаться законсервированными телами. И соответственно, у них пропадет потребность охотиться на людей. Чем не надежная основа добрососедства: мы поддерживаем оставшихся гарпов необходимой для них пищей — запасами, накопленными в войне. Досконально изучаем природу гарпов, чтобы воспользоваться преимуществами их организма в нашей практике. Одновременно изобретаем заменитель той пищи, которую обеспечивает им каннибализм.

— Отличная программа! — гневно сказал Кондрат. — Даже для вождя воинственных дикарей она вполне бы подошла. Но как ты намерен осуществлять такую программу? Что для этого требуется?

— Во-первых, право вести войну. Во-вторых, оружие, чтобы иметь успех в войне.

— И ты вернулся на Землю, чтобы решить эту проблему?

— Ты угадал, Кондрат.

— Хочешь отмены запрета на производство и применение старых орудий истребления?

— Разве я давал повод считать меня глупцом? Запрет двести лет назад был утвержден человечеством, только все человечество может его отменить. И только в случае, если на Землю нападут враждебные инопланетяне. Освоение Гарпии и нападение инопланетян не имеют ничего общего между собой. Нет, у меня иной план.

— Не поделишься?

— Не только поделюсь, но попрошу помощи. Закон запрещает уже изобретенное оружие. Но не запрещает создавать еще неизвестное.

— Это подразумевается.

— Ты ошибаешься. Невозможно запретить создание нового оружия, ибо это равнозначно запрещению всех новых изобретений. Кто заранее определит, как используют еще не открытое открытие, еще не изобретенное изобретение? Открывали новые явления, изобретали новые механизмы — потом догадывались, что они годятся для войны. Динамит изобрели для мирных дел, а в результате лишь добавилось средств войны. Физики двадцатого века открывали атомную энергию на благо человечеству, а раньше блага появилась атомная бомба. Первые космонавты устремились в космос во имя торжества науки, а генералы воспользовались их успехами для размещения в космосе боевых станций. Так это было в прошлом — одни творили добро, другие превращали добро во зло. Две стороны одного процесса. В условиях разобщения человечества строгий запрет производства оружия и уничтожения уже созданного стали необходимостью. Но теперь человечество едино. Войны между людьми невозможны. И если мы разработаем новое средство справиться с гарпами, то это не нарушит старого закона, а принесет пользу и человечеству, и самим гарпам. Вот о чем я хочу говорить.

— Слушай, Эдуард, — сказал Кондрат, сильно волнуясь. — Ты, конечно, можешь говорить о чем хочешь. Но в моей лаборатории я не позволю развивать такие идеи. Помощи от меня не жди.

Впервые Кондрат сказал «моя лаборатория», да еще так вызывающе. До сего дня я слышал только: «Наша лаборатория».

14

Уж не знаю, что особенно повлияло на Кондрата: то ли агрессивные рассуждения Эдуарда, то ли восхищение, с каким на него смотрела Адель, а всего вероятней, сложились обе эти причины. Только Кондрат переменялся. Общение с ним никогда не доставляло удовольствия: неразговорчив, не острит, плохо слушает, вечно погружен в раздумья, часто раздражается и в раздражении грубит. Все это мелочи, конечно. Выражение «великие люди»

отнюдь не равно выражению «приятные люди». Мы трое, его товарищи и помощники, не сомневались, что наш руководитель — великий ученый, во всяком случае, будет таким. И прощали Кондрату многое, чего от другого не потерпели бы. В общем, примирились.

Но с тем, что задумал Кондрат вскоре после возвращения Эдуарда, примириться было нельзя.

— Нам надо поговорить, — сказал он, придя ко мне.

— Валяй. Что-нибудь новое на установке?

— Пока не на установке, а вообще в нашей лаборатории.

Хорошо помню, что я механически отметил про себя странное словечко «пока». Оно звучало как предупреждение о чем-то, чего не должно быть. Кондрат выглядел необычно. Хмуростью и сосредоточенностью он бы не удивил, таким он бывал повседневно. Но злоба, вдруг обрисовавшаяся на лице, меня поразила. Злобным я Кондрата не знал.

— Поговорим об Эдуарде, — сказал он.

— Поговорим об Эдуарде, — согласился я.

— Он воротился с Гарпии, Мартын.

— Правильное наблюдение. Я это тоже заметил.

— Перестань иронизировать! Можно с тобой по-человечески?

— Можно. Слушаю человеческое объяснение.

— Эдуарда надо принимать в лабораторию. Мы так обещали ему.

— Верно. Он не уволился, а откомандирован на время. Он должен вернуться. С моей стороны никаких возражений.

— У меня возражения. Я не хочу Эдуарда.

— Не понял. Как это не хочешь? Вообще не хочешь Эдуарда?

Он усмехнулся.

— Не вообще, а в частности. Вообще — пусть живет и здравствует. Но не в нашей лаборатории. Хотел бы, чтобы ты меня поддержал.

— Это связано с Аделью?

— Нет.

— С чем же тогда?

— Эдуард мне неприятен. Это самое честное объяснение.

— Честное, но недостаточное.

— Уж какое есть...

— Давай поставим все нужные вехи, — предложил

я. — Значит, твоя нынешняя неприязнь к Эдуарду вызвана не ревностью?

— Ревности нет, я сказал. Конечно, слушать, как она восторгается умом и смелостью Эдуарда, будто бы проявленной им на Гарпии... Но я бы стерпел. Мартын, мы с Аделью охладели друг к другу.

— А была ли прежде горячность?

— Возможно, и раньше не было. Ты наблюдателен и, вероятно, со стороны видел то, чего я не замечал. Но что бы ни было у нас в прошлом, сейчас того нет. Содружество есть, любви нет.

— Не много для семейного союза.

— Мне хватает. Возвращаюсь к теме. Ты меня поддержишь, если я объявлю Эдуарду, что ему нечего делать в нашей лаборатории?

— Одно уточнение. Ты скажешь Эдуарду, что против его возвращения в наш коллектив, потому что он стал тебе нетерпим?

— С какой стати оскорблять его? Он никогда не имел четко очерченной своей роли в нашем деле. Я скажу, что мы уже обходимся без него, пусть он использует свои способности в других местах.

— В таком случае, не поддержи. Я за возвращение Эдуарда.

Возможно, Кондрат ждал такого ответа. Он с минуту молчал.

— Итак, ты против. Может, объяснишь, почему?

— Объясню, конечно.

И я сказал, что примирился бы с отстранением Эдуарда, если бы Кондрата мучила ревность. Из недобрых человеческих чувств ревность — одно из непреодолимых, с этим нельзя не считаться. Древний мудрец с горечью восклицал: «Жестока, как смерть, ревность; стрелы ее — стрелы огненные». Можно тысячекратно осуждать ревнивцев, но нельзя не понимать, что ревность превращает соперников во врагов. Дружная работа у таких людей не получится. Но Кондрат сказал, что ревности нет. Просто по неизвестной мне причине Эдуард стал неприятен Кондрату. Мало ли кто кому приятен или неприятен! Разве это повод, чтобы отстранять человека, который немало потрудился с нами? Кто оправдает такой поступок? Не скажут ли, что в ротоновой лаборатории не захотели делить с товарищем предстоящий успех?

— Ты боишься, что тебе бросят в лицо подобное обвинение?

— Боюсь, что я сам брошу себе в лицо подобное обвинение.

— Не хочешь поддержать мое желание?

— Будем различать разумные желания и прихоти. Разумные желания поддержу. Прихоти — нет.

— Ты ясен, — глухо процедил Кондрат и вышел.

15

Внешне Кондрат успокоился. Об удалении Эдуарда из лаборатории речи больше не было. Зато сам Эдуард появлялся редко, у него хватало забот с доведением своего плана освоения Гарпии до всеобщего ознакомления. Адель часто сопровождала Эдуарда на публичные доклады о Гарпии. Эдуард нашел сторонников. Большинство они не добирали, но народ все был активный — горячо ратовали за колонизацию богатой сырьем планеты.

Бывали дни, когда в лаборатории находились только мы с Кондратом. Вспоминая то время, я отмечаю два новшества, отнюдь не показавшиеся мне особо примечательными. Об одном новшестве я уже упоминал: в кабинете Кондрата появились портреты физиков двадцатого века — Фредерика Жолио и Энрико Ферми. Добавлю лишь, что я часто заставлял Кондрата на диване в глубокой задумчивости. Он не отрывал взгляда от Жолио и Ферми и о чем-то размышлял. Ни разу не замечал, чтобы он хоть толику внимания уделил висевшим над столом портретам Ньютона, Эйнштейна, Нгоро и Прохазки. Я как-то опять спросил, чем вызвано такое непрекращающееся внимание к ним. Он буркнул:

— Никакого внимания! Просто отдыхаю.

И вторым новшеством было то, что Кондрат стал предаваться лицемерию энергетической установки. Она была его единоличным творением, как ротоновый генератор моим. И мы возились с ней, как и он, Эдуард и Адель возились с моим генератором. Но это была помощь создателю, а не равноценное участие в создании. Не знаю солгал ли он, что не ревнует Адель к Эдуарду, но что он ревновал нас всех к своей работе, знаю твердо. В течение долгого времени наш интерес к главному аппарату лаборатории ограничивался риторическим вопросом: «Как там у тебя, Кондрат?» и вполне удовлетворялся туманным ответом: «Да ничего. Работаю».

Вероятно, нас всех устраивало то, что Эдуард называл

«Кондратовой хлопотней». Молчаливость чаще всего сопряжена с медлительностью. Кондрат опроверг собой эту расхожую истину. Он был молчалив, но деятелен. Не скор на движения и решения, а именно деятелен, то есть непрерывно что-то делал: ходил вокруг установки, поднимался на нее, трогал то одну, то другую деталь, проверял подвижность исполнительных механизмов, точность настройки датчиков. Меньше всего такую «хлопотню» можно было обозначить холодноватой формулой «лицезрение».

А сейчас мы увидели нового Кондрата — не хлопотливого, а лицезреющего. Точнее определения просто не подберу. Он прислонился к стене помещения или сидел на скамью и озирали громоздкое собрание механизмов, приборов, кабелей и трубопроводов. Иногда — возможно, чтобы не привлекать нашего внимания — он вставал, до чего-то дотрагивался рукой и опять садился и смотрел, только смотрел, будто что-то его поражало во внешнем виде созданного им сооружения. И я замечал, проходя мимо, что чаще всего он всматривался в верхний шар, увенчивающий установку. Это был преобразователь. Здесь принимался поток ротонов от моего генератора, здесь он преобразовывался в те формы энергии, какие мы хотели получить. Но просто смотреть на преобразователь было делом пустым, он был забронирован фарфоровой оболочкой: если что и нарушалось внутри, то на оболочке это не сказывалось. Лицезревание фарфорового шара само по себе значения не имело — Кондрат размышлял о чем-то ином.

Однажды ко мне подошла Адель.

— Тебе не кажется, Мартын, что у нас что-то разладилось?

— Как раз об этом хотел спросить тебя.

— Почему меня? Я не имею отношения к установке.

— Зато ты имеешь отношение к Кондрату. Ты его жена. А я слышал, что мужья делятся с женами своими затруднениями.

— Не верь слухам, Мартын. Вряд ли Кондрат будет делиться со мной больше, чем с тобой. Ты раньше узнаешь обо всем, что его тревожит.

— На правах старого друга, Адочка... Ты не находишь, что вы с Кондратом создали странную семью?

Она ответила резче, чем я мог ожидать:

— Я нахожу, что мы с Кондратом не можем создать никакой семьи. Но это уже наши внутренние затруднения.

Речь об установке. Не понимаю, что происходит с выдачей энергии, за месяц никакого прироста. Тебя не беспокоит такое нарушение предварительных расчетов?

— Понял. Беспокоит. Выясню у Кондрата, что кроется за прекращением прироста энергии.

Улучив момент, когда Кондрат в очередной раз принялся разглядывать фарфоровый преобразователь, я прямо спросил: «Что случилось?» В древности существовала секта «созерцателей собственного пупа», не решил ли Кондрат создать новую разновидность такой секты? По-моему, название «Созерцатели шаров» звучит неплохо.

Он засмеялся. Шутка ему понравилась.

— Не созерцаю, а размышляю, Мартын.

— Догадываюсь, что не просто любишь. О чем же размышляешь?

— О том, что преобразователь у нас великоват. И о том, что твой генератор тоже громоздок.

— Мы выбрали габариты под заданную мощность. Остановились бы на другой мощности, были бы другие габариты.

— Ты полагаешь, что установку можно уменьшить в десяток раз?

— Хоть в сотни раз, а не в десяток! Когда-нибудь сконструируем и переносную ротоновую машину. На дальних планетах наши энергетические механизмы будут даже удобнее современных ядерных энергогенераторов. Так тебя волнует использование нашего изобретения?

— И это, Мартын. И многое другое.

— Поделись с друзьями раздумьями.

— Поделюсь, и очень скоро. Но не торопи меня.

Вот такой был разговор. Я информировал о нем Адель и, естественно, лишь увеличил ее тревогу. И был еще один результат. Кондрат не захотел создавать секту «созерцателей шара». Он больше не предавался лицемерию установки. Теперь он часами просиживал в кабинете — и не на диване, а за столом. Перед ним лежал рабочий журнал, он перелистывал его, вчитывался в старые записи, делал новые — работал, а не размышлял! Размышление тоже работа, я не опорочиваю умение мыслить. Но Кондрат, размышляя, обычно откидывался назад, глаза становились рассеянными. Уже много дней он не принимал такой позы. Уже много дней мы видели его только склоненным над столом, глаза глядели зорко и пристально — никакой задумчивости, никакой рассеянности...

Мы не сомневались, что он готовит важное сообщение.

И вот однажды Кондрат пригласил нас в свой кабинет и объявил:

— В наши расчеты вкралась трагическая ошибка. Созданная нами установка не может работать.

16

Отлично помню тот день во всех подробностях. Была середина ноября, по графику Управления Земной Оси, долго не позволявшему расстаться с теплой осенью, в Столице в этот день задали сумрачную погоду. И природа, словно вдруг вспомнив о своем естестве, обрушилась ярым листобоем и холодным дождем. Ветер свивал мокрые листья в смерчи, заваливал ими дороги и плечи, дождь тут же смывал их. Я люблю такую погоду и не торопился. Меня обогнал Эдуард, хотел увлечь с собой, я не пошел с ним. А затем показалась Адель. Она бежала, чуть не падала, я подхватил ее под руку.

— Спасибо, Мартын,— сказала она.— Не терплю дождя. И ветер такой, что хотела вызвать авиетку.

— Ветер хороший,— сказал я.— На таком ветру в авиетке можно схватить морскую болезнь. Ты правильно сделала, что пошла пешком.

В вестибюле нас ожидал Кондрат. Думаю, эту ночь он провел в лаборатории, а не дома. Он помог жене раздеться, и мы направились в его кабинет. Кондрат уселся за стол, на диван опустились Адель и Эдуард, я примостился на стуле, сбоку от стола. И я хорошо помню, как вдруг вспыхнул Эдуард, когда Кондрат объявил об ошибке, и как страшно побледнела Адель. Не думаю, что на моем лице было меньше растерянности и волнения, очень уж неожиданным оказалось сообщение. Кондрат выглядел безысходно подавленным. Но нам в тот миг было не до его ощущения, вполне хватало собственных.

— Неправда! — гневно воскликнула Адель, она первая справилась с растерянностью.— Я десятки раз перепроверяла, ошибки быть не может!

— Ты сказала, что установка не может работать,— обрел голос Эдуард.— Но она же выдает энергию. Это же факт.

Я молчал. Услышанное не укладывалось в голове. Кондрат улыбался (столько стыда было в его жалкой улыбке). Я отвернулся. К Кондрату сердитому и раздраженному я как-то привык, но такого — униженного, го-

тогового снести оскорбления — видеть было невыносимо.

Он ответил Адели тихим голосом:

— Нет, в твоих вычислениях ошибок не было. Я тоже много раз проверял... Хорошая математика, все следствия из посылок. Но посылки неправильные, это моя ошибка. Ты поверила мне, я сам себе верил...

— Но установка работает, — настаивал Эдуард. — Ты же этого не можешь отрицать! Установка прекрасно работает!

Теперь Кондрат отвечал Эдуарду:

— Работает, но выдает только ту энергию, которую вводят извне в ротоновый генератор. И при этом теряет часть ее на собственные нужды. Вот максимум ее возможностей — выдавать лишь то, что получает. Она работает вхолостую.

Эдуард повернулся ко мне.

— Почему ты молчишь, Мартын? Скажи Кондрату, что он путает. Скажи, что он напрасно нас пугает.

Я взвешивал каждое слово:

— Возможно, Кондрат что-то путает. Но в одном он прав: до сих пор наша установка возвращала лишь ту энергию, какую получала. Такую эффективность мы планировали как первый этап. Второй — выдача на сторону большей энергии, чем используется нами со стороны. Для этого мы и создали лабораторию — вычерпывать энергию из вакуума, а не возвращать на энегростанции то, что получаем от них.

Эдуард чуть не кричал:

— Так приступайте, черт возьми, ко второму этапу! Вычерпывайте энергию из вакуума, а не из земных электростанций. Мне, что ли, делать за вас? Не такое было у нас разделение функций.

Снова заговорила Адель:

— Кондрат, твое сообщение чудовищно. Признайся, что зачем-то надумал нас напугать.

Кондрат покачал головой.

— Не пугаю. Сам ужаснулся, когда понял, что случилось. Я неправильно определил константу Тэта. И ты в своих вычислениях повторяла мою ошибку.

— Ошибку? Сколько раз мы обсуждали эту константу! И в лаборатории, и дома. Ты и не намекал, что подозреваешь ошибку.

— Я только недавно о ней узнал. И не решался сказать, хотел перепроверить себя. Теперь говорю — сразу всем.

— Теперь говоришь... И сразу всем? Хорошо, пусть так. Какова же ошибка? На одну десятую величины? На четверть? Вдвое?

— На два порядка, Адель. Я ошибся ровно в сто раз. Тэта в сто раз меньше, чем ты положила в основу своих вычислений.

Теперь и я не удержался от негодующего восклицания. То, что Кондрат объявил, было невозможно. В такую ошибку было немисливо поверить. Тэта, основная константа в наших расчетах, определяла скорость рождения ядерного микропространства при бомбардировке атомных ядер ротонами. Именно константу Тэта мы внесли как совершенно новое в первоначальные космологические расчеты профессора Клода-Евгения Прохазки. Именно константа Тэта сделала осуществимым переход в микромир от гигантских космологических катастроф, от Большого Взрыва, совершившегося двадцать миллиардов лет назад, от рождения нашей Вселенной и от последующего ее разлета в непрерывно нарастающем пространстве. Установлением одного того факта, что константа Тэта реально существует, Кондрат мог обессмертить свое имя в науке. А он еще определил ее величину, и она оказалась такой, что открывалась возможность получать энергию на Земле сперва в лабораториях, потом на заводах, от процессов, какие раньше относили к космологическим, а не технологическим. Все мы, не один я, верили, что недалеко время, когда эту величину, математический значок Тэта, будут именовать «константой Сабурова», что мы первые в мире использовали ее для производственных операций. И вот сам творец «константы Сабурова», сам Кондрат Сабуров с сокрушением признается, что все было фикцией: нет реальности в открытой им удивительной константе, отныне она лишь математический, малозначащий символ. Это было чудовищно, этого нельзя было допустить!

И я сказал:

— Кондрат! Ты ошибся не прежде, ты ошибаешься сейчас. Адель права — ты путаешь. Нужны доказательства, без них твоих объяснений не принимаю.

— Тогда смотри.— Он протянул мне рабочий журнал.

Он хорошо подготовился к трудному объяснению, это было ясно. Журнал открывался на нужных страницах. Я сразу и навсегда запомнил их — двенадцать листочков, номера 123—134. И они показывали, как мучительно сам Кондрат искал объяснения, почему установка не может



увеличить выдачу энергии. Он зафиксировал в журнале — цифрами, а не словами — и свои недоумения, и свои тревоги, и свое отчаяние. Он искал сперва неполадки в монтаже и не нашел их. Он подверг анализу — не говоря об этом мне — ливень ротонов из моего генератора и не обнаружил несоответствия. Только тогда, уже охваченный тягостным предчувствием, он обратился к предпосылке всех наших экспериментов — к константе Тэта. Двенадцать роковых страниц зафиксировали его придирчивый допрос самого себя, его яростный спор со своим собственным детищем. Были прямые методы проверки проклятой константы, были и косвенные, по значениям других величин, — Кондрат использовал все. И все они свидетельствовали: мы легкомысленно начали свои исследования, фундамент их недостаточно обоснован. Константа Тэта, одна из главных мировых констант, была в сто раз меньше, чем мы приняли. Из множества известных нам тогда чисел и величин мы невольно выбирали те, что ближе соответствовали замыслу. Мы были не критичны к собственной теории. И конечно, больше всех виноват был в этом Кондрат — он честно признавался в своей вине.

Я молча положил журнал на стол. Его надо было швырнуть, он обжигал пальцы. Но я положил его осторожно, как будто опасался, что при резком движении из него посыплются проклятые цифры, истошно вопя о напрасно потраченном труде нескольких лет.

Адель и Эдуард с надеждой смотрели на меня. Я покачал головой.

— Друзья мои, Кондрат прав. Наша установка неэффективна. Константа Тэта иная, чем мы предполагали. Можете сами проверить.

Я показал на журнал. Ни Адель, ни Эдуард не взяли его. Эдуард опустил голову и растерянно глядел в пол. Адель была великолепным вычислителем, формулы говорили ей больше слов, но она не захотела проверять цифры, занесенные в журнал. Выражение моего лица сказало ей все. И в этот момент мне показалось, что я впервые вижу ее. Еще никогда Адель не была так невероятно красива, как сейчас. Я был когда-то влюблен в нее, мне все нравилось в ней, хотя она была тогда лишь хорошенькой, а не прекрасной. Поняв, что она не для меня, я перестал вглядываться в нее и пропустил время, когда она превратилась в красавицу. И теперь, напряженно ожидая, как она поведет себя, что скажет Кондрату, что скажет мне и Эдуарду, я вдруг с удивлением подумал, что нужно

было произойти несчастью в наших исследованиях, чтобы до меня дошла перемена. Я сказал, что она была «невероятно красива». Какие никчемные слова, не выражающие истины! Она была ловеще красива, когда в отчаянии глядела на меня, уверовав наконец, что нашу совместную многолетнюю работу зачеркивает одна-единственная ошибка.

Мы молчали. Кондрат не вынес молчания:

— Надо решить, что делать.

Он обратился ко мне первому, и я ответил первый:

— Будем продолжать работу. Докажем, что невозможно создать новые источники энергии путем манипуляций с микропространством. Всемирной славы не приобретем, но докторские степени заслужим.

— Ты, Адель? — обратился Кондрат к жене. — Что ты скажешь?

— Что я скажу? — Она подошла к окну. Снаружи метались деревья и бил по стенам дождь. Адель посмотрела в окно и обернулась к нам. Она тяжело дышала. — Я бы многое сказала тебе не только как твой сотрудник, но и как твоя жена. Но при посторонних стесняюсь.

Кондрату надо было как-то успокоить Адель. Он и не подумал это сделать.

— Как муж с женой поговорим дома. Сейчас я спрашиваю тебя как сотрудника лаборатории.

Она зло усмехнулась. Не хотел бы, чтобы когда-нибудь против меня обращали такую беспощадную усмешку.

— Видишь ли, мне трудно отделить функции жены от функций сотрудника. Это, наверно, недостаток всех женщин, не только мой. Поэтому ответу на твой вопрос: я уйду. Сейчас же уйду, ни одной минуты не задержусь.

— Ты уходишь домой, Адель?

— Не домой, а из дому! Тебе понятно?

— Мне понятно, — сказал он глухо.

Теперь я думаю, что в тот день Кондрат уже ожидал разрыва с ней. Но все же он очень побледнел, верней, посерел, темная кожа лица никогда не становилась у него бледной. Он обернулся к Эдуарду:

— А ты, Эдуард? Ты что-то не торопишься высказывать свое мнение.

— За Эдуарда ответу я, — властно сказала Адель. — Эдуард уходит со мной.

— С тобой? — переспросил Кондрат. — Разреши узнать, в каком качестве ты уводишь с собой Эдуарда?

— В качестве моего нового мужа, вот в каком.— Она стремительно подошла к Эдуарду.— Эдик, я правильно тебя понимаю, ты хочешь быть со мной?

Эдуард потерялся — затряслись руки, задрожал голос. Он еле пробормотал:

— Адочка, ты же знаешь... Я же всегда...

— Очень хорошо. Вставай, мы уходим.

Она взяла его под руку, пошла к выходу. Эдуард пребывал в таком ошеломлении, что ничего не сказал нам с Кондратом на прощание. В дверях Адель обернулась и горько проговорила:

— Радости здесь не было никогда. Но столько было надежд на радость!

Они ушли. Эдуард так и не повернул головы в нашу сторону. Мы с Кондратом молчали. И опять он первый не вынес молчания:

— Вот так и развалилась наша лаборатория, Мартын.

— Еще не развалилась,— откликнулся я.— Просто поставим себе иные задачи. И будем так же честны с результатами экспериментов.

Он с печалью возразил:

— Но открытия, которого мы так желали...

— Друг мой Кондрат! Настоящий ученый исследует проблему, не зная, что в итоге получится — великое открытие или добавка новых фактов к тысячам уже известных. Только научные карьеристы и научные халтурщики ставят своей целью непременно совершить открытие, а не просто изучить проблему. Разве мы с тобой карьеристы или халтурщики?

Он странно посмотрел и сказал:

— Мне думалось, что, узнав о провале, ты покинешь меня, как Адель и Эдуард.

— Давай уточним понятие «провал». Отрицательный результат — тоже важный научный факт. Будем и дальше обогащать науку важными фактами. И не рвать на себе волосы.

— Я рад, что ты остаешься,— сказал он без энтузиазма.

Мне тогда показалось, что Кондрат отнюдь не огорчился бы, если бы и я оставил его.

Сейчас понимаю, что то ощущение было пророческим. И многое сложилось бы по-иному, уйди я вслед за Аделью и Эдуардом.

Адель и Эдуард улетели из Столицы. Он продолжал свои речи и доклады о Гарпии, она сопровождала его в поездках. У меня не было сомнений, что долго такое содружество не продолжится. У Кондрата Адель еще могла бы согласиться на вторую роль, он все же интеллектуально превосходил ее, и она это понимала. Но с Эдуардом они были равня, а это означало, что вторые роли будет играть он. Вскоре они вернулись в Столицу. Она — профессором в университет, он — сотрудником в Академию наук. Она заняла место, которое хотела, он взял любое, лишь бы быть при ней. Все совершилось, как и должно было совершиться.

А у нас с Кондратом шло странно. Меня, наверно, меньше всех огорчила неудача на установке. Я не лгал, убеждая Кондрата, что и отрицательный результат тоже важен. Мне думалось, что я утешаю его своими рассуждениями, но он почему-то раздражался, а не успокаивался. Помню один разговор в его кабинете.

— Посмотри на этих двух людей. — Я показал на Жолио и Ферми. — Гении, правда? А почему? В чем их гениальность?

— Мартын, это же просто! Продемонстрировали высочайшую силу мысли, глубокое экспериментаторское искусство. И в результате совершили научный подвиг: открыли ядерную энергию, сделали возможным ее использование.

— А можешь ли утверждать, что, не будь Жолио и Ферми, человечество не узнало бы о ядерной энергии?

— Ты задаешь наивные вопросы, Мартын. Кроме них двоих, еще два десятка отличных ученых вплотную приблизились к такому же открытию. Но Жолио и Ферми опередили их, всего на несколько дней, но опередили.

— Вот-вот! Открытие могли совершить не только они, но и другие — имелось что открывать. Ибо константы ядра урана были объективно такие, что стало возможно огромное выделение энергии при распаде этого ядра. А явись константы иными, вырывайся при распаде не несколько нейтронов, зажигающих цепную реакцию, а скажем, один нейтрон на два распада, и не было бы никаких цепных реакций с баснословным выделением энергии. И не было бы никакого ядерного оружия и никаких ядерных электростанций, никаких атомных реакторов для мирных це-

лей. И ни эти два физика, ни два десятка других, проводивших одновременно с ними те же исследования, не совершили бы своих открытий, и никто не вешал бы их портреты на стены, никто не говорил бы об их гениальности. Чуть-чуть сложились по-иному некоторые физические константы, и всю историю человечества пришлось бы писать по-иному, не только биографии двух знаменитых физиков.

— К чему ты все это?

— К тому, что и Жолио, и Ферми остались бы такими же умными и талантливыми, будь константы распада ядра иными, но только никто не узнал бы тогда, какие они умные и талантливые. Да, нам не повезло с константой Тэта, но разве мы от этого стали иными? Менее талантливыми? Глупей или злей? Кондрат, какими мы были, такими и остались. Давай утешаться этим.

Он взволновался. Его что-то сильно расстраивало.

— Утешайся, если тебе этого достаточно. А у меня временами желание послать наши исследования к черту. Взорвать твой ротонный генератор, размонтировать мою энергетическую установку...

— Почему такая дискриминация моих работ? Мой генератор взорвать, твою установку только размонтировать. Несправедливо.

Шутка до него не дошла. Меньше, чем когда-либо прежде, он способен был воспринимать иронию. Особенно, если иронизировали над ним.

Ротонный генератор работал, как хорошие часы, у меня появилось свободное время. Я предложил Кондрату помочь в обслуживании его установки, он не захотел.

— Ум хорошо, а два лучше, слышал? — сказал я.

— Не хочу отягчать тебя своими затруднениями.

— Один можешь и не увидеть, где увидят двое.

Он пронзительно глянул на меня.

— Установка моя. И только моя. Делай свое дело, я буду делать свое. Удачи разделю с тобой и обоих ушедших позову к успеху. А неудача пусть будет только моей.

Я не сумел скрыть негодования.

— Трудно работать, Кондрат, когда видят в друзьях лишь любителей быстрого успеха.

Он закричал:

— Трудно со мной? Тогда уходи, я не держу! Адель ушла, я ее не остановил. А она мне все-таки...

— Жена, а не просто сотрудник, как некий Мартын

Колесниченко, — холодно закончил я. — Я подумаю над твоим ценным предложением.

И я впервые стал прикидывать: а и вправду, не уйти ли мне? Все, что мог, я уже сделал. Мой роторный генератор останется Кондрату памятью о том, что нет причин жаловаться на мое нерадение.

Вероятно, эти мысли и неуспокоенная обида и стали причиной окончательного разрыва.

Кондрат задумал какие-то новые опыты. Он влезал на установку, прилаживал к фарфоровому шару ящички и сосудики. Он не говорил, зачем это делает, я не спрашивал. Однажды я молча шел мимо установки, и сверху на меня свалился металлический цилиндр. Я успел схватить его. Кондрат закричал с установки:

— Не смей трогать его, он тебя не касается!

— Именно касается, — огрызнулся я. — Если удар именовать простым касанием. А теперь погляжу, что содержится в этом подарке с высоты.

Кондрат проворно сбежал вниз.

— Запрещаю открывать цилиндр. Немедленно отдай!

Ему следовало все же говорить спокойней.

— «Не смей», «запрещаю», «отдай»... Какие военные команды! Ты в меня швырнул чем-то тяжелым, теперь моя передача. Хватай!

Я кинул ему цилиндр, как кидают мяч. Кондрат отшатнулся, и цилиндр угодил в щеку. Кондрат был чужд всем видам спорта и не понял, что я хотел превратить исполнение его приказа в подобие игры. Он решил, что я отвечаю ударом, и немедленно вздыбился. Он наступал на меня и орал. Он потерял контроль над своими словами. То, что он выкрикивал, было непереносимо слышать. Я впал в ярость и пригрозил:

— Перестань! Плохо будет!

— Не перестану! Все узнаешь, что думаю о тебе! — вопил он побелевшими губами.

И я ударил его. Полновесная пощечина отбросила Кондрата к стене. И сейчас же он кинулся на меня. Драчуном он не был, ни физической силой, ни спортивной не брал. Но нападение было так неожиданно и так неистово, что минуту-две Кондрат имел преимущество. Он схватил меня за шиворот, поддал коленом, потащил к выходу — хотел вытолкнуть наружу. Только у двери я справился с растерянностью. На этот раз он на ногах не устоял. Несколько секунд он лежал на полу, потом стал медленно подниматься. По лицу его текли слезы, он что-то

бормотал. Я не стал вслушиваться. Я ненавидел его. И он понимал, что я его ненавижу.

Я раздельно сказал, стараясь восстановить в себе спокойствие:

— Поговорили. Небольшая научная дискуссия. Успешно разрешена трудная познавательная проблема. Гносеологическая — так, кажется, называются такие проблемы.

— Мартын, Мартын! — простонал он. — Что же мы сделали?

— Расходимся, вот что сделали. Ты заставил уйти Адель и Эдуарда, а теперь и меня принудил. Ноги моей больше здесь не будет!

И я рванул на себя входную дверь. Надо было зайти в свой кабинет, что-то прибрать, что-то забрать. Не умом, мстительным чувством я понимал, что, уходя вот так — все бросив, от всего в лаборатории отрекаясь, — я наношу Кондрату пощечину, обиднее первой. И в ту минуту мне было единственным утешением, что не просто ухожу, а больно оскорбляю Кондрата своим уходом...

Я снял датчики мыслеграфа и швырнул их на стол. Третий день записи воспоминаний был тяжелее первых двух. Не знаю, как другие люди, а мне временами больше заново переживать давно пережитое. Ибо там, в прошлом, нет завершенности, нет знания, что произойдет впоследствии, спустя годы, завтра, через минуту, будущее темно. А сейчас, перед столом, с датчиками мыслеграфа за ушами, я видел прошлое в его абсолютной законченности — оно стало, и оно было, и его уже не переменить. И меня охватила боль оттого, что в прошлом ничего не переменить, а так надо бы! Да знай я то, что знаю сегодня, разве я так вел бы себя в прошлом?

— Ладно, успокойся, — сказал я себе вслух. — Завтра продолжим. Завтра будет легче. Воспоминания закончены, основа для анализа трагедии выстроена. Завтра приступлю к исследованию документов. Они прольют последний свет на причины гибели Кондрата.

И новый день я начал с того, что вытащил из ящика стола папку, принесенную Карлом-Фридрихом Сомовым. «Надо бы предварительно просмотреть вчерашнюю

запись», — подумал я, но не стал этого делать — все, записанное вчера, восстановилось в памяти ярко. Датчики мыслеграфа я все же прикрепил к ушам, сегодня они будут записывать не картины прошлого, а мысли, вызываемые чтением документов и описанием событий.

Итак, я ушел от Кондрата, организовал собственную лабораторию — иная тематика, ничего похожего на то, чем занимался у Кондрата. Адель и Эдуард явились в мою новую лабораторию. Был нерадостный разговор, оба сетовали, что мечтания об успехе завершились скверным финалом. А Кондрат продолжал работать один. Что он делал? Что он мог делать, кроме продолжения неудавшихся исследований? Конечно, пытался найти способ как-то улучшить использование и той константы Тэта, какой она раскрылась в реальности, а не в мечтах, не в рискованных теоретических построениях.

— Значит, на очереди константа Тэта, определяющая рождение микропространства в атомном ядре, — сформулировал я для себя задачу. — Не знаю, как с созданием микропространства, а провал нашего исследования определила именно она. Посмотрим еще раз, как это произошло.

В первые мгновения я не поверил своим глазам. Страниц 123—134 в журнале не было. Торопливо перелистал его — может, выпали из общей сшивки и их засунули между другими листами? Нет. Просмотрел все бумаги, лежавшие в пачке: протоколы следственной комиссии по взрыву, дневники Кондрата, какие-то записи, не оснащенные цифрами, — не то, решительно не то! Я снова раскрыл журнал. Между страницами 122 и 135 была пустота. Страницы 123—134 кто-то вырезал — узенькие полоски бумаги, оставшиеся от них, свидетельствовали, что здесь аккуратно действовал острый нож. Спокойно и расчетливо изъяты те самые страницы, которые нам показывал Кондрат, которые я в его присутствии проверял, те единственные страницы, на которых были запечатлены все проверки главной константы, страницы, доказывающие ошибочность теории Кондрата и вычислений Адели, приписывающих этой константе нереальное высокое значение...

Кто мог вырезать важнейшие страницы? Кому это было нужно?

Только два человека держали в руках рабочий журнал Кондрата после моего ухода из лаборатории. Он сам и

Сомов, изымавший все лабораторные бумаги после взрыва. Кондрат отпадает, Кондрату не было нужды уничтожать свои записи — что написано, то написано, таково его всегдашнее отношение к рабочим журналам. Значит, заместитель директора института? Он, только он один! Этот человек сразу невзлюбил нашу лабораторию, не раз почти открыто показывал свою неприязнь. Он забрал все документы лаборатории, он рылся в них и устранил все, что свидетельствовало о просчетах — ведь они бросали тень на его научную компетенцию!

Я вызвал Сомова.

— Случилось что-то важное? — спросил он.

— Очень важное. Разрешите прийти к вам и доложить.

— Не надо. Я сам приду в лабораторию.

Он явился через несколько минут. Я сидел у Кондрата, а не в своем кабинете. Сомов опустил на диван. Передо мной лежал раскрытый журнал. Сомов усмехнулся: он издали увидел, на каких страницах журнал раскрыт.

— Похоже, вы заметили вырванные страницы и сочли это важным, — начал он первым. — И какое составили мнение по этому поводу, друг Мартын?

— Мнения нет. Пока одно удивление.

— И предположения нет?

— Предположение есть: страницы 123—134 удалены тем, кому они мешали. Или скажем так: кому они не нравились.

— Продолжу вашу мысль, — сказал Сомов. — Страницы мог удалить и тот, кому не нравились ваши исследования и сама ваша бывшая лаборатория. Вам почему-то казалось, что я вас недолюбиваю. И вам явилась идея, что это именно я так нагло похозяйничал в журнале.

Я не решился столь ясно высказывать свои подозрения. Он тихо засмеялся.

— Нет, друг Мартын, вы ошибаетесь, если так думаете. И к лаборатории вашей я хорошо отношусь, хоть и многое в ней меня тревожило. И страниц из журнала не вырывал. Это сделал другой человек.

— Кто же?

— Кондрат Сабуров, кто же еще? И сделал, уверен, потому, что и его стали одолевать те же тревоги, что и меня.

— Может быть, скажете, в чем состоят эти тревоги?

— Не скажу. Вы должны до всего дойти сами.

— Но вы видели раньше меня эти вырванные страницы. Почему не обратили на них заранее мое внимание?

— По этой же причине. Вы не нуждаетесь в под-
сказках.

— Но в пояснениях нуждаюсь, — сказал я сухо. — Не-
ясностей хватает не только в лаборатории, но и вокруг нее.
Вы могли бы хоть отчасти высветить темные места.

— Мог бы, но не хочу. Частичное высветление одно-
боко — может увести от истины. Если я выскажу вам свое
мнение о том, что совершалось в вашей лаборатории,
я невольно воздействую на вас. А я несравненно меньше
вас разбираюсь и в научной специфике лаборатории, и в
знании работников. Поэтому вам, а не другому, тем более
не мне, доверили окончательное расследование. Но если
вы сами придете к тем же выводам, что я, то для меня
они станут истиной. И это будет важным не только для
нас с вами — для всей нашей науки.

Сомов встал. Я не стал его задерживать. Он вдруг
показал рукой на портреты Жолио и Ферми.

— Одну подсказку все же разрешу себе. Подброшу
вам хорошую кость, погрызите ее. Зачем Сабуров повесил
портреты этих двух физиков? Если я не ошибаюсь, ответ
прояснит многие загадки.

Я долго не мог прийти в себя после ухода Сомова.
Единственно точная формула моего состояния — ошелом-
ление и растерянность. Из всех гипотез о происшествии
с журналом, которые я мог выстроить, Сомов предложил
мне самую невероятную. Истина была не там, где я пы-
тался ее найти. Я шел по неверной дороге, по самой
удобной, по гладкому полотну, а надо было сворачивать
на неприметную тропку, протискиваться между валунами,
преодолевать завалы: истина не светила впереди прожек-
тором, а тускло мерцала в глухой чаще!

— Выходит, страницы из журнала вырвал сам Кон-
драт, — сказал я себе вслух. — Невероятно, но правда, так
утверждает Сомов. Но почему Кондрату понадобилось рас-
правляться со своим журналом?

Ответ был однозначен: его не устраивали эти стра-
ницы. Они стали вредны, чем-то опасны. Кондрата порой
охватывало раздражение, налетали приступы ярости,
причиной этого всегда были люди — и раздражение
и неистовство обрушивались на возражавших и несог-
ласных. К науке его душевные бури отношения не имели,
на науке он не вымещал своих настроений. Двенадцать
же вырванных страниц были как раз наукой — резуль-
таты расчетов и проверок, итоги размышлений и эк-
спериментов. Почему он ополчился на них? Аккуратные

полоски разрезов свидетельствуют, что он работал неторопливо, без ярости, без злости, без раздражения, совершал запланированную операцию, естественную и необходимую.

Допустим, уничтожение данных было, по сути, научной операцией, иначе не понять поступок Кондрата. Но это значит, что сами данные на вырванных страницах не были наукой. Чем же они были? Новой ошибкой Кондрата? Нет, ошибку Кондрат сохранил бы, познание идет через ошибки, Кондрат ценил обнаруженную ошибку, как вежу, указывающую, что в эту сторону дорога закрыта. Он не страшился и не стыдился ошибок, только огорчился, если ошибка была велика. Он вырвал страницы, потому что стыдился их, в них был какой-то укор ему. Они были... обманом, он стыдился, что пошел на обман. А когда мы трое покинули лабораторию, он расправился с письменным свидетельством своего обмана.

«Пока все логично, — мысленно сказал я себе, — только скверно». Что же было предметом обмана? На страницах 123—134 суммировались доказательства, что константа Тэта в сто раз меньше, чем вначале предполагалось. И это было единственно важным на тех страницах. И это единственно важное было обманом. Сознательным обманом, со случайной ошибкой Кондрат так не расправился бы, раскрытие случайной ошибки могло вызвать лишь радость. Но раскрытие обмана порождало стыд, от стыда Кондрат постарался себя избавить.

Теперь следующий шаг: в чем состоит обман? В том, что Кондрат сознательно занижил значение основной константы. В том, что он убедил нас троих в бесперспективности наших работ. Сколько лет жизни, все лучшее в себе Кондрат отдал лаборатории и вдруг стал лгать нам, что лаборатория никуда не годится. Но если его уверения, как и цифры, зафиксированные на пропавших страницах, живы, значит, неудачи в экспериментах нет? Огромные перспективы новых форм энергии не зачеркнуты, они реальны!

Об этом после. Сейчас непосредственное: зачем Кондрат обманул нас?

И на это ответ однозначен: чтобы удалить из лаборатории нас троих. Конечно, мы могли потребовать новых проверок, новых вычислений, новых экспериментов — и обман обнаружился бы. Кондрат действовал безошибочно. Он знал, что мы ему верим. На него работала чудовищность замысла: главный автор изобретения, не терпевший

даже намек на сомнения, с сокрушением признается сам, что допустил непоправимый промах и нас ждет не слава успеха, а позор провала. Как не поверить такому признанию? Правда, задумка сработала не полностью. Адель ушла сразу и без колебаний, увела с собой Эдуарда. Но я остался. Кондрата это не устраивало. Он разыграл скандал, оскорбил меня, заставил уйти. Теперь все в порядке: можно вырвать лживые страницы и продолжать прежние исследования. Ничего не изменилось — провала не будет, ибо провала не может быть.

Итак, Кондрат сознательно удалил нас троих, и один продолжал нашу совместную работу. Чем мы ему мешали? Не только не мешали — помогали, без нас ему было бы значительно трудней. Значит, не хотел, чтобы мы пошли с ним до финала? Не хотел, чтобы мы четверо были равноправными участниками успеха? Задумал забрать себе одному то, что мы создавали вчетвером? Чудовищно, но другого ответа нет!

Волнуясь, я прошелся по комнате. Должен быть другой ответ! Кондрат не мог нас удалить потому, что желал славы только для себя. Признание его собственного значения в науке ему было не так важно, как сама наука. Он не был завистником, нет. Чего-то я не понял. Все верно в моих размышлениях, но последний вывод неверен. Он выгнал меня, но ведь не отменил моего входного шифра, наверно, надеялся, что возвращусь, — это не вяжется с запланированным изгнанием. В какой-то момент я опять свернул с правильной дороги, опять предпочел запутанной, в колдобинах, тропке удобное, накатанное шоссе тривиальных понятий.

Я нажал кнопку дисплея. Надо было зафиксировать программу дальнейших поисков. На экране одна за другой появлялись записи мыслей:

1. Какое значение константы Тэта?

2. Чем занимался в лаборатории Кондрат после ухода нас троих?

3. На что намекал Сомов, связывая портреты двух старых физиков с поведением Кондрата?

4. Гибель Кондрата — обстоятельства и причины.

Я послал просьбу в библиотеку прислать мне труды Фредерика Жолио и Энрико Ферми. В шкафу хранился первоначальный проект ротонной лаборатории, мы составляли его вчетвером и вчетвером подписывали. Все физические закономерности взаимодействия ротон и материальных частиц в атомном ядре разрабатывал сам Кон-

драт, вся математика принадлежала Адели. Проект был на месте.

Вернувшись к себе и снова подключившись к мыслерафу, я углубился в наши старые расчеты.

19

Вероятно, проверка шла бы много быстрее, если бы я вызвал Адель, — и сама она вычислитель иного класса, чем я, и все основные вычисления проделала, и перепроверяла себя неоднократно. Но что-то останавливало меня. Кондрат удалил ее и Эдуарда из лаборатории, он вычеркнул из памяти компьютера их входной шифр. Я помнил, с какой поспешностью и без колебаний он поставил возвращению жены и друга непреодолимый барьер. Теперь это стало барьером и для меня: я не имел права просить помощи Адели, не уяснив, почему она удалена. Правда, и меня Кондрат изгнал. Но была важная разница: Кондрат кричал чуть не с рыданием вдогонку, что навсегда закроет мне вход в лабораторию, но входа не закрыл. Мой шифр оставался в действии — может быть, Кондрат ожидал, что я одумаюсь и прощу безобразную сцену. С Аделью и Эдуардом было по-иному, он чувствовал облегчение, когда они ушли, даже намек на раскаяние я в нем не заметил.

Запретив себе звать Адель, я погрузился в расчеты, какие она могла сделать куда лучше меня. Я повторил ее прежние вычисления, искал математический просчет, прикрытый внешней аккуратностью. Я делал ту же работу, что и она, но делал независимо, даже отказался от параллельной сверки результатов. Тетрадь с расчетами Адели лежала на столе, я запретил себе раскрывать ее, пока все не закончу. И вычислял я иначе, чем Адель. Профессиональные вычислители имеют свои приемы, они что-то упрощают, через какие-то ступеньки перепрыгивают. Мастерство Адели слагалось из множества отступлений от школьных правил, одно из таких отступлений и могло породить неприметную ошибку, ставшую в конечном итоге роковой. Так я думал, возобновляя давно проделанную работу, и, в отличие от Адели, не позволяя себе ни малейшего нарушения норм.

Когда я сравнивал, что получилось у меня, с тем, что было у Адели, меня охватило новое чувство к ней. Я всегда уважал ее дарование вычислителя, ее профес-

сиональное мастерство. Теперь уважение превратилось в восхищение. Я был растроган, так все оказалось изящно и безошибочно в каждой странице формул и цифр. Конечно, уважение и восхищение — чувства деловые, они сопровождают профессиональную оценку профессионального умения, а растроганность из иной области — это чувство не корректное. Но я ничего не мог поделать. Когда-то я был влюблен в Адель, но никогда по достоинству не принимал ее как ученого, так мне увиделось ныне.

— Ошибка не связана с работой Адели, — сказал я для записи мыслеграфа. — Кондрат правильно говорил, что Адель ни в чем не погрешила. Теперь — константа Тэта. В ней корень зла. Восстановить утраченные страницы 123—134 и проанализировать их содержание.

Утраченные страницы возобновились в моей памяти так ясно, словно лежали на столе и я рассматривал их, а не вспоминал. Я мысленно перелистывал их, всматривался в формулы и цифры. Мыслеграф закреплял на пленке все, что восстанавливала мысль. Отныне, вызывая на экран изображение, я смогу уже не тратить на каждую страницу мыслительных усилий. Меня снова и снова охватывало ощущение, с каким я тогда, под сумрачным взглядом Кондрата, под полными отчаяния и надежды взглядами Адели и Эдуарда, старался вдуматься в эти страницы. Они были убийственно неопровержимы: константа Тэта, определяющая микророждение пространства при облучении ядра ротонами, эта открытая Кондратом новая мировая константа ровно на два порядка, ровно в сто раз меньше, чем мы рассчитывали. Возобновившиеся в моей памяти страницы обладали какой-то магической силой, они заставляли верить в себя.

Но сейчас, в отличие от того дня, когда я впервые вглядывался в эти страницы, я заранее знал, что в них таится путаница, не исключен и обман. И твердил себе: только обман, только стыд, что понадобилось нас обмануть, мог заставить Кондрата вырвать эти страницы из журнала. Я ставил перед собой вопросы и отвечал на них, я спорил сам с собой.

«Не могло ли произойти так, что Кондрат сам обманулся, а потом сам же обнаружил свою ошибку и в ярости уничтожил следы самообмана?»

«Нет, не могло, Кондрат бросился бы к нам, увидев самообман, он снова призвал бы нас троих в лабораторию, он ликовавал бы, что путь к успеху по-прежнему реален. Вот так бы он поступил. Этого не было — вспомни!»

«Но все данные так дьявольски доказательны. Вот я снова вглядываюсь в уже не существующие страницы...»

«Их несуществование и доказывает их недоказательность. И еще одно: не подозрительно ли само по себе абсолютное правдоподобие данных? Хоть бы щелочка для сомнения! Хоть бы признак неточности! Нет, все рассчитано — оглушить неожиданным набором доказательств, но не дать по-настоящему разобраться. Если бы Адель с Эдуардом остались, если бы тебе не пришлось уйти, такая проверка неизбежно бы совершилась и обман или самообман столь же неизбежно раскрылся бы».

— Значит, так, — вслух приказал я себе. — Ты с напряжением вспоминал утраченные страницы журнала. Теперь забудь их, они не должны возобновляться в твоём мозгу. И проделай такую же работу, как с вычислениями Адели. Восстановив все, что Кондрат вносил на изъятые страницы. Сам определи истинное значение Тэта по его экспериментам. Так ты записал в первом пункте своей новой программы поисков. Выполняй!

Была ночь. Отключив мыслеграф, я пошел домой.

20

Не помню, какой был день расследования — пятый или шестой. И какая была в тот день погода, тоже не помню, хотя мне всегда было безразлично, что там, за окном: дождь или солнце, ветер или тишина, тепло или холод. Внешний мир отстранился от меня, я допрашивал показания приборов, программы компьютеров, энергетические выдачи установки, перелистывал ленты самописцев, вдумывался в команды исполнительных механизмов...

И когда и этот труд был завершен, я некоторое время молча смотрел на результат. Ошибки в первоначальном определении Тэта не существовало. Все прямые, все косвенные данные экспериментов подтверждали константу, положенную в расчет установки. Кондрат переместил несколько цифр в записи — совсем незаметное изменение, маленькая подтасовка, а в отдаленном итоге она и дала уменьшение в сто раз. Все было заранее продумано. Кондрат не сомневался, что в спешке и в волнении я и не подумаю обратиться к лентам самописцев, не буду сравнивать кривые на диаграммах с цифрами в журналах. Какими же белыми нитками сшита черная

сеть обмана! Немного бы тщания, и все хитросплетения выводов рухнули бы, как подрубленное дерево. Нет, Кондрат действовал безошибочно. Чтобы раскрыть обман, надо было заранее знать, что обманывают, подвергнуть проверке не выводы из цифр, а сами цифры, усомниться в главном: точно ли записаны эксперименты? Тогда я и помыслить не мог об обмане, на этом и был построен обман. И если бы Кондрат не вырвал страницы с фальсифицированными данными, я бы и сейчас верил им, я бы и сейчас с горечью признавался: да, никогда человечество не получит новые источники энергии. Вот они вспыхивают на экране, восстановленные в памяти страницы,— как они неопровержимо доказательны!

Я откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Я чувствовал себя опустошенным, но не испытывал ни возмущения, ни негодования. Получилось то, что я предугадывал. С того момента, когда я увидел вырванные страницы и узнал, что вырвал их Кондрат, я уже подозревал истину. На душе было горько, а не злобно.

Внезапно прозвучал вызов. На экране появилась Адель.

— Ты в лаборатории, Мартын? — Она неприязненно всматривалась в меня. — Что ты там делаешь?

— Многое, Адель. Всего сразу не расскажешь.

— Расскажи главное.

— При встрече — пожалуйста. Не люблю экранных бесед.

— Тогда пошли разрешение на вход для меня и Эдуарда. Через десять минут мы придем в лабораторию.

Они пришли через десять минут. В Адели идеально совмещались женственная внешность с неженской точностью. Она вошла первой, за ней плелся Эдуард. Я встал им навстречу, протянул руку. Она сухо коснулась моих пальцев, он так долго жал их, словно что-то хотел перелить из моей руки в свою. Потом он плюхнулся на диван, а она встала у окна на любимое место — дневной свет, сегодня довольно тусклый, красочно, как и раньше на этом месте, высвечивал половину лица и фигуры, вторая половина была затенена, так ей почему-то нравилось.

Эдуард выглядел каким-то разваренным, и я посочувствовал:

— Как будто только что слез с горы. Ты, случаем, не с Эвереста или Килиманджаро?

Он проворчал:

— От Боячека. В Гималаях чувствую себя гораздо легче, чем в кабинете нашего дорогого президента. Старика сдвинуть с позиций трудней, чем переместить Эверест из Азии в Африку.

— А пробовал передвинуть Эверест?

— Говорю тебе, я пробовал передвинуть Боячека. Это хуже...

Адель прервала наш разговор:

— Мартын, ты, кажется, осваиваешь место начальника Лаборатории ротоновой энергии? Каковы же успехи? Чему ты ухмыляешься?

Она явилась чего-то властно добиваться. Я видел ее насквозь.

— Дорогая Адель,ними фильтры с глаз,они показывают неверную картину.

— Разве ты не за столом Кондрата? И разве тебя не осеняют лики великих святых науки? — Она показала на портреты Ньютона, Эйнштейна, Нгоро и Прохазки. — И вид — самый начальственный.

— Руководящий, — важно добавил Эдуард. — Между прочим, Мартын, я всегда был уверен, что ты создан для руководства. У тебя, знаешь, такие директивные...

— Глаза, — подсказал я.

— Нет, не глаза. Впрочем, глаза тоже. Я имел в виду жесты, слова. В общем, поступки. Мы с Аделью так поняли твой приход в лабораторию, что теперь будешь возглавлять ее ты. Допустишь и нас? Или подтвердишь изгнание?

— Вы хотите вернуться в лабораторию?

— Да, — ответила Адель. — Несчастливые изгнанники — роль не для нас. Ты ведь вернулся.

Пока она говорила, я торопливо обдумывал, как держаться. Их приход был неожиданным, неожиданным было и желание вернуться в лабораторию. И я не знал, что сказать о своем появлении в ней. Где мера той откровенности, какую могу разрешить себе? Я осторожно начал:

— В общем, конечно, Кондрат нас прогнал. Но Кондрата нет. И лаборатории нет. Куда вы собираетесь возвратиться?

— Туда, куда воротился ты, — ответила Адель. — Ты в лаборатории, ты сидишь за столом ее бывшего руководителя. Значит, лаборатория есть.

— Я сижу в лаборатории, но, повторяю, лаборатории нет.

— Тогда зачем ты появился здесь?

На это я мог ответить открыто:

— Ларр и Сомов предложили мне расследовать обстоятельства катастрофы — вот почему я за этим столом. С возобновлением экспериментов это не связано.

— Ларра и Сомова не устраивает заключение комиссии, расследовавшей катастрофу?

— Оно им кажется недостаточным, Адель. Они хотят услышать мнение человека, долго работавшего в лаборатории.

— Логично. Но мы с Эдуардом тоже работали в лаборатории. Почему обратились к одному тебе?

— Об этом надо спрашивать не меня, а их. Я не знаю, почему они выбрали меня, а вас игнорировали.

— Но ты бы мог сказать, что без нас расследование будет неполным, что и наше мнение имеет немаловажное значение. Почему ты этого не сделал, Мартын?

— Конечно, я должен был вспомнить о вас, когда меня вызвали Ларр с Сомовым. Но я не вспомнил. К сожалению, было так.

— Ты понимаешь, что твой ответ несерьезен?

— Другого у меня нет.

Она долго не отрывала от меня гневного взгляда. Эдуард молчал. Он как бы показывал, что и сам разговор, и результаты разговора его занимают мало. Уверен, что в эти минуты он размышлял о чем-то постороннем.

— Хорошо, примем, что серьезного ответа на серьезный вопрос у тебя нет, — снова заговорила Адель. — Ответь тогда на другой вопрос. Ты не посоветовал привлечь нас к расследованию, но разве не мог информировать о нем? Вызвать если не для дружеской, то хотя бы для официальной беседы? Или и на это не можешь ответить?

— На это — могу. Я собирался просить вас к себе, когда для меня картина катастрофы разъяснится.

— А картина, естественно, темна, раз ты нас не вызываешь. И нам пришлось самим напроситься на прием.

Я игнорировал ее иронию и ответил как можно более дружески:

— Ты права, Адель, катастрофа для меня пока темна. Загадка гибели Кондрата остается загадкой.

— Ты уверен, что удастся разъяснить эту загадку?

— Надеюсь на это.

— Хорошо. С Кондратом понятно. Он погиб, причины гибели остаются теми же, какие указаны официально:

неосторожное включение линии высокого напряжения на горючие материалы. Так?

— Не просто горючие, а взрывчатые.

— Пусть взрывчатые. Оставим на время трагедию Кондрата. Вернемся к ней, когда ты бросишь на нее свет. Не возражаешь поговорить о другом?

— Как я могу возражать, не зная, о чем это «другое»?

— Не притворяйся. Ты знаешь, о чем я буду спрашивать! Так или не так?

— Так. Знаю. Спрашивай.

Адель все же помедлила. Я внутренне сжался. Она еще не понимала, что я не смогу честно ответить на то, о чем она спросит. На мне железной цепью висел обман Кондрата. Пока я не дознался, почему он обманул нас, я не мог прямо сказать им обоим, что был обман. У Кондрата, несомненно, возникли важные причины для удаления нас из лаборатории, более важные, чем наука, чем наша дружба, чем его чувство к Адели, наконец. И я еще не знал, что честней, что нужней: раскрыть обман или умолчать о нем. Прикрыть один обман другим я не мог. Честно во всем признаться — не смел.

Адель задала вопрос так резко, как если бы наносила удар:

— Мартын, только правду: не было ошибки в экспериментах? Не было того провала, каким сшеломил нас Кондрат?

Я постарался хоть на минуту ускользнуть от прямого ответа.

— Какие у тебя основания спрашивать об этом?

— Ты заменяешь ответ вопросом. Хорошо, я отвечу тебе. И ты, и Кондрат, конечно, понимали, что, уйдя из лаборатории, я снова проверю свои вычисления. В них не было ни малейшей ошибки, я это установила окончательно. Вот мои основания для вопроса.

— И Кондрат говорил, что в твоих вычислениях нет погрешностей. И что просчет в неправильном определении величины Тэта. Эксперименты подтвердили, что надо исходить из нового значения константы.

— Это ты подтвердил, что эксперименты подтвердили? Не забывай, пожалуйста, что ты проверял записи.

— Не забываю.

— Ты тогда объявил нам: эксперименты свидетельствуют, что Тэта в сто раз меньше, чем первоначально принята.

— Все верно. Записи в рабочем журнале показывали, что константа иная, чем мы считали.

— Я снова повторяю вопрос, от ответа на который ты уклонился: не было ли ошибок в самих экспериментах? Правильно ли вписали в журнал данные?

На это я ответить не мог. Я старался не глядеть Адели в лицо.

— Воздержусь от прямого ответа на твой прямой вопрос.

— Почему?

— И на это не отвечу. По крайней мере, пока не закончу расследование. Тогда, возможно, что-то скажу.

— Возможно или навверное что-то скажешь?

— Этого сейчас не знаю.

Она повернулась к молчаливому Эдуарду.

— Ты слышал, Эдик? Я говорила тебе, что и в нашем устранении из лаборатории, и в самой гибели несчастного Кондрата скрывается тайна. Ты и теперь не веришь, что я права?

Он нехотя откликнулся на ее взволнованное воззвание:

— Ты хотела спросить о журнале, помнишь?

— Помню. Мартын, я не экспериментатор и должна тебе верить во всем, что относится к лабораторным работам. Но мы с Эдиком хотим сами взглянуть на рабочий журнал, который ты так внимательно изучал в тот день.

Я чуть не застонал от душевной боли. Я не мог исполнить ее требование и не мог объяснить, почему не могу исполнить.

— К сожалению, должен отказать в твоей просьбе, Адель.

— Требования, а не просьбе, Мартын.

— И в требовании отказываю.

— Тогда разъясни — почему?

— И этого не скажу. Кончим на этом, друзья. Ваши вопросы подошли к той грани, за которой я не могу и не хочу ничего говорить. Наберитесь терпения — одно могу посоветовать.

— Набраться терпения? И сколько, дорогой Мартын? Килограмм, тонну? Или километр? На месяц, на год? На десять лет, если измерять терпение в единицах времени? Не откажи в любезности разъяснить.

Я молчал. Адель обернулась к Эдуарду.

— Что будем делать, Эдик? Набираться терпения, не зная даже, в каких единицах оно измеряется? Или настаивать на раскрытии всего, что от нас утаивают?

— Пойдем к Ларру или Сомову, — произнес Эдуард. — Руководители института поставят Мартына на место.

Она зло рассмеялась.

— Не поставят, а посадят. Вот он уже сидит — на месте начальника лаборатории. Это место для него заранее предусмотрено. Не будь наивным, Эдик. Сомов скажет тебе не больше того, что говорит Мартын.

— Но Мартын ничего не говорит.

— Значит, и Сомов ничего не скажет. Но если они молчат, то говорить будем мы. У нас есть что сказать и Сомову, и тебе, Мартын. Будешь слушать нас? Отвечай — будешь слушать?

— Буду, — сказал я.

— Тогданими датчики мыслеграфа, они торчат над твоими ушами, как дьявольские рожки. То, что я теперь скажу, предназначено только для тебя, а не для Сомова, с которым ты спелся. С ним побеседуем особо.

— И без меня?

— Естественно! Но он с тобой поделится, не расстраивайся!

Решительно не понимаю, почему она так взъелась на запись разговора. Во всем, что она потом говорила, не было и слова, запретного для записи, — ни брани, ни оскорблений. И она с блеском продемонстрировала в почти часовой речи лучшее, чем обладала: свою логику. Речь была построена совершенно и прозвучала бы абсолютно убедительно, если бы не один изъян: безукоризненное логическое здание было выстроено на фальшивом фундаменте. И этого одного — что она исходит из ложных посылок — я объяснить не мог, именно это надо было скрывать. Я молчал и слушал. Она все больше воспламенялась от своих слов, а я молчал и слушал.

— Я уже давно заметила твое странное отношение к нашим исследованиям, — так она начала. — Ты первый нашел, что ротоновые ливни из вакуума способны менять микропространство в атомном ядре, и этим указал реальный путь к овладению новой формой энергии. Как бы вел себя нормальный человек — я, Эдик, сам Кондрат, наконец, — совершив такое открытие? Безмерно бы гордился собой, ликовал, торопил эксперименты. А как вел себя ты, Мартын? Даже не радовался — хмурился, а не сиял. Один среди нас впал в неверие! И когда поставил в универ-

ситетской лаборатории опыты с ротонами, вспомни, как они шли. Плохо шли, ничего не получалось! И если бы Эдуард не устроил нам приглашения в Объединенный институт, никто бы не узнал о твоей замечательной находке. Ты мешал самому себе, так странно, так удивительно странно ты вел себя!

А что было потом, в стенах Объединенного института? Вспомни, что было потом? А не хочешь вспоминать, мы напомним. Та же загадочная холодность. То же необъяснимое нежелание успеха. Кондрат горел. Эдик и я были полны энтузиазма, а ты? Трудолюбиво выполнял задание — и только, Мартын, и только! А когда мы радовались, что вот уже не за горами признание и слава, ты молчаливо усмехался. Ты не видел своей усмешки, но мы видели — недоверчивую, почти недоброжелательную. Мы думали тогда: ты такой — ироник, скептик, да и не честолюбив, что с тебя взять. А ты — другой, не тот, каким видим тебя, каким видел тебя Кондрат, вообразивший в тебе все человеческие совершенства и благородства.

Одна я смутилась, когда ты отпустил Эдуарда, — говорила Адель. — Ну, не отпустил, отпускал Кондрат, но разве не ты заверил, что временно обойдемся без Эдуарда? И объявил это перед пуском роторного генератора. Никто из нас троих не знал, что пуск — вот-вот, а ты знал и скрыл, чтобы Эдуард успел уехать. Зачем ты так поступил? Да, все верно, Эдуард был в смятении, надо было успокоить нервы, но ведь никто не мог гарантировать тогда, что генератор сразу пойдет. И ты отпускаешь его в такую минуту! Каждый отчаянно нужен, каждая пара рук, каждая голова, а ты отпускаешь Эдуарда! Как это понять? Равнодушие к делу, так объяснил себе Кондрат твой поступок и поссорился с тобой, а я вас мирила. Разве не так? А ведь было не равнодушие, было гораздо хуже! Так те дни видятся сегодня, только Кондрат не проник тогда в твои тайные цели, и очень жаль, что не проник!

И мне была темна твоя душа, — продолжала Адель. — Я нашла простое объяснение — ты завистлив. Ты ловко обеспечил уход Эдуарда, чтобы было меньше претендентов на славу. Маленькое тщеславие маленького человечка, таким ты мне вообразился. Я говорила это Кондрату, он возмущался, он считал тебя чуть ли не научным титаном, не раз повторял мне, как счастлив, что довелось работать с тобой. А как тебя ценил Эдуард! Он говорил, что ставит

тебя наравне с Кондратом, даже выше. Да, я ошибалась тогда, ты не маленький человечек, Мартын, ты крупная личность, но крупный не той величиной, какую тебе приписывали. В тебе не дружба, а недоброжелательство, ты мастер зла, вот твоя натура!

По-настоящему я поняла тебя после возвращения Эдуарда. Все сразу пошло по-другому. Нет, внешне ты не переменялся, ты умело таишь сокровенные помыслы. Но Кондрат стал иным. И утверждаю — под твоим воздействием! Вспомни, так хорошо шла работа, но вернулся Эдуард, и одолели неполадки. Не он вызывал их, но неполадки были связаны с его появлением. Эдуард был нежелателен тебе и Кондрату — вот причина того, что эксперименты залихорадило. А вскоре стала нежеланна и я. Я сказала «тебе и Кондрату», поправляюсь: тебе, а от этого и Кондрату. Ты стал его злым гением. Ты одолел его духовно, он глядел на мир твоими глазами. Он не раскрыл главного в тебе — твоего двуличия. Я однажды сказала Кондрату, что в тебе скрытое недоброжелательство, ты хотел меня в жены, а я отказалась, и ты не простил ни мне, ни Кондрату, что я отвергла тебя ради него. Кондрат обругал меня дурой, больше месяца мы разговаривали с ним только в лаборатории, а дома молчали и отворачивались один от другого.

А затем возникла проблема константы Тэта. Яд сомнения, впрыснутый тобой в Кондрата, дал результат. Кондрат стал выискивать причины неполадок не в твоих ротовах, а в своей идее. Уверена, что он в те дни потерял способность хладнокровной оценки экспериментов. А каким он стал невозможным для общения! Он избегал меня, старался не встречаться с Эдуардом, лишь с тобой как-то держался. Тот свод экспериментов в журнале, показанный нам, был актом отчаяния. Кондрат когда-то невольно акцентировался на удачных данных, теперь, расстроенный, акцентировал данные плохие. Но окончательную оценку он предоставил тебе. Помню, отчетливо помню, как ты перелистывал страницы: мы не дыша глядели на тебя, а у тебя были отсутствующие глаза, ты смотрел в журнал, а думал о другом. И что ты сказал потом? Я ждала, Эдик ждал, что скажешь единственно разумное: да, цифры нехороши, но надо их досконально проверить, не будем пока принимать других решений. И если бы ты сказал так, то не было бы никакой ссоры, ни мне, ни Эдуарду не пришлось бы уходить из лаборатории. Я обвиняю тебя, что ты давно хотел нашего ухода и думал только об этом,

когда притворялся, что оцениваешь записи в журнале. И ты нанес свой безошибочный удар. Ты объявил, что константа Тэта преувеличена в сто раз! И мы с Эдуардом покинули лабораторию.

Адель минуточку помолчала, она задышалась от негодования. Справившись с дыханием, она продолжала:

— Коварный замысел отстранить двух нежеланных товарищей удался. Но это лишь часть замысла. Надо довершать задуманное — отстранить и самого Кондрата. До меня доходили сообщения, как вы оба ведете себя в лаборатории. Кондрат страдал, ты оставался безмятежно спокойным. Он начинал что-то новое, пытался обойти по кривой неудачу с константой. Ты наблюдал за Кондратом, но и не думал помочь, тебя не устраивал успех его новых начинаний. А потом ты увидел, что Кондрат встал на правильный путь, но путь опасен, новые эксперименты могут вызвать аварию. И ты подстроил новый скандал: поссорился с Кондратом, ушел из лаборатории, взвалил на Кондрата непосильную для него заботу — твой ротоновый генератор. Финал был неизбежен: один Кондрат не справился с новыми экспериментами — и погиб!

Я все же набрался сил промолчать. Мое молчание убеждало ее в моем бессилии. Она взвинчивала себя все больше.

— Ты долго держался в стороне, — говорила она, — но гибель Кондрата открыла тебе дорогу. Ты убрал все препятствия к единоличному торжеству, ты возвратился в лабораторию. Глупости, что было настоящие Ларра и Сомова. Для дополнительных расследований надо приглашать нас всех, не одного тебя. Нет, ты вернулся один. Не расследовать трагедию, а восстановить лабораторию! Для себя одного восстановить, только для себя. Мы с Эдуардом ждали весточки, ждали вызова. И, как видишь, не дождались — пришли сами. И требуем ответа: что ты здесь делаешь? Почему отстраняешь нас?

Я сказал холодно:

— И на этот вопрос ответа не будет.

Эдуард решил, что пора и ему вмешаться:

— Мартын, прекрати! Мы имеем право спрашивать, ты обязан отвечать. Лаборатория ротоновой энергии — наше общее детище. Разговор служебный, а не личный.

— Именно потому, что служебный, а не личный, я не хочу вести его. Если недовольны, обратитесь к Сомову. Служебными делами занимается он.

Адели почудилось, что она обнаружила во мне слабинку.

Она отошла от окна, приблизилась к столу. Эдуард поспешно вскочил, он подумал, что она хочет меня ударить. Но она с ненавистью проговорила:

— Вот как, служебные разговоры не ведешь! А личные? Может быть, скажешь, как бывший друг Эдуарда и мой и как мой бывший неудачливый поклонник?.. Что лично, что неслужебно думаешь о нас?

Она и отдаленно не подозревала, какое принесла мне облегчение, предложив перейти от служебных отношений к личным.

— Об Эдуарде мне нечего говорить. Он молчал. Не знаю, что означало его молчание — полное ли согласие с тобой или осуждение твоей ярости. Но тебе могу сказать, как твой бывший друг, как твой бывший поклонник, как человек, радующийся, что ему не выпала тяжкая доля быть твоим мужем. Кондрат в раздражении обругал тебя дурой. Ты не дура, конечно. Ты умна, ты знающа, очень талантлива. Для тебя надо искать другие характеристики, брань не подойдет. Я слушал тебя и думал, кто же ты, — и понял! Раньше были такие понятия: мещане, обыватели, филистеры. Сейчас нет обывателей, нет мещан, никто свои мелкие житейские интересы не превращает в способ всеобщей оценки, не делает свое маленькое удобство центром мироустройства. Но исключения попадают. Ты такое исключение. Ты мещанка в мире, где нет мещан. И все, что ты говорила мне, — мещанские мысли, мещанские чувства. Больше ничего не скажу, чтоб не выйти из круга личных отношений.

Она порывисто подошла к Эдуарду.

— Эдик, уйдем. Нас вторично изгоняют из этой лаборатории.

Он все же на прощание кивнул мне. До него что-то дошло, чего она не была способна понять.

Лишь минуту я отвел себе, чтобы успокоиться, — удивленно улыбался, пожимал плечами. Еще несколько дней назад такой разговор надолго выбил бы меня из душевной устойчивости. Не хочу лгать: было неприятно, что не могу ответить на острые вопросы, было стыдно, что пужно что-то скрывать, но и все! Гнев Адели, ее возмущение не трогали меня, бурный поток ее эмоций мчался стороной — принимать это близко к сердцу не хотелось. Хо-

телось одного: чтобы они поскорей ушли и можно было забыть об их приходе. Они ушли, и я забыл, что они только что были.

Вероятно, глубоко коснулось меня лишь то, что Адель говорила о новых экспериментах Кондрата, когда он остался вдвоем со мной. Она знала, что он ставил эти новые эксперименты, знала, что в них что-то важное, может быть, решающее. И она связала их с попыткой преодолеть неудачу определения Тэты. Она уловила важность новых опытов, но не разобралась в них. Опыты не могли исправить ошибку, ибо не было ошибки, они совершались для чего-то другого. И еще не знала Адель: что и в моей программе расследования я уперся в эти новые опыты и уже предвижу в них разгадку трагедии.

Они ушли, я мог двинуться дальше. Настал черед дневников Кондрата. Но я медлил. Мне хотелось повторить этап за этапом, шаг за шагом пройденный путь. Я включил запись мыслеграфа.

Пленка заговорила моим голосом. Я молчал все эти дни, я размышлял, перекатывая в голове мысль за мыслью, и звучащая пленка доносила сейчас моим голосом мои мысли. Два раза их прерывал голос Карла-Фридриха Сомова, звучали голоса Кондрата, Адели и Эдуарда, но не реальные, а преображенные, посторонние голоса, возобновленные мной по-своему. Два раза я смеялся: слишком уж карикатурно искажались голоса друзей во время споров и стычек. Пристрастен ты, дьявольски пристрастен, упрекнул я себя, не только неприятные мысли не принимаешь, но и голоса, высказывающие эти мысли, делаешь малоприятными. Упрек не превратился в огорчение, все люди пристрастны. Как скверно прозвучал бы мой собственный голос, перейди он из мозга Адели и Кондрата на пленку мыслеграфа.

— Итак, все проясняется, — подвел я итог шестидневной записи. — И ты высветляешься, друг мой Кондрат, но каким хмурым светом!

Снова папялив датчики мыслеграфа, я достал дневники Кондрата — всего три книжечки, свободно уместающиеся в кармане. Кондрат настоящих дневников не вел. Он не умел описывать событий, ему трудно было излагать даже собственные идеи. Дневники, насколько я понимаю, пишутся для последующего чтения, они вроде гладкого шоссе воспоминаний о том, что совершалось. Если уж придерживаться сравнения с дорогой воспоминаний, то в дневниках Кондрата самой дороги не было, одни дорож-

ные знаки, да и не все, а самые важные — там круто повернуть, впереди опасный уклон, а здесь, черт их дери, ухабы. Свои мысли Кондрат не разъяснял, лишь ставил веху, что возникла мысль, надо к ней вернуться и развить. А к чему вернуться и что развивать, это он зачастую забывал сделать понятным даже для себя. И я с улыбкой вспомнил, как однажды он вошел ко мне с раскрытой книжицей и, тыча пальцем в страницу, сердито заговорил:

— Мартын, одна надежда — ты! Я тут какой-то вздор написал — убей, не пойму. Не то очень важное, не то пустяк. Разберешь?

— Итак, какой-то вздор, то есть не то очень важное, не то пустяк,— повторил я и взял дневник. На страничке значилось: «Семнадцатый. В лоб или по лбу».

Недели за две перед тем мы ставили опыты по повышению выдачи энергии, Адель нумеровала их, но для себя в журнале мы отмечали даты, а не номера. И во время одного из опытов, кажется пятнадцатого по нумерации Адели, она предложила круто поднять выдачу энергии, чтобы, мол, ударить Сомова в лоб нашим успехом. Я поправил: не в лоб, а по лбу. Кондрат объявил, что ему безразлично, в лоб или по лбу, лишь бы крепко. И внес в дневник программу для семнадцатого опыта в такой сокращенной редакции. А назавтра забыл ее и прочел, когда шел опыт двадцатый.

— Чепуха, а не важное,— с огорчением констатировал Кондрат, когда я объяснил запись.— А без тебя бы мучился, что такое «по лбу». Мартын, ты рожден быть ученым секретарем в большом научном учреждении. Вот ходил бы за мной или Эдуардом и переводил наши путанные проекты на точный язык. У тебя бы получилось.

— Считаешь, что физика из меня не получается?

— Физик ты хороший. Ничуть не хуже, чем ученый секретарь.

Две первые книжицы дневников относились к тому периоду, когда я монтировал роторный генератор, а Кондрат строил энергетическую установку. Сплошь сумбурные записи. Одна, правда, меня развеселила — вполне в духе Кондрата напоминание о том, что он в запарке мог позабыть. «Пообедать» — так он предписал себе на одной странице. Предписание относилось и к следующему дню — как видно, в следующие дни предвиделось много дел. В полной записи значилась немалая программа:

«Мартын — нажать, лестница, два кабеля, пообедать, Адель отослать домой». Уж не знаю, как он собирался на меня «нажать», когда собирался отослать Адель домой и какая история случилась с лестницей, но что события предстояли чрезвычайные — в их числе и обед, — явствовало уже из того, что понадобилось их заранее расписать. Что-либо важного для себя в тех первых двух книжках я не нашел.

Третья вводила в тайну. Третью Кондрат начал после возвращения Эдуарда. И первые страницы были об Эдуарде. Записей было мало: слова, не выстроенные в предложения, восклицания, предписания себе, что-то начатое и неоконченное — воистину вежи на пути мыслей и поступков, когда самой дороги нет, но указатели подготовлены. Мне все было понятно, все с щемящей сердце отчетливостью ясно, я ведь сам в эти дни раздумий повторил почти весь проделанный Кондратом путь — в конце завершающей точкой значилась его гибель.

«Эдуард. Потолстел. Не жрал ли гарпов?» — не то удивление, не то издевка. Скорее, удивление, Кондрат не был способен на сарказм, а удивление знал, это чувство творческое, типичное у настоящего ученого, прикасающегося к загадке.

«Биологические генераторы полей! Непостижимая реальность!» — следующая запись.

И снова о том же:

«Загадка не в поле, это и у человека. Интенсивность поля! Точно не установил. Плохой экспериментатор лезет в воины. Напрасно летал на Гарпию».

И опять Кондрат возвращается к интенсивности полей, генерируемых организмом гарпов. Это была самая странная запись.

«В каких единицах? Человек — чудо. По интеллекту животные равноценны. Человек на сто порядков интеллектуальней быка или птицы. Ни бык, ни орел не создадут, убей их, интегрального исчисления, не нарисуют Мадонны Рафаэля. Гарп на столько же порядков выше всех животных мощью полей. Чудо. Иная ветвь мировой эволюции. Прыжок на другую дорогу. Эдуард дурак. Не разобрался».

Пометка того же дня:

«Дурак. Опасный. Ничего не создал, может все уничтожить. Обрубит поворот эволюции. А если поворот уникален? Один во всей Вселенной? Ферми и Жолио — с кем мне? Какова мера жертвы?»

Мысль Кондрата, поначалу чуть ли не философски обобщенная, понемногу приобретает векторную направленность.

«Помощь для преступления! Отказал. Найдет?»

«Не брать в лабораторию. Поговорить с Мартыном».

«Мартын чистоплюй. Близорук. Надавать бы пощечин! Без большой обиды чтоб. А Эдуарда — коленкой. Как?»

«Снова — нужно неизвестное оружие. Намек? Осматривал установку, запретил лезть наверх. Впредь — никому, даже Мартыну! А что толку?»

«Опять лез. Прогнал. Догадывается? Пусть сидит за расчетами».

«Мартын о габаритах. Не открываться».

«Мартын берется уменьшить габариты до переносных. Передвижные генераторы энергии! Черт бы его побрал, вдруг сделает? Еще наболтает Эдуарду».

«Удалить. Адель подозревает. И ее? Открыться Мартыну?»

«Чистоплюй. Разыграет простодушие».

«Радикальное решение. Остальное — без эффекта».

«Радикальное решение. Только!»

«Тэта. Но как?»

Пропуск, судя по датам, в несколько дней. Потом:

«Завтра. Взять себя в руки. Взять! Не перейти — прыгнуть через Рубикон!»

«Мартын. Не знаю, не знаю! Без него нельзя. А с ним?»

«Мартын остался. Верить ему? А без него как?»

«Сам ушел. Может, вернется? Шифр оставил. Воротится — расскажу. Пока один — побольше бактерий, насекомых, споры. Список и срочно затребовать. Может, ошибаюсь?»

Я откинулся на стуле, закрыл глаза. Вот так оно, стало быть, и совершалось, дорогой мой Кондрат! Сперва удивился природе гарпов, и на какое-то время это было главным — непостижимая физика генерирования в организме мощных силовых полей. Пытливость ученого — исследователя физических процессов. А потом — наряду с пытливостью — возмущение и страх, чувства совсем иного порядка, чем научная любознательность. Эдуард требует помощи для войны на Гарпии, ты возмущаешься и страшишься, что он наши находки использует как новое оружие, запрета на которое еще нет, ибо эти находки еще не оружие, а только могут им стать. Ты вспоминаешь о мерах безопасности в наших

экспериментах. Было, было такое опасение, что разнообразные излучения, порожденные вторжением ротонов в атомные ядра, могут стать гибельными для организма. На установке надежная защита от попутных вредных излучений, и сама установка нетранспортабельна, это не орудие боя. А если сделать ее транспортабельной? А если счесть попутное главным — пренебречь выдаваемой полезной энергией ради убийственного излучения? Не станет ли тогда мирное сооружение эффективным средством войны? Вот о чем ты меня тогда допрашивал, Кондрат! Я слышал волнение в твоём голосе, но так и не понял, почему волнуешься. Я спокойно ответил тебе, что уменьшение габаритов генератора и установки — нехитрая инженерная задача, берусь это сделать, если надо. Теперь понимаю, почему в тот момент ты так странно, так беспомощно глядел на меня.

Наверное, в этот день ты и надумал ликвидировать наш коллектив. Эдуарда нельзя оставлять, очень уж его заинтересовали военные возможности нашей работы. Стало быть, придется распрощаться и с Аделью, она, ты уже это понимал, не покинет Эдуарда. Ну, а я, дорогой Кондрат? Что надумал ты обо мне? Ничего ты не надумал! Хотел остаться в одиночестве — на свободе проверить, какого ждешь вреда от полезного своего изобретения, — и хотел задержать меня, ибо могли возникнуть непредвиденности с ротоновым генератором, а я все же лучше тебя разбираюсь в физике ротонов. Ты колебался, не открыться ли? Но не открылся, не верил мне. И все вглядывался в портреты двух знаменитых физиков, столь противоположно очертивших свои жизненные пути. Сколько раз я заставал тебя на диване, неподвижного, с глазами, устремленными на эти два одухотворенных лица, чем-то даже похожих одно на другое — худые, тонкие, умные. Почему ты так долго всматривался в этих двух старых физиков? Колебался? Не верю! Ты свой путь избрал сразу, не сомневаюсь в этом! Значит, оценивал меру жертвы, какую потребует такой путь! И старался понять, кто же из них двух принес большую жертву, ибо ни тому, ни другому не пришлось «провальсировать к славе шутя», как с горестной, но гордой убежденностью в своей правоте выразился один древний поэт, не разрешивший себе подобного победного вальса.

Я вскочил из-за Кондратова стола и, как еще недавно он, нервно зашагал по кабинету. При каждом повороте я вглядывался в два портрета. На столе лежала стопочка

книг Энрико Ферми и Фредерика Жолио, присланных мне из библиотеки. Я думал о Ферми. Я не хотел перелистывать его книги, Ферми был ясен. Нет, Кондрат, путь этого человека ты сразу отверг, путь этот был чужд всему твоему естеству. Да, конечно, ты вспоминал, что Энрико Ферми, хоть на несколько часов позже, чем в Париже Фредерик Жолио, первый публично объявил на конференции физиков в Вашингтоне 26 января 1939 года, что цепная реакция деления ядер урана реальна и что при этой реакции выделяется энергии в миллионы раз больше, чем при горении нефти и угля. И что именно Ферми выстроил и 2 декабря 1942 года запустил первый в мире атомный реактор — единственное тогда на Земле инженерное сооружение, дающее энергию не от Солнца и солнечных продуктов — угля, дерева, нефти, горючих газов. И что именно Ферми, страшась, что и немецкие физики, служившие фашистским генералам, создадут атомное оружие, сам пошел на службу к генералам, был одним из творцов первой атомной бомбы. И что именно он, уже после разгрома фашизма, когда можно было обойтись без ядерного страшилища, собственноручной подписью скрепил решение сбросить атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, да еще очень мило сказал: «Нет, но ведь это такая интересная физика, господа!» Больше трехсот тысяч человек погибли в тех двух городах 6 и 9 августа 1945 года, когда над ними запылало чудовищное «солнце смерти», так назвал это изобретение один из соратников Ферми, Роберт Опенгеймер, честно потом признавшийся: «Мы сделали работу за дьявола». Воистину очень интересная физика — «работа за дьявола», «солнце смерти», в тысячу раз более яркое, чем наше солнце, солнце жизни. Сотни тысяч испепеленных, превращенных в пламя и плазму, в газ и пыль, изуродованных, искалеченных, осужденных, кто остался жив, на мучительное умирание — жизнь без жизни. Ты думал об этом, Кондрат, не мог не думать! И не мог не вспоминать, что Энрико Ферми, устрешенный делом своего ума и рук, тихо отдалился от дальнейших работ над бомбой, превратился в смиренного профессора, никаким новым выдающимся вкладом не обогатившего потом свою науку. Он молчал, он был молчалив, этот великий ученый, но ведь не мог же он не числить за собой уничтоженных и искалеченных женщин и детей! Как он справлялся с угрызениями человеческой совести, равно отпущенной и гению, и обывателю? Или совесть бывает безразмерной — одна для обыденности, дру-

гая для событий, провозглашенных великими? Нет, как он мерил свои научные успехи — вдохновением «интересной физики» или «работой за дьявола»? Не всякий венец славы украшает голову, иные ранят больней тернового венца.

— Значит, Фредерик Жолио, — сказал я вслух. — Раз уж ты отверг дорогу, по которой поднялся на вершину мировой славы Энрико Ферми, ты не мог не выбрать противоположный путь — путь Жолио. Давай теперь вспомним, какие жертвы принес на своем пути этот второй научный титан.

И я вспомнил, что еще в начале своей научной карьеры Фредерик Жолио с женой Ирен Кюри открыли искусственную радиоактивность и были за то награждены Нобелевской премией. Я помнил и речь Жолио при вручении премии, в ней были пророчески зловещие слова. Взяв томик Жолио, я раскрыл его на Нобелевской речи. Эту речь Жолио произнес в 1935 году, за три года до открытия ядерного деления. Я прочел заключительные фразы:

«...Мы вправе думать, что исследователи, конструируя или разрушая элементы по своему желанию, смогут осуществлять ядерные превращения взрывного характера, настоящие цепные химические реакции.

Если окажется, что такие превращения распространяются в веществе, то можно составить себе представление о том огромном освобождении полезной энергии, которое будет иметь место.

Но если они охватят все элементы нашей планеты, то мы должны с тревогой думать о последствиях такого рода катастрофы. Астрономы иногда наблюдали, что звезда средней яркости внезапно возрастает по величине; звезда, не видимая невооруженным взглядом, становится сильносветящейся и видимой без инструмента. Это — явление новой звезды. Такое внезапное увеличение яркости, быть может, вызвано подобными же превращениями взрывного характера, которые предвидит наше воображение. Быть может, исследователи попытаются осуществить такие процессы, причем они, как мы надеемся, примут необходимые меры предосторожности».

Я положил книгу на стол. В ней было много статей и докладов — многогранное творчество большого ученого. Но я думал не о научных успехах этого человека, а о его сложном жизненном пути. Нет, Жолио не «провальсировал к славе шутя» и не видел в трагедии одного из

величайших открытий человечества только «очень интересную физику». Он ближе всех физиков мира подошел к созданию ядерного оружия, но не пожелал его создавать, стал возводить, еще до Ферми, атомный реактор, генерирующий энергию, — мирный реактор, не бомбу. Немцы ворвались в его родной Париж, и реактор уже нельзя было конструировать, от него был всего один шаг к ядерной бомбе. Жолио разобрал реактор, сделал невозможным его восстановление. Что ему делать теперь в городе, оккупированном врагами? Он не мог забросить физику — единственную жизненную дорогу, не мог оставить науку о ядре — главную страсть души. Два разветвления давали открытия в атомном ядре: энергия для промышленности и быта и энергия военная, уничтожающая людей. Оба пути были запретны для Жолио — один на время войны, другой навечно.

И Жолио изобретает третий путь поисков — воистину пророческое предвидение грядущих бед. Еще не взорвалась зловеющая бомба, еще не вспыхнуло чудовищное «солнце смерти», еще никто не корчился в радиоактивных ожогах, а Жолио изучает воздействие ядерных излучений на живую клетку, заранее ищет средства вызволения от несчастья, которое, он предвидит, может наступить. Разве он несколько лет назад не объявил в Нобелевской речи, что опыты физиков несут в себе грозную опасность для всех людей на планете, для существования самой планеты? И разве он не выразил надежду, почти мольбу, что они, эти будущие исследователи, «примут необходимые меры предосторожности»? Верил ли он в годы войны, в терзаемом оккупантами Париже, что выполнят его надежду, услышат его мольбу недавние друзья, его соотечественники, его добрые научные соперники, в эти тяжкие военные дни иступленно, он в том не сомневался, конструирующие за океаном чудовищное ядерное оружие? Может быть, и верил — кто знает? Но всю силу ума, всю энергию воли он направил на то, чтобы заранее подготовить помощь, если помощь понадобится. Трудный путь выбрал этот человек — единственный для него путь!

Но вот отгремела война, думал я, шагая по кабинету Кондрата. И вспыхнуло «солнце смерти» над японскими островами — сотни тысяч людей в считанные минуты превратились в пепел, десятки тысяч корчатся, пронизанные смертоносным излучением. Какая громкая слава гремит о людях, создавших неслыханное оружие! Какими пышными венками увенчивают их, великих героев науки, его

недавних друзей, его недавних научных соперников! Всего четыре-пять лет назад они торопились за ним, он тогда вырвался вперед, теперь они торжествуют, что им удалось то, что он сделать не сумел, так им думается о нем. Самый раз показать им всем, что рано хоронить его научный гений! Он снова вырвется вперед, умножит возможности атомного ядра, создаст оружие, перед которым в ужасе отшатнутся и они! Нужно, нужно приступить к такому делу, этого требует величие страны. Правительство Франции в 1946 году вручает Жолио маршалский жезл науки, он в своей стране Верховный комиссар по атомной энергии — возможность реального дела, о которой он не смел и мечтать! И он в декабре 1948 года вводит в эксплуатацию мирный ядерный реактор и с вызовом называет его «Зоэ» — жизнь; единственный в мире реактор, получивший собственное имя. И оно прозвучало пощечиной тем, кто зажег «солнце смерти». Да, да, уже в самом названии реактора обозначался путь, по какому Жолио отныне поведет науку, — жизнь, а не смерть, — и он с него никуда не свернет!

Жолио знает, что правительство Франции не примет его пути. Правительство требует ядерного оружия. Он отказывает правительству, он будет служить только миру, а не войне. Он понимает, что вслед за отказом последует отстранение от всех ядерных исследований, что ему запретят даже появляться в лабораториях, которые он создавал. Он без колебаний приносит и жертву отказа от любимой науки. В газетах вопят, что коммуниста Фредерика Жолио-Кюри наконец с позором выгнали из секретных лабораторий страны. Он принимает как великий почет то, что враги именуют «позором», он уверен, что все честные люди его времени, все последующие поколения увидят в его отказе от науки войны подвиг, а не позор. Ах, как им хотелось, правителям, водрузить на голову великого ученого терновый венец всенародного осуждения. Но они увенчали его короной подлинной славы!

Жолио идет дальше отказа от науки, вспоминал я. Один из организаторов всепланетного движения за мир, первый председатель Всемирного Совета Мира, главный автор знаменитого «Стокгольмского воззвания к человечеству», требующего запретить ядерное оружие как преступное — вот таким он предстает всей Земле. Почти миллиард людей поставили свои подписи под «Стокгольмским воззванием», в каждой подписи — благодарность Фредерику Жолио-Кюри за восстание против ядерного истреб-

ления. И ни один человек не поставил своей подписи под публичной благодарностью тем, кто во имя «очень интересной физики» превращал великие открытия в злоеющие изобретения. Где истинная слава? Где подлинный позор?

Я устал бегать по комнате, сел за стол. Мысли мои от двух знаменитых физиков, двух огромно одаренных людей, столь по-разному выбравших себе дороги славы, столь неодинаковые жертвы принесших на этих дорогах, обратились к Кондрату.

— Теперь я понимаю, Кондрат, — сказал я вслух погибшему другу, — теперь понимаю, почему ты с таким мучительным интересом всматривался в те два портрета. Путь свой ты выбрал сразу. И, оценивая жертвы, которые принесешь на этом пути, допрашивал себя, вынесешь ли такие жертвы? Что ж, ты вынес, что взвалил на себя. Не корю, что среди принесенных тобой жертв и я. Хотя со мной могло быть и по-иному, дорогой мой, бедный мой Кондрат!

22

Собственно, теперь можно было обойтись и без изучения оставшихся страниц дневника. Я знал, что в них будут описания воздействия установки на живые клетки. Для этого Кондрат втайне заказывал наборы бактерий и насекомых. Металлический цилиндр, упавший сверху на меня и вызвавший ссору с Кондратом, содержал, по всему, такую коллекцию клеток или насекомых — Кондрат, со злостью вспоминая летящий и ползающий гнус в лесах его родной Курейки, ныне использовал ненавистных тварей для опытов.

И без особого интереса я стал перелистывать последние страницы дневника. Но с каждой страницей я вчитывался все внимательней. Две мысли вырисовывались у меня, и каждая была неожиданной.

Я должен остановиться на них. Первая — Кондрат кустарь. В каком-нибудь девятнадцатом веке еще могли ограничиться столь бедной программой, столь примитивной аппаратурой, столь несовершенными методами анализа. Кондрат все же не был биологом, и это наложило печать на то, что он делал. Надо было пригласить настоящего специалиста, но он побоялся посвящать посторонних в тайны своих исследований, он уверил себя, что

обойдется собственным умением. Не выше студенческих работ были те опыты, что он поставил.

Такова была первая мысль. Вторая опровергала ее. В примитивную методику Кондрат внес строгую тщательность. Он ставил себе немного вопросов из тех, что возникают при самом поверхностном изучении проблемы. Но элементарные эти вопросы он исследовал не элементарно. Не только спрашивал, но и переспрашивал, заходил к каждому вопросу с разных боков. Он всегда был дотошным и в последнее свое исследование внес полную меру природной дотошности. На главный вопрос: «Может ли наша ротоновая установка стать губительной для живой ткани», он получил исчерпывающий ответ: «Да, может».

И я стал думать о том, что в старину важные открытия часто совершались в плохо оборудованных лабораториях, в результате элементарных опытов. Ибо ставился простой вопрос природе: «Да или нет?»

И она отвечала на простой вопрос простым ответом. Изучение тончайших количественных закономерностей придет потом — в специализированных лабораториях, в роскошных научных институтах. Кондрат в нашем блестяще оборудованном, знаменитом Объединенном институте № 18 проводил свои последние исследования по старинке, стало быть, выше простых ответов подняться не мог — и, как не раз бывало в старину, получил на свой простой вопрос «Да или нет?» точный и грозный ответ: «Да!»

Ему бы остановиться на этом. Все дальнейшее поручить бы специализированной лаборатории. Кондрат в безмерном своем самомнении — либо в столь же безмерном отчаянии? — пошел дальше и погиб!

Последняя запись в дневнике была ключом к тайне трагедии. «Гарпы. Броня, — так записал Кондрат план своего нового эксперимента. — Защитный экран? Короткодействие? Радиус эффекта?» Бедный мой друг Кондрат, ты начал дело не по силам, ты перешел от качественных к количественным экспериментам — не было, не было в нашей лаборатории надежных средств для них! И хоть бы я находился рядом с тобой! Хоть бы я был рядом!

Я бросил дневник Кондрата, выскочил из-за стола. И снова шагал и шагал по его кабинету, гоня от себя горестную мысль, что был бы в лаборатории — и не погиб бы Кондрат.

Взяв себя немного в руки, я вернулся к столу. Настала

очередь официального отчета о катастрофе в Лаборатории ротоновой энергии. Я уже читал его, нового в нем не было. И только на стереографиях, приложенных к отчету, я остановил внимание. Их было четыре, одна — общий вид энергетической установки, три другие — помещение ротонового генератора. Шесть лет я считал это помещение своим единоличным царством, оно и было таким, я властвовал в нем безраздельно. На двух снимках — сам генератор, подсобные механизмы, система автоматического управления, трубопроводы, приемники и излучатели. А на третьем — человек, неосторожно вторгнувшийся в это специализированное царство и заплативший своей жизнью за вторжение: Кондрат — окровавленное лицо, сожженная одежда, изломанные руки, перебитая нога... Я закрыл глаза, перехватило дыхание — так горько, так непереносимо было глядеть на третий снимок!

Спрятав стереографии и отчет в папку, я положил их в ящик стола — они больше не были нужны.

Я вышел из кабинета Кондрата и спустился в нижний этаж, в помещение ротонового генератора. Год я не был здесь, не спускался сюда и всю неделю, что провел в записи воспоминаний и чтении рабочих журналов и дневников. Уже внизу я обнаружил, что забыл снять датчики мыслеграфа, и засунул их в карман. Я ожидал увидеть картину страшных разрушений, стереографии именно их фиксировали. Но разрушений было немного — поваленные трубопроводы, покалеченная автоматика. Генератор выглядел целым. Я остановился около него — осматривался, думал о том, что здесь совершилось.

И снова у меня стеснило дыхание. Именно здесь, на этот покрытый синтетической кожей пол, повалился сраженный скачком электрического напряжения Кондрат, здесь его какие-то секунды выкручивало, выламывало кости, здесь он закричал последним пронзительным криком, самописцы точно зафиксировали его призыв о помощи, на который не могло быть ответа, ибо он был один, а автоматика уже отказала. Вот так описала комиссия картину его гибели. Все было так, ни в одном факте не исказили действительность эксперты. И все было не так, ибо официальная картина передавала лишь то, что могла увидеть комиссия. Я любовался генератором и ненавидел его — мое детище, лучшее из всего, что я создал, что я мог создать, он был истинным убийцей Кондрата. До боли в сердце я понимал, что происходило в ту страшную минуту. Кондрат расставил наверху вокруг



фарфорового преобразователя свои цилиндрики и пробирочки с живой материей, прикрыл их защитными щитками, имитирующими и броню гарпов, и любую другую броню, что может понадобиться, если ротоновый преобразователь где-нибудь обратят и на человека. А потом спустился вниз манипулировать генератором. Каждый аппарат имеет свой особый характер, нет двух абсолютно одинаковых машин, а мой генератор пока единственный в мире. Я знал его, привык к нему, и он знал меня и привык ко мне. Ни в каких инструкциях не выразить всей индивидуальности сложнейшей да и капризной машины, Кондрат об этом и не подумал, когда задавал напряжение на генератор. Что в ту несчастную минуту испугало Кондрата? Глухой шум, вырвавшийся из недр машины? Я тоже не раз слышал этот шум, он и меня вначале пугал, потом перестал — настоящей опасности в нем не было. Или сигнал сверху о перегрузке преобразователя — надо уменьшить подачу ротонов? Почему вместо плавного уменьшения Кондрат вдруг дал полную остановку? Он не мог не знать, что в момент такой остановки гигантски взметывается напряжение на генераторе! Ну и пусть взметывается, всего ведь доли секунды, автоматика надежно погасит любое перенапряжение. Нет, испугался, рванул назад, две встречные команды заблокировали одна другую — выбило защиту. И вот результат — вверху взрыв разметал в осколки и сам преобразователь, и все, что было установлено вокруг него. А внизу корчился и стонал изломанный и полусожженный Кондрат — единственный человек на всех трех этажах здания.

Я поднялся наверх, еще никогда мне не было так тяжело преодолевать короткую лестницу — два раза, оттаптываясь, хватался за перила, чтобы не упасть.

В кабинете Кондрата я вызвал Сомова и доложил: — Исследование закончено. Разрешите прийти.

И опять он ответил, как в первый раз, когда я просил приема:

— Не надо. Иду к вам.

Карл-Фридрих Сомов сидел на диване, я за столом. Я хорошо знал, что сообщать ему, но трудно было заговорить. Слишком много неверного и обманного разделяло

нас, чтобы вот так, одной фразой, преодолеть выдуманный барьер. Реально этого барьера не было, как я теперь запоздало сознавал. Он улыбнулся, он понимал мое состояние.

— Итак, вы знаете, отчего погиб Сабуров, — негромко сказал Сомов. — Мне кажется, я тоже знаю это. Он погиб...

Я прервал его:

— Да, вы правы. Кондрат Сабуров погиб оттого, что устрасился своего изобретения. Он понял, что мирная установка может стать механизмом уничтожения, может быть использована как боевое оружие.

— Может стать прототипом боевого оружия, а не оружием, не так ли? — поправил меня Сомов. — Имею в виду крупные габариты, нетранспортабельность вашей установки.

Он был совершенно спокоен. Он, я сразу понял, заранее знал, что я скажу. И чтобы показать, что я тоже знаю о его невысказанном вслух знании, я и произнес эту фразу: «Да, вы правы». Она была ответом на его мысли, а не на его слова. Но полностью обстановки в ротоновой лаборатории он все же не представлял себе и тоже об этом догадывался.

Сомов с вежливым вниманием ждал ответа. Я резко сказал:

— Именно боевое оружие. Не преувеличивайте трудностей с подвижностью и габаритами. Все это мелочи.

— Но я думаю...

Я не дал ему договорить.

— И Сабуров думал, как вы. Верней, надеялся, что будет так. Но было по-другому, и это стало одной из причин его гибели.

— Ваша мысль мне не ясна, — признался он с некоторым удивлением, — Сабуров, стало быть, понял, что ваша установка уже в ее теперешнем виде может быть использована как боевое оружие? Так?

— Нет. Он узнал, что очень легко изменить габариты ротонового генератора и энергетической установки, чтобы система стала вполне транспортабельной. И тогда источник полезной энергии превратится в вулкан смертоносного излучения.

— Как узнал?

— Я ему сказал. И вызвался сделать генератор транспортабельным. Я не подозревал, какие страшные мысли

связаны у Сабурова с габаритами наших агрегатов. Мое объяснение привело его в ужас. Он зашепшил с поставкой опытов. Принимаю на себя часть вины за его гибель.

— Друг Мартын, не преувеличивайте своих проступков и не придумывайте необоснованных самообвинений. Я числю за вами только одну несомненную вину: что вы поддались вспышке негодования на Сабурова и покинули лабораторию. Останься вы в ней, возможно, катастрофы не было бы.

— Не знаю, не знаю...

— Хорошо, оставим это. Но объясните вот что. Если установка генерирует опасное излучение, то как вы четверо остались невредимы? Очень сложное явление, не так ли?

— Наоборот, очень простое. Наша установка предназначена выдавать полезную энергию, а не генерировать убийственное излучение. Излучение — попутный, а не основной процесс. И оно, во-первых, очень слабо, а во-вторых, короткодейственно. При низкой интенсивности оно поглощается полностью так близко и так сразу, что не грозит находящимся вокруг людям. Но попутный процесс легко превратить в основной. И можно так форсировать излучение, что оно потеряет свою короткодейственность. Помните запись Кондрата в дневнике: «Короткодействие? Радиус эффекта?» Он поставил себе этот вопрос. И размещал свои живые пробы на разном отдалении от преобразователя, чтобы установить радиус действия. Кондрат не был специалистом в ротонах и преувеличивал трудности обращения с ними. Что до меня, то берусь в несколько дней превратить нашу установку, ныне безопасную для всех, кто ее обслуживает, в адский механизм, губительный для каждого, кто пройдет мимо лаборатории.

Сомов очень вежливо сказал:

— Удивительно интересно. Вы и вправду хотели бы испытать ваше изобретение, так сказать, на губительность?

— Послушайте, Карл-Фридрих. Давайте не будем ходить вокруг да около важной проблемы, а приступим к ней сразу. Признаюсь, что я долго не понимал вас, мы все, не я один. Но вы разглядели меня, этим объясняю, что мне поручили разобраться в катастрофе. Теперь остается решить, что делать с покинутой всеми Лабораторией ротоновой энергии.

— Ваше предложение, друг Мартын?

— Самое простое — взорвать ее! Или, если не хотите грохота, демонтировать. Чтобы даже памяти не сохранилось о нашем опасном изобретении.

— Я догадывался, что именно это вы и предложите. А вы догадываетесь, что я отвечу на ваше предложение?

— Не только догадываюсь, но уверен. Пожмете мне руку и пообещаете начать демонтаж.

— Пожму вам руку охотно, но не за предложение демонтировать лабораторию, тем более взорвать ее, а за хорошее изучение причин катастрофы. У нас с Ларром иные планы.

— Какие?

— Восстановить лабораторию. И поручить вам возглавить ее.

Я воскликнул:

— Но ведь это значит!..

Теперь он прервал меня:

— Это значит, что основная программа вашей лаборатории — найти новые формы энергии и поставить их на службу человечеству — далеко перекрывает попутные неудобства и опасности. Неудобства мы преодолеем, от опасности — защитимся. И лучше всех это сможете сделать именно вы, ибо вы знаете, какие блага принесут миру новые источники энергии, научным преступлением будет отказаться от них. Вы определили меру опасности ваших механизмов и сумеете предохранить нас от превращения полезных изобретений в средства разрушения. Мы с Ларром не раз говорили о вашей лаборатории. Мы не знаем другого человека, который бы так подходил в ее руководители. Сотрудников вы вольны подбирать сами. Ваш ответ я передам Ларру.

Я не спешил с ответом. Я думал об Адели и Эдуарде. Сомов предлагал мне то самое, что позавчера Адель гневно бросила мне в лицо как обвинение. Я пришел в кабинет Кондрата, чтоб утвердиться в нем начальником, так она сказала, так она теперь будет каждодневно думать. Она увидит в моем поступке постыдный ход карьериста. И не пригласить ее и Эдуарда в лабораторию я не могу. Они этого хотят, они имеют на это научное и моральное право. Как отнесется Эдуард к тому, что энергетическая установка способна превратиться в то самое боевое оружие, о каком он мечтает для завоевания Гарпии? Кондрат, охваченный страхом, что Эдуард дознается о такой возможности, удалил его, а заодно разорвал и с женой. А я

призову их, продемонстрирую Эдуарду, как легко осуществить его мечту... «Введу во искушение» — так это называлось в старину.

И я сказал:

— Благодарю за прекрасное предложение, но отказываюсь. Вы хотите взвалить на меня непосильный груз, Карл-Фридрих. Нас было четверо в лаборатории, теперь осталось трое, мы трое — полноправные участники ротонного проекта. Допускаю, что мои друзья примирятся с тем, что из соратника я стал их начальником. Но как я смогу осадить Ширвинда, когда он узнает, куда способно повернуть наше изобретение? Знаю, вы не ожидали от меня отказа...

Он опять прервал меня:

— Почему не ожидали? Не сомневались, что откажетесь.

— Тогда зачем предлагаете?

— Не сомневаемся еще в одном: что возьмете свой отказ обратно, когда узнаете два новых обстоятельства.

— Новые обстоятельства? И сразу два? Слушаю, Карл-Фридрих.

— Первое, Президиум Всемирной Академии наук постановил учредить специальную комиссию по надзору за возможными последствиями всех новых изобретений. Отныне будет оцениваться не только реальная польза от научных исследований, но и предполагаемый вред от них. Огюст Ларр теперь член комиссии по контролю над «добром» и «злом» любых изысканий. Комиссия будет оценивать каждый технический проект не только технологически, но и морально. И могу гарантировать, что она никогда не позволит превратить установку для выдачи полезной энергии в боевое оружие.

— Огюст Ларр — член комиссии. А кто председатель?

— Председателем избран я. Думаю, это обеспечит вам то научное спокойствие, без которого вы не сможете восстановить ротонную лабораторию.

— Поздравляю вас с избранием, Карл-Фридрих! Нет, вы еще не гарантировали мне полного научного спокойствия. Год назад, вернувшись с Гарпии, Ширвинд доказывал, что нет закона, запрещающего изобретать еще неизвестное оружие, ибо это было бы равносильно запрету любых еще не изобретенных изобретений. Ведь неясно, как может быть впоследствии использовано то, чего пока еще нет. Как видите, вы еще не рассеяли моих сомнений.

— Сейчас рассею,— спокойно возразил Сомов.— Я сказал, что появились два важных обстоятельства, но рассказал об одном.

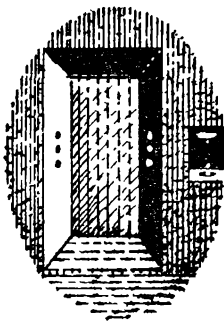
— Слушаю второе.

— Второе состоит в том, что правительство приняло ряд новых законов о производстве оружия. Один, частный закон, касается непосредственно Гарпии. На Гарпию запрещено отправлять любое оружие — не только уже известное, но и неиспробованное,— если оно губительно для гарпов. На Гарпии разрешены только отношения мира и дружбы.

— А если гарпы не пожелают мира и дружбы?

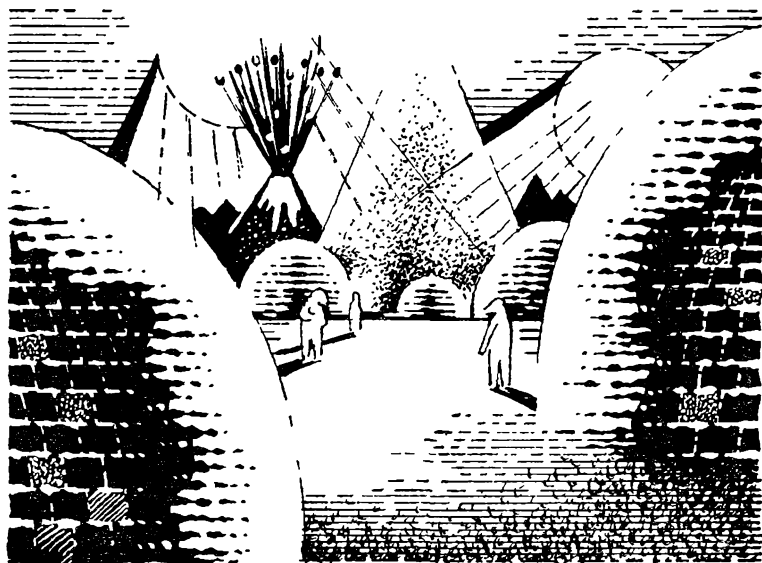
— Тогда мы оставим планету, пока не изобретем приемлемых для гарпов средств мирного общения. Наша наука достаточно сильна, чтобы найти такие средства, и Земля достаточно могуча, чтобы обойтись какой-то срок без гарпийских богатств. Но я уже сказал, что закон о Гарпии — частный закон. Принят и общий — полный запрет не только уже изобретенного во все прошлые века убийственного оружия, но и запрет любых попыток создать такое оружие. И контролировать выполнение этого закона поручено комиссии, которую я имею честь возглавить. Теперь я развеял ваши сомнения?

— Теперь развеяли,— сказал я и протянул Сомову руку.



ДРАМА НА НИОБЕЕ

*Научно-фантастическая
повесть*





В Музее Космоса всегда было полно посетителей. Всего больше их скапливалось в «романтических» залах — так у сотрудников Музея именовались четыре помещения со стереографиями планет, моделями звездолетов, муляжами зверей, растений и рыб, огромными панно равнин, горных хребтов и вулканов, звездными картами знаменитых космических рейсов, где светила складывались в сочетания, несхожие со звездными пейзажами Земли и солнечных планет. «По необычному облику местных небес вы сразу понимаете, как далеко в космос проникли уже наши первые звездопроходцы, их успехи и представлены в этих залах», — увлеченно говорил посетителям экскурсовод, элегантный робот, смахивающий скорей на подвижного паренька, чем на ученый автомат. И, переходя от звездных карт и стереографий к стоявшим тут же статуям прославленных астронавтов, он дотрагивался указкой до каждой статуи — она оживала и говорила голосом умершего звездопроходца, как шел его рейс и что этот рейс дал миру.

Кроме «романтических» залов, в Музее Космоса были и залы технологические. Здесь среди посетителей преобладали не экскурсанты, а специалисты — знакомились детально с условиями полетов, с природой далеких миров, образцами минералов, особенностями жизни, если жизнь была. Тысячи проблем рождал каждый космический рейс, о многих зрительно оповещали экспонаты. И посетители этих залов не прохаживались в них, не бросали по сторонам любопытные взгляды, а садились перед каким-либо облюбованным экспонатом и возились с ним, осматривали, трогали, вдумывались в его назначение...

Был еще один зал, «пантеонный», так он именовался на музейном жаргоне, хотя и мало напоминал тот тор-

жественный Пантеон, что высился на Главной площади Столицы. В официальном Пантеоне, усыпальнице великих людей человечества, стояли саркофаги с их телами, в зале звучала тихая музыка, посетители переходили от одного саркофага к другому, слушали негромкую справку о жизненном пути того, на чью статую и усыпальницу сейчас смотрели. В Пантеоне души настраивались на величественный лад истории. А в «пантеонном» зале Музея Космоса не было и тени величественности, это был скорее склад, а не выставочный зал, но склад, хранивший сокровища — навечно сохраненный мозг знаменитых покорителей космоса. И пускали сюда лишь по особому разрешению директора Музея Космоса. Ибо здесь нечем было любоваться, нечем восхищаться, ни о какой беде, приключившейся с героями космоса, не приходилось скорбеть. Вдоль стен стояли ванны из прозрачной стали, в каждой, в специальной жидкости, плавал вынутый из черепной коробки мозг умершего астронавта, удостоенного такого почетного отличия. Возле ванны возвышался на урне из малахита, как на постаменте, мраморный бюст того, кто некогда был обладателем мозга, а в урне покоился его прах. Это был архив, а не выставка, хранилище ценностей, а не объект для зрелищ, и, пожалуй, напрасно музейные работники присвоили этому залу пышное название «пантеонный». Впрочем, оно выражало не так внешнюю обрядность зала, как их собственное отношение к тому богатству, что в нем хранилось.

Но однажды в летнее утро 2183 года директор подписал разрешение посетить «пантеонный» зал группе экскурсантов. Двадцать семь выпускников Высшей школы звездоплавания пожелали на прощание с Землей — их всех переводили на инопланетные базы — познакомиться и с этим всегда закрытым помещением. Группу принял консультант Музея, немолодой мужчина, высокий, красивый, широкоплечий, с большими ярко-голубыми глазами. Он с любопытством оглядел группу.

— Больше половины — женщины, — констатировал он низким, хрипловатым голосом. — В мое время женщин в космос старались не брать.

— С тех пор многое изменилось, — вежливо возразил староста группы экскурсантов. — Космос, впрочем, и в ваше время нигде не был заколочен досками для женщин.

Консультант усмехнулся:

— Заколочен досками не был, верно. Но звездные рейсы имеют свои особенности. Вы все астронавигаторы?

— Двое штурманов дальнего звездоплавания, шестеро астронавигаторов второго разряда, остальные — инженеры разных специальностей, — отрапортовал староста и поинтересовался: — Собственно, о каком времени вы говорите, как о своем? Оно давно было?

— Лет сорок назад. Что вы смотрите с таким удивлением? Мне уже под девяносто.

Лет шестьдесят консультанту можно было дать, но не больше. Экскурсанты изобразили на лицах почтительное удивление и промолчали. Консультант поручил экскурсию человекообразному автомату с румяным лицом и широкими усами, он, видимо, копировал кого-то из астронавигаторов, невысокого, плотного, очень энергичного, — посетители все же не припомнили оригинала. Голос робота им показался знакомым, он восстанавливал чей-то давно слышанный — экскурсанты на лекциях часто прокручивали пленки с рассказами звездопроходцев об их экспедициях. И если бы автомат повторил хоть одну из прославленных чеканных фраз старых героев, напомнил бы хоть об одном знаменитом приключении, слушатели не затруднились бы установить, чей голос воспроизводил робот. Но он не рассказывал о космических драмах, победах, неудачах, а читал как по писаному обычную музейную лекцию. Профессора Высшей школы звездоплавания излагали свой учебный материал интересней.

— Все первые астронавты были титанами ума и характера, — вещал усатый автомат. — Но несовершенная техника двадцать первого века была бессильна сохранить их интеллект в его биологической целостности. Только семьдесят лет назад нашли способ консервировать живые клетки. В нашем Музее сохраняется тридцать четыре мозга тридцати пяти великих австронавигаторов, извлеченных из их черепных коробок в момент смерти. Мозг, конечно, сейчас не действует, но и не разрушается. Он хранится для будущих поколений в своеобразном «Банке интеллектов». Почему для будущих, а не для настоящих? Сегодня воскресить мозг можно, лишь вживив его в тело нормального человека, но кто захочет расставаться со своим мозгом ради чужого, хотя бы и великого? Но в будущем найдут способ оживления любого мозга, отделенного от своего носителя. И тогда обратятся в наш «Банк интеллектов» за займом могучих характеров и выдающихся умов. И великие люди прошлого оживут и будут реально — и с того момента вечно! — участвовать в общественной жизни. Какое огромное богатство приобре-

тет человечество! Каждый выдающийся ум уже не погибает в момент смерти его владельца, или, скажем так, мозгоносителя, а рождается как бы заново — и навечно — в независимом от тела существовании. Вот для чего создан наш уникальный «Банк интеллектов», где самые блестящие личности прошлого зарезервированы для будущего.

Робот сделал остановку, и этим воспользовался староста группы. Этот худой, высокий парень, с необычно большими для мужчины глазами и энергичным — лопатой — подбородком, выделялся живостью и любознательностью.

— Вы сказали, что в этом зале хранится тридцать четыре мозга тридцати пяти знаменитых астронавтов. Мне кажется...

Усатый робот не дал ему договорить.

— Правильно! Один мозг отсутствует. Прах его хозяина Василия Штилике покоится в своей урне, а мозг был использован для нормального функционирования в другом теле. Мы как раз подошли к этому прославленному астронавту, можете посмотреть его урну.

На урне из малахита — она ничем не отличалась от тридцати четырех других урн — возвышался бюст усатого мужчины. На постаменте красовалась надпись: «Василий-Альберт Штилике, астросоциолог. Погиб 49-ти лет от роду на планете Ниобея». Экскурсанты переводили взгляды со статуи на робота, теперь они поняли, кого он напоминал: робот копировал человека, изваянного в мраморе. Все в нем было повторением знаменитого астронавта — и лицо, и голос, и рост. Староста группы сказал:

— Я понял все. Мне кажется теперь...

И опять робот прервал его:

— Вы не поняли. Было не так.

— Но вы ведь не знаете, что я хотел сказать.

— Все знаю!

Робота, очевидно, наделили не только внешним сходством с прославленным Василием Штилике, ему придали и черты его характера. Из биографии астросоциолога, погибшего на страшноватой Ниобее, явствовало, что он был упрямым, бесстрашным, быстрым в соображении и вообще ему любое море было по колено, что он неоднократно и доказывал, подвергая себя необычайным опасностям.

Робот улыбнулся, как человек, — вероятно, и улыбка, насмешливая, но не оскорбительная, была скопирована с его живого прототипа.

— Говорю вам, все не так, как вам показалось. Нет, меня не удостоили чести стать носителем мозга великого Штилике. Я копирую только внешность этого выдающегося человека. Его интеллект восстановлен в живом человеческом теле, а я не тело, я лишь конструкция.

Энергичный староста, похоже, взял себе право выражать общее мнение и задавать интересующие всех вопросы.

— Вы сказали, интеллект Штилике восстановлен в живом человеке, а не в конструкции? На этот раз я правильно понял? (Робот кивнул.) Но перед этим вы же объяснили, что внедрение мозга, сохраняемого в вашем «Банке интеллектов», в другой живой организм пока не практикуется. Я верно воспроизвожу ваши слова?

— Все верно. Было сделано одно исключение. Впрочем, такие вопросы вне моей программы.

— А этот удивительный человек, столь легко распортившийся с собой ради...

— Тоже нет. Подразумеваю, что вы просите назвать фамилию нового обладателя интеллекта Штилике.

— И это вне вашей программы? Жаль! Было бы очень интересно познакомиться с живым носителем интеллекта Штилике.

Консультант, молчаливо стоявший в стороне от группы во время разговора робота со старостой, вдруг вмешался в их беседу:

— Почему вас, юноша, так заинтересовал астронавт Штилике?

Староста живо повернулся к нему.

— Меня интересует Ниобея, а не сам Штилике. Впрочем, и он тоже,— тут же поправился староста.— Ибо этот замечательный астронавт сыграл такую роль в истории этой планеты и показал нам, молодым, такой пример мужества и пронцательности, такое сочетание...

Консультант, нахмурившись, прервал старосту группы — ему явно не по душе был восторженный тон молодого астронавта:

— Вы сказали, что вас интересует Ниобея. Почему?

Староста разъяснил, что на Ниобею направляется большая комплексная экспедиция — биологи, астросоциологи, строители, инженеры. Естественно, что все, связанное с личностью человека, так много сделавшего для благополучия Ниобеи...

— Благополучия Ниобеи? — снова прервал молодого астронавта консультант.— Какое уж благополучие! Пылающая во внутреннем жару планетка, вырождающиеся

нибы... Подберите, юноша, другую характеристику, эта не годится.

— Благополучия! — решительно повторил молодой астронавт. — Это самая точная характеристика. Боюсь, вы плохо осведомлены о положении на этой планете. Оно иное, чем представляется вам. Знакомы ли вы с программой для Ниобеи, разработанной сорок лет назад Штилике?

— Программу Штилике я знаю. Но, по-моему, к ее реализации еще не приступали...

— Вы безнадежно отстали, — радостно объявил большеглазый староста экскурсантов. — Я и мои товарищи летим на Ниобею именно для реализации той программы. Наконец пришло время и для нее. И уверяю вас, успех гарантирован! — Он живо добавил: — Вы мне не верите?

— Нет, почему же? Но верить или не верить — понятия, отличные от понимания. Мне хочется понять, а не только верить. Разве на Ниобее значительные перемены?

Юный староста показал, что не только наделен энтузиазмом, но способен вести и аргументированные дискуссии.

— Раньше говорили, что вера без дел мертва. Только реальный успех доказывает, что вера в успех была правомочна. Нет, на Ниобее не произошло пока значительных перемен. Но мы отправляемся туда, чтобы создать такие перемены. Вы скоро услышите о нашей работе!

Консультант проницательно глядел на разгорячившегося юношу.

— Как вас зовут, друг мой? — спросил он.

— Курт Сидоров, так меня зовут. Имя это вам ничего не говорит. Пока...

— Буду ждать сообщений о ваших успехах, Курт Сидоров. — Консультант поклонился. — Простите, мне надо уйти.

Он пошел к выходу. Староста группы крикнул вслед:

— А вас как зовут? Вы не назвали себя, а надо же нам знать, кому адресовать сообщения о делах на Ниобее.

Консультант обернулся. Лицо его осветила улыбка.

— Штилике, — сказал он. — Василий Штилике, так меня зовут.

2

Он слышал за собой гул голосов. Уже не один энергичный староста, но и все его товарищи переговаривались, засыпали вопросами усатого робота, так близко воспро-

изводившего внешность знаменитого астросоциолога. Робот что-то твердил, несомненно, отбивался от всех вопросов запрограммированными для этой темы краткими фразами: «Не знаю», «Не имею права», «Вне моей программы». Кто-то побежал за консультантом. Штилике ускорил шаг. Не надо было объявлять себя этим юным энтузиастам подвига, он поступил неблагоразумно. Им, конечно, мало его фамилии, им надо знать обстоятельства его перевоплощения, он сам на их месте требовал бы того же, теперь они долго не уgomонятся. Ладно, пусть волнуются, это не повредит их работе на Ниобее, раз уж стала возможна там какая-то полезная работа.

Шаги за спиной смолкли. У двери Штилике обернулся. Конечно, это был он, большеглазый, худой романтик космоса, он почти догнал, но понял, что преследование бессмысленно, остановился, заколебавшись, вот теперь повернулся, возвращается к товарищам. Все в порядке, можно не торопиться.

Штилике все тем же торопливым шагом вошел в свою комнату, захлопнул дверь, перевел дух. Взволноваться оттого, что назвал себя! Как будто в названии не обозначение, кто ты, как будто в нем признание в каком-то важном поступке... нет, в проступке, а не в поступке. Нет, и не это — в чрезвычайном событии, вот в чем он сегодня признался этим прекрасным молодым людям, этим своим последователям, может быть, даже своим ученикам. Зачем он это сделал? Что принудило открыто объявить то, что известно лишь немногим, что за давностью лет стало почти тайной? И, признавшись, убежал! Василий Штилике трусливо бежит! И от чего бежит? От кого? От себя, так получилось! Он, никогда не отступавший перед опасностями, а сколько их было за его долгую, за его трудную жизнь! Таким его всюду знали — бесстрашным, упрямым, непоколебимым, таким все называли — кто с неприязнью, кто с уважением, — он и сам уверовал, что такой. А от кучки юнцов вдруг побежал, утраившись их вопросов. Почему? Он должен точно ответить себе — почему? Он стал себе непонятен. Он должен себя понять!

Штилике сел на диван, рассеянно осмотрелся. Все было на месте в маленькой комнате. Большое окно открывалось в сад, несильный ветер раскачивал вершины сосен, они напевали протяжным, глухим шепотком, а подальше, на холмике, плясали две елочки — отсюда, из комнаты, чудилось, что они не только покачиваются, но и грациозно перемещаются по холмику, стараясь не то

догнать друг дружку, не то приветно обхватиться лохматыми ветвями. А на стене против окна сияли красочными переплетами старинные книги; любимое занятие — ворошить и перелистывать печатные шедевры двадцать первого века. На другой стене — фото и стереографии, пейзажи, схемы, портреты. Штилике вдруг удивился. Все в этой комнате было так навечно узвано, что и не ощущалось, просто было, как у каждого есть руки, глаза, ноги — ничего необычного, не от чего поразиться. Штилике осматривал тысячу раз виденную, почти уже не воспринимаемую комнату — нет, до чего же все словно бы впервые увидено!

Он смотрел на книги и удивлялся, как много не успел прочитать в этом хорошо подобранном собрании. А ведь собирал, чтобы прочесть, но так и не выбрал свободного времени на неторопливое чтение, а что прочитал, то, наверно, так позабылось, что осталось лишь представление о сюжете — читал бы снова и воспринимал бы, как почти неизвестное. Вдруг вспомнилось горькое признание Теодора Раздорина, наставника и друга, он тогда медленно умирал, великий звездопроходец, суровый командир, глубокий мыслитель. И он сказал: «Василий, я не жалею, что прожил так, а не по-другому, жизнь была хороша, но одно мне грустно, Василий, — столько прекрасных, столько великих книг в моей библиотеке, а я уйду в небытие, так и не прочитав их все!»

«Я тоже скоро уйду в небытие, — подумал Штилике, — и тоже не прочитав всего, что собрано в этой комнате, а ведь в ней много меньше книг, чем было у моего учителя, и читал я много меньше, чем он. Сколько же сильнее его мне горевать, а я не горюю, только с сокрушением говорю себе: много, много высоких радостей мог доставить себе, а не доставил!»

Штилике подошел к развешанным на стене портретам: три женщины в центре, двое мужчин по краям. Он всматривался в них, как если бы впервые увидел. Все пятеро давно умерли, все пятеро вечны в его мыслях — к чему рассматривать как бы со стороны то, что душевно нетленно? Он шевелил губами, беззвучно твердил себе слова, какие уже тысячу раз повторял и какие при каждом повторении звучали все так же больно и сильно.

«Я так любил тебя, Анна, — говорил он той, что была в центре, темноволосой, веселоглазой, высоколобой, — я жил тобой, моя единственная, и когда ты угасла от неведомой болезни, бича проклятой самой природой пла-

нетки со страшным названием Эринния, я твердил себе: не переживу, пусть и меня сразит та же тяжкая хворь, что сражает сейчас мою жену. Но ты умерла, а я жив, и долгие десять лет, проклятых лет, благословенных лет, сражался со зловещей планеткой и победил ее — уже никому она не грозит страданием и смертью!»

«И тебя я любил, — говорил он женщине, что улыбалась, красивая и радостная, справа от жены. — Любил, но не спас, когда погибала, сам обрек тебя на гибель, так кинул мне в лицо человек, который был тебе гораздо ближе, чем я, — вот он еще правей на стене, рядом с тобой».

«А тебя не любил, — говорил он третьей женщине, той, что была слева от Анны. — И ты меня ненавидела, и я порой гордился твоей ненавистью. Но видишь ли — хотя ты этого при жизни не хотела видеть, а сейчас уже не увидишь, — я жалел тебя и сочувствовал, твоя ненависть ко мне была лишь особым выражением твоей преданной, твоей жертвенной привязанности к другому человеку, моему противнику, тому, чей портрет касается слева твоей рамки, — как было не понять тебя!»

«Вот все вы здесь, все пятеро, друзья и недруги, вас никого уже нет в живых, все вы во мне и со мной, ибо вы, быть может, самое яркое в том, что я называю «моя жизнь».

Штилике вернулся к дивану, откинул голову на мягкую спинку. И так, эти чудесные парни и девушки страшно взволновались, узнав, что перед ними знаменитый Штилике, столько ведь приходилось читать и слышать об освоении Эриннии, о делах на Ниобее, наверно, и курсовые экзамены сдавали, непрерывно поминая эту фамилию — Штилике, Штилике, Штилике... И портреты твои развешаны в учебных аудиториях, наизусть все вытвержено: невысокий, широкоплечий, сутулый, усатый, с запавшими темными глазами — в общем, такой, что, «отвернувшись, не согласишься». Впрочем, знаменитостям уродливость прощается... А все же какая разница между устоявшимся представлением о некрасивом и в молодости, а сейчас, наверно, дряхлом, уродливом старце, если он еще жив, и тем величавым, уже немолодым, но еще статным мужчиной, каким ты перед ними предстал! Было чему поразиться! И законно потребовать объяснений, как стало возможно превращение? А ты сбежал от расспросов. Нет, не только облик твой переменился, характер тоже, раньше ты ни от чего не бегал!

— Ну и сбежал, ну и пусть! — вслух закричал Штилике. — Мои превращения — мои личные дела. Есть еще и такая область — интимность.

«Без истерики! — мысленно одернул себя Штилике. — Давно обветшала твоя мелкая интимность. Да и была ли? Ты в некотором роде историческое явление. Соответствуй себе!»

— Не мог я разговаривать с тем большеглазым, — усмехнувшись, сказал Штилике. — Одно дело — работа, исторические решения... Другое совсем — Ирина, Виккерс, Барнхауз, Агнесса... Зачем возобновлять старые споры? Вряд ли они заинтересовали бы этих молодых людей.

И опять он мысленно опроверг сказанное вслух:

«Заинтересовали бы! Они летят на Ниобею. То, что ты называешь интимностью и старыми спорами, неотделимо от реальной истории планеты. А между прочим, в официальном отчете Академии наук ты и словечком не обмолвился о своем отношении к Ирине и Агнессе, к Барнхаузу и Виккерсу. Твой отчет был неполон и необъективен».

— Я рассказал о драме на Ниобее...

«События изложил, а чувства? Разве ваши настроения, ваши желания, ваши характеры не сыграли там, быть может, решающей роли? И не называй, пожалуйста, события на Ниобее тусклым литературным словом «драма». Была трагедия — и не личная, а социальная. И те, кто вслед за вами направляются ныне на эту столько лет запретную планетку, имеют право знать, что на ней происходило, хотя бы для того, чтобы не повторять ваших ошибок».

— Если экспедиции на Ниобею возобновлены, то и даны подробные программы, как вести себя на ней.

«Были ли у вас такие программы?»

— У нас не было, у них должны быть! Напрасно, что ли, я писал свои отчеты?

«Ты писал отчеты о событиях, а не о душах. Как и вы, эти ребята не лишены страстей, надежд и мечтаний! Как загорелись их глаза, когда они слышали, кто ты! Будут, будут среди них и свои Барнхаузы и Штилике, Ирины и Агнессы. Они должны знать, какой нелегкий путь пролегал для вас на планете».

— Не мог я бесстрастно — лекционно! — говорить о наших спорах, о нашей горе, о негодовании и отчаянии, попеременно захватывавших нас... Раскрываться, как на исповеди!.. Милые, но все же чужие люди!

«Согласен. Не мог. Вон там лежит диктофон. Возьми и говори. Ничьи глаза здесь не смущают тебя. Пусть люди, идущие за тобой, знают и то, что осталось нераскрытым в твоих отчетах».

Штилике взял диктофон и заговорил.

3

Я не люблю себя. Я никогда себя не любил. Были часы, когда нелюбовь к себе превращалась в негодование на себя. Тогда я враждовал с собой. Нет, во мне не было двоещия, я не страдаю от раздвоения личности. Я всегда был один — один облик, один характер, одни жизненные цели, одни способы их реализации. Все было проще, чем тысячекратно читалось в романах, живописующих убийственные схватки двух враждебных натур в одном теле, и по одному тому, что было проще, становилось непосильно сложней. Наверно, я говорю непонятно. Непонятность не в словах, а в фактах, какие надо высказать словами.

Итак, я не люблю себя — таков первый важный факт. И прежде всего не люблю своего облика. Природа наделила меня неудачной внешностью. Еще в детстве я возненавидел зеркала. В зеркале, когда я подходил к нему, появлялась нескладная фигура: с непомерно широких плеч свисали неприлично короткие, хотя и крепкие руки, на узкой и длинной шее торчала массивная голова — я всегда удивлялся, почему шея не сгибается под ее тяжестью, — а к несимметричному телу еще и несимметричное лицо... «Ты мог бы сойти за инопланетянина-антропоида, если бы мы не знали, что антропоидов в иных мирах не существует! — сказала мне как-то Анна и добавила с нежностью, ей почему-то нравилось мое уродство: — Вот же судьба — столько красивых парней увивалось вокруг меня, а влюбилась в тебя».

И я не любил своих поступков — такой второй важный факт. Нет, не потому их не любил, что делал, чего не желалось. Этого не было да и не могло быть. Я делал только то, что надо было и что хотелось. Но делал хуже, чем хотелось. Есть люди, достигшие совершенства, образцом их был мой учитель Теодор-Михаил Раздорин, у таких людей цель и выполнение цели всегда совпадают, одно отвечает другому. Меня одолевала неудовлетворенность: цели были выше выполнения. Я не жалею и не скорблю — констатирую печальный факт.

В моих действиях на Ниобее оба эти свойства — любовь к своей внешности и несовпадение цели и средств — присутствовали в реальном действии. Если бы было не так, я и не упоминал бы о своем характере, на такую деликатность меня бы хватило.

На Ниобею меня направил Теодор Раздорин.

Я пришел к нему вскоре по возвращении с Эриннии. Мне полагался годовой отдых на Земле. Я заранее сокрушался, что года на отдых не хватит. И уж конечно, ни о каких дальних экспедициях мне не мечталось: я был сыт по горло хлопотней на неустроенных планетах. Ничего неделание на зеленой Земле было сладостней любых успехов на разных небесных шариках. Так мне воображалось. И естественно — теперь сознаю, что в том была естественность, а не принуждение, — не прошло и месяца, как я снова мчался к звездам.

Это произошло потому, что Теодор Раздорин умирал.

Он лежал в своей спальне на широкой постели, иссиня-бледный и до того исхудавший, что набухшие вены на руках и жилы на шее казались жгутами, приставленными снаружи, а не выступающими из-под кожи. Возле кровати возвышались аппараты для кровообращения и дыхания, собственные органы Раздорина давно перестали служить исправно. В открытое окно врывались запахи деревьев и распускающихся цветов, на дворе творилась очередная яркая и многошумная весна. Я потом часто думал: хорошо умирать весной, ощущая тепло солнца и дыхание возрождающейся травы. Именно так, по-своему радостно и красиво, совершалось это скорбное событие — уход моего учителя в небытие. Для себя я желаю такой же смерти.

Обессиленный телесно, сознание Раздорин сохранял до последнего часа. И хоть голос его, прежде громкий и категоричный, звучал уже не так сильно, но был по-прежнему ясен и решителен. Старик с трудом шевелился на своей необъятной кровати — он любил такие, как сам он посмеивался, «стадиончики для спанья», — но разговаривал без большого усилия, и это, видимо, скрашивало ему тяготы хвори: он всегда охотно говорил и у него всегда было о чем говорить.

Раздорин глазами показал на стул рядом с кроватью и сказал:

— Садись. Знаю. Вижу. Перестрадал. Возродился.

— Десять лет все-таки, — сказал я. — Даже самого горького горя на десять лет не хватит. Все стирается.

— Не клевети на себя. Ты не из забывчивых. Знаю твою любовь к Анне. Годы не сотрут такого несчастья. Да и не было у тебя десяти лет на горе. Даже года не было.

Я лучше, чем кто-либо — все же любимый его ученик, — знал, как он любит поражать парадоксами. В древности из него вышел бы незаурядный софист. Но этого парадокса я не понял. Он усмехнулся.

— А ведь просто, Василий. Тебя спас твой труд. Та великая цель, какую ты себе наметил. Не то что года, даже месяца на уход в несчастье ты не имел. Раньше о пророках говорили: он смертью смерть попрад. Ты попрад смерть жизнью. Эринния теперь никому не грозит таинственной гибелью. Это подвиг, Василий.

— Это работа, — сказал я. — И не только моя. Всех нас, и гораздо больше биологов и медиков, а не социологов. Я организовывал их труд, только всего.

— Твоя, — повторил он и нахмурился. Слова давались ему легче, чем даже легкое движение бровями или рукой. А он, как и встарь, отстаивал любое свое утверждение — не затыкал рта инакомыслящим, но требовал, чтобы против него подыскивали только солидные возражения. — Ты не вносил предложения о переименовании планетки? Эринния, богиня мщенья, теперь ей не к лицу.

— Не вносил и не внесу. Пусть остается Эриннией. Название звучное. И лицо у планетки все еще мрачноватое.

— Тебя не переспорить, ты всегда был упрямый, — сказал он с удовлетворением. Ему нравилось, когда его убедительно опровергали. В моем упрямстве он ощущал обоснованность — во всяком случае, я старался, чтобы было так. Помолчав, он спросил: — А теперь куда?

— Никуда. Отдыхаю.

— И долго намерен?

— Весь положенный по закону отпуск. Не меньше года.

— Осатанеешь от безделья. Буду тебя спасать. Бери командировку на Ниобею. Я походатайствую. Туда не всякого пошлют, а тебе разрешат.

И раньше встречи с Раздориним не проходили гладко. Он поражал не только оригинальными суждениями, но еще больше экстравагантными поступками. И, отправляясь к нему, больному, я говорил себе, что если свидание будет с неожиданностями — словесными и деловыми, — то болезнь не так уж и грозна, выкарабкается. Болезнь была, из какой не выкарабкываются, а в неожиданности он

ввергал по-прежнему. Я встал на дыбы, с хладнокровием и вежливостью, конечно.

— А какого мне шута в Ниобее, учитель?

— На Ниобее не до шутовства, ты прав. Очень серьезное местечко. Завтра поехать не сумеешь, а через недельку лети.

— Ни завтра, ни через недельку, ни вообще...

— Никаких вообще! А в частности и в особенности — ты! Никто другой — это в частности, и лучше всех — в особенности. Я правильно истолковал тебя?

Я расхохотался. Вероятно, это было не очень корректно — хохотать у кровати умирающего. Корректность не принадлежала к числу достоинств, чтимых Раздориным. Он улыбался одними глазами. Он был уверен, что переубедит меня. И почему-то ему было нужно, чтобы на Ниобею летел я, а не другой.

— Такое впечатление, учитель, что Ниобея вас задевает больше всех ныне осваиваемых...

Он прервал меня:

— Больше! Интересуешься, почему? Подтверждает мою теорию затухания. Так подтверждает, что лучших доказательств и не желать. Ты помнишь эту теорию?

Еще бы не помнить ее! В свое время она породила много шума. Именно шума, а не споров. О ней не дискутировали, о ней только говорили — кто с улыбкой, кто с раздражением. Один из уважаемых социологов, Иван Домрачев — да, тот самый, что математически рассчитал пределы прогресса у популяций, живущих одним инстинктом, и безграничность совершенствования обществ, использующих потенции разума, — поставил своему личному компьютеру, названному человеческим именем «Сеня Малый», задачу найти теорию развития, во всех отношениях и со всех сторон максимально удаленную от канонов науки. И «Сеня Малый», рассчитав ее самостоятельно, выдал точную концепцию Раздорина. Оба были страшно довольны: социолог и академик Иван Домрачев — что доказал полную ненаучность теории Раздорина; а астросоциолог и астрадминистратор Теодор Раздорин — что ему удалось создать такую во всех отношениях ненаучную науку.

Что до меня, то я никогда не считал теорию затухания столь уж несовместимой с наукой. В ней было много здравых идей — во всяком случае, там, где Раздорин не стремился блеснуть оригинальностью. Суть ее, в общем, сводилась к тому, что организованное общество чаще всего

гибнет от благосостояния. Жирок душит тело и иссушает душу — явление, замеченное уже давно. Чрезмерное довольство порождает склероз, склероз поражает инфарктами — эту узкую медицинскую истину Раздорин распространил на любое общество и объявил социально-космическим законом. И до него совершались попытки отождествить процессы, происходящие в организме, с общественными процессами, особенной оригинальности он, по-моему, здесь не продемонстрировал. Правда, Раздорин добавлял, что величина губительного жирка у разных обществ различна — одних отравляет и малое благосостояние, другие выдерживают и роскошь.

Расширив свою горестную философию на человеческое общество, Раздорин с азартом доказывал, что развитие техники привело к такому благосостоянию, что люди разленились. Кое-где создали строй, названный «обществом потребления», а потребление сверх реальной нужды вызвало накопление не только телесной, но и интеллектуальной вялости, потерю динамизма, притупление духовных интересов. Общество потребления ожидала неизбежная деградация. И лишь выход в безграничный космос спас людей от предсказываемого для них Раздориним печального финала. Пока вся Галактика не освоена человечеством, вещал Раздорин, и динамизма хватит, и совершенствование будет все совершенствоваться — он именно так косноязычно и высказывался. Галактика, говорил он, область для приложения сил достаточно просторная, на миллион лет хватит, а дальше не будем загадывать.

Вот такая была у него любопытная теория. И надо сказать, что в своей практической деятельности астроадминистратора он блестяще осуществлял этот провозглашенный им космический динамизм. История освоения внесолнечных планет немыслима без частого упоминания имени Теодора-Михаила Раздорина.

Все эти мысли возникали и толклись в моей голове, когда я, сидя у постели, слушал его рассказ о Ниобее. Я плохо знал эту планетку в системе Гармония и Аристокитона, двух светил из породы красных гигантов. Разумеется, я видел ее стереографии — красивая, но свособразной красотой: чудовищные вулканы, фонтаны пламени и камней, непрерывно исторгаемых недрами, и роскошная растительность. Ниобейским цветам и деревьям могли бы позавидовать самые прекрасные парки Земли; зверей и рыб практически нет; птицы редки. В общем, содружество

ада с раем — так охарактеризовал Ниобею сам Раздорин после первого посещения. И в отличие от его социологических концепций, эту оценку никто не опровергал.

А населяют Ниобею нибы — немногочисленное сообщество гуманоидов, до того похожих на людей, что их можно было бы считать за одно из первобытных человеческих племен. О машинах нибы понятия не имеют, орудия используют самые примитивные, жалкое существование наполнено единственной заботой — выжить. Первооткрыватели обнаружили у этого примитивного народа и страшный обычай каннибализма — нибы поедают один другого. Вместе с тем на Ниобее найдены и поразительные памятники древней цивилизации — роскошные дворцы, величественные скульптуры, яркие картины. Изучение памятников продолжается, но уже ясно, что нынешние нибы так же далеки от того древнего искусства, как питекантропы от творцов Парфенона. Естественный вывод: на Ниобее некогда существовала развитая цивилизация, ее представители вымерли или переселились на другие планеты, а свою прародину оставили современным пещерным нибам.

Таковы были мои знания о планете, куда меня задумал командировать Раздорин. А он все тем же ясным голосом, столь странным у тяжелобольного, пункт за пунктом, факт за фактом опровергал мои нетвердые знания.

— Взор, Василий, — переселились на другие планеты! Во-первых, на какие? В окрестностях Гармония с Аристокитоном и следов такого переселения не найти. Во-вторых, как? И намек на машинную цивилизацию на Ниобее не было. Откуда же взять звездолеты? Те древние поселенцы, творцы дворцов и картин, и современные дикари — один народ, но на разной стадии развития.

— На разной стадии деградации, стало быть?

— Развития, Василий! Нет, до чего в ваши головы вбита идея автоматического прогресса! Вот же живучее заблуждение! А ведь и появилось недавно, два-три века назад. А до того понимали, что развитие может вести вверх, но может и вниз. Его может и вовсе не быть. Слышал об Экклезиасте? Умный был человек, хотя его, возможно, вовсе и не было. Так он твердил со скорбью: «Нет ничего нового под солнцем, и вечно возвращается ветер на круги своя».

— Экклезиаста читал и сдавал в курсе истории...

— Вот-вот, сдавал и все сдал, ничего себе не оставив. Теперь припоминать... Долго крутился ветер на ниобейских своих кругах и ослабел. Уверен, хороший поиск

показал бы не только прежнюю роскошь и современную нищету, но и закономерное падение от роскоши до нищеты. Деградация как естественный процесс. Только никто этим не занимался. И тебе поставлю другое задание.

— Повернуть общество нибов к прежнему благоденствию? Превратить деградацию в прогресс?

— Напрасно смеешься! Нет, я не о прогрессе, это тебе не под силу. Остановить падение. Они на краю. Вот-вот сверзятся в пропасть.

— На Ниобее, я слышал, работают геологи, промышленные партии. Соседство с могущественной цивилизацией благотворно для отсталых народов.

— Когда благотворно, а когда губительно. Примеров в истории Земли хватает. Беда Ниобеи в чем? Сказочно богата! Руды стабильных сверхтяжелых элементов! На Земле их синтезируют микрограммами, а на Ниобее — миллионы тонн. Освоение ниобейских недр вызовет чуть ли не переворот в земной технологии, общее мнение. Короче, не до аборигенов. А ты разберись, Василий. Полети и разберись. Другим бы такого дела не доверил. Тебе могу.

На какую-то минуту я отвлекся и перестал слушать. Все во мне протестовало против новой командировки. Мне надо было отойти от космоса. Я был по горло сыт Эриннией, вряд ли Ниобея лучше. Но я сдержал рвущийся из груди отказ, не хотелось резким отпором огорчать старика. Я промолчал и снова стал прислушиваться. Раздорин уже не уговаривал, а давал деловые наставления:

— ...значит, Барнхауз. Этого бойся. Знаю, знаю, ты не из трусливых. Но все же бойся, не трусливо, а разумно, квалифицированно опасайся. Запомни: он из рода бизнесменов. Дед — основатель компании «Унион-Космос», отец в первых разведчиках на Ниобее, сын пошел в отца, но стремится превзойти всех предков. Рост и фигура — средней руки медведь, столь же лохмат и сто лошадиных сил в каждой руке! О деде говорили: пьет с друзьями и тут же ими закусывает. Внук чем или кем закусывает, не знаю, но допускаю наследственность. Совесть у него безразмерная, так мне всегда казалось. Перед отлетом посмотри его официальные отчеты: сложные произведения, в каждом сказано и то, чего в нем не написано, — надо вчитываться. И говорит в такой же манере — сплошными подтекстами. Содействия у него требуй, но настоятельно требуйся, если протянет руку непрошеной помощи. В общем, неоднозначен. Векторным исчислением его не определить, он многонаправлен, тут нужны тензоры.

Впрочем, и ты не лыком шит. Учти, он о тебе знает гораздо больше, чем ты о нем, ты сегодня — полнометражная фигура, а он для Земли пока что лишь эскиз растущего руководителя. Это у вас скажется.

— Много вы наговорили о нем, — сказал я со смехом.

— Мало. Он заслуживает большего. Добавлю: умеет быть выгодным всем. Довел свою полезность до искусства. На Земле его ценят и в Академии наук, и в промышленных министерствах — и за дело ценят, он того стоит. Теперь о его главном помощнике Джозефе Виккерсе. Из моих учеников, но не моей школы. Все у нас были преданные. Он не столько преданный, сколько предающий, таким мне он виделся еще в университете. И предал — пошел к Барнхаузу, не прощу этого! Их взаимоотношения, Барнхауза и Виккерса, — черт едет на дьяволе. Остальное — несущественно.

— Джозеф Виккерс, вы сказали? Не помню такого на курсе.

— Не можешь помнить. Он лет на двадцать моложе тебя. Теперь уходи. Я устал. Готовься к отлету.

— Завтра приду. А насчет отлета — еще не решил.

— Полетишь. Сколько просить — уходи!

Он закрыл глаза, голос вдруг иссяк. Я с нежностью смотрел на его похудевшее, измученное лицо. Он всегда был красив, мой учитель, красив не внешней гармонией линий и красок лица, а каким-то особым светом, излучаемым всем его существом. Тихо, чтобы даже легким шумом шага не побеспокоить его, я удалился из палаты.

На другой день я пришел в больницу, чтобы объявить твердое решение: никуда не еду. И — для смягчения отказа — пообещать быть с ним, пока он болен. Я знал, что мое присутствие для него так же приятно и нужно, как его для меня.

Но говорить было не с кем. Знаменитый астронавт Теодор-Михаил Раздорин ночью скончался. Врач, с сочувствием глядя на меня, сказал:

— Умерший вспоминал вас. Просил передать, что уверен в вас. Не знаю, как толковать эти слова.

— Зато я хорошо знаю, — ответил я и ушел.

Все было предельно ясно. Надо лететь на Ниобею.

Звездолет «Австралия» доставил меня на Галактическую Базу в той же системе двойной звезды Гармония и Аристокитона, к которой принадлежала Ниобея. Только Ниобея была внутренней планетой системы, а База располагалась на внешней, Платее, унылом каменистом шарике, вряд ли много крупнее земной Луны. Здесь всего не хватало — света, тепла, гравитации, зелени, воды, — в общем, местечко не для отдыха. Зато работы было на всех с избытком, это я уже знал из отчетов Барнхауза.

Галактическая База на Платее с момента своего основания являлась собственностью Объединенного правительства, но возводила его по заказу государства компания «Унион-Космос». Наставления Раздорина заставляли подозревать, что всем известные традиции этой компании далеко еще не выведены на Платее. И я бы жестоко солгал, сказав, что жду первого свидания с Питером-Клодом Барнхаузом, потомком жестоких и умелых дельцов, а ныне главным администратором Галактической Базы, с безмятежным спокойствием. Я немного волновался, так это было.

Управление Базы размещалось в многоэтажном здании неподалеку от ремонтных звездолетных заводов. В приемной Барнхауза меня встретила женщина лет под тридцать, его секретарь Агнесса Плавицкая. О ней мне на Земле по секрету сказали: «Ведьма, каких на Брокене и на Лысой горе поискать. В бабы-яги по возрасту пока не вышла, но к помелу присматривается загодя». Если длинноногая, салатноглазая, быстрая блондинка и была ведьмой, то незаурядно красивой ведьмой. И по этой одной причине, не только по возрасту, она и не могла быть бабой-ягой, на эту важную должность, я слышал, вербуют уродливых и безобразных — это их профессиональное отличие. Меня прекрасная Агнесса возненавидела, вероятно, еще до личного знакомства, а с первым взглядом ненависть укрепилась. Я тоже не испытал симпатии к изящному секретарю Барнхауза.

— Знаю. Вы астросоциолог Василий Штилике, — установила она, не дожидаясь, пока я назову себя. — Приехали контролировать нашу работу. Мы вас ждали. Посидите в приемной.

— А почему? — спросил я. — Мне бы хотелось пройти сразу к Питеру Барнхаузу. Он сейчас так занят, что не может меня принять?

— Питер-Клод Барнхауз всегда занят, — отчеканила она. — Но сейчас его нет. Он на заводе, подготавливающим два планетолета к полету. Один из планетолетов предназначен для вас. Питер-Клод просит прощения, что опоздает.

Я присел. Она нахмурилась, давая понять, что я разглядываю ее слишком бесцеремонно. Я не просто разглядывал, а изучал ее. Она была ясна, как раскрытая страница книги. Даже на Земле в праздники не наряжались так тщательно и умело, как эта женщина на далекой, сугубо рабочей планетке. И, вдумываясь в ее лицо — подкрашенные сжатые губы, холодный взгляд, тихо позвякивающие при каждом движении сережки-колокольчики, — я безошибочно чувствовал, что эта женщина совершенно лишена даже инстинктивного кокетства, она не завлекала нарядом и отработанной изящностью, а лишь подчеркивала ими какую-то особую, высшую свою значительность. Кто бы ни был Питер-Клод Барнхауз, думал я, и ему непросто общаться с такой, по всему, непростой помощницей.

Я переоценил ее умение владеть собой. Она резко обернулась ко мне.

— Что вы так вперились в меня, Василий? Пугаю?

— Немножко есть, — честно признался я. — Но не это главное. Любуюсь.

— Не советую, — холодно отпарировала она. — Неинтересно и бесцельно. Я слыхала, что женщины вам столь неприятны, что ни одну не допускаете в свои экспедиции.

— Не всякому слуху верьте, Агнесса. Одну допустил, это была моя жена. С тех пор, правда, стараюсь работать только с мужчинами — не на Земле, естественно. А любовался я не вами, я бы на это не осмелился, а вашими золотыми сережками. Никогда не видал таких.

Она сняла одну из сережек и протянула мне.

— Теперь можете любоваться. Подарок моего бывшего мужа Жана Матье. Надеюсь, это имя что-то говорит вам, Василий-Альберт?

Я не знаток искусства, но имя лучшего художника нашего времени было ведомо и мне, я не раз знакомился с его картинами на выставках и в музеях. Правда, я не знал, что Матье не только живописец, но и ювелир. Сережка была необычайна: два золотых колокольчика вставлены один в другой; меньший, с крохотным язычком внутри, сам служил ударником для большего колокольчика. Я покачал сережку. Оба колокольчика породили

нежный, мелодичный звук — чей-то приглушенный голо-сок печалился и тихо взывал.

— Понял, — сказал я, возвращая сережку. — Покинутый вами муж оставил вам на память свой голос, вечно оплакивающий расставание.

— Не поняли, — возразила она, прикрепляя сережку к мочке уха. — Не я его покинула, а он меня. И поиздевался на прощание: «Пусть голос сережки оплакивает твою потерю, ибо никогда ты не найдешь человека, равного мне. Не сумела оценить, теперь казись».

— Он не страдал, по-видимому, самоуничижением?

— Все мужчины хвастливы. Гении, вроде Жана, особенно. А я ношу эти сережки, чтобы они всегда звенели мне в ухо: «Ты свободна, ты свободна, ты наконец восхитительно свободна!» Я слышу шаги Питера-Клода, господин Штилике.

Я тоже услышал чьи-то шаги в коридоре. Они усиливались, приближаясь, ноги не скользили, а тяжело били по паркету. Барнхауз не просто передвигался, как все люди, а извещал о себе громкими, как тревожный сигнал, шагами. Затем двери распахнулись, и возник он сам. Не появился, не вошел, не проскользнул, а возник, замер — огромный, лохматый, длиннорукий — в проеме двери, как в раме, давая наглядеться на свою фигуру и на широкое, краснощекое, распахнутое в улыбке лицо. А голос был неожиданно для мощного роста тонковат и скрипуч. Впоследствии, в минуты гнева, охватывавшего Барнхауза, я слышал в его голосе такие режущие ноты, такие визги, как будто он не говорил, а пилил дрова голосом, ставшим подобием быстро вращающейся, но плохо смазанной пилы.

— Похож! — возгласил он на пороге. — Нет, до чего похож! Коллега Штилике, хочу, но не умею выразить, как рад вас видеть!

Я пожал его руку — он надавил с нарочитой силой — и заинтересовался:

— На кого я похож, Барнхауз?

— Как на кого? На себя, разумеется. На свои собственные портреты, Штилике. Вон в моем кабинете два ваших стереообраза, войдите и полюбуитесь.

Все стены обширного кабинета Барнхауза были увешаны стереографиями, картинами и схемами. Среди этой бездны изображений я не скоро нашел бы себя, но Барнхауз показал, где искать. Вряд ли я теперь походил на те давние изображения. Барнхауз предложил мне сесть на диван и уселся в кресло, придвинув его к дивану.

— Рад, очень рад вашему прилету, Штилик! — повторил он. — Меня предупреждали о вас — огромные полномочия и прочее. Уверен, что теперь программа промышленного освоения Ниобеи получит новое ускорение. Люди вашего ранга прибывают не для лицемерия и прогулок, а для поворотов и переворотов, это мы понимаем.

— Для начала ограничусь лицемерием и прогулками, — ответил я. — Хочу поближе познакомиться с Ниобеей и ее обитателями.

Барнхауз нарочито высоко приподнял лохматые брови.

— С геологами и горняками? Люди как люди, ничего выдающегося. Или вас интересуют местные людоеды?

— Нибеды, Барнхауз, — вежливо поправил я. — Именно они. Сколько слышал на Земле, нибы людей не едят. Он пренебрежительно фыркнул.

— Много знают на Земле о наших делах. Даже мои краткие отчеты не прочитываются, а просматриваются. Только требования на материалы досконально изучаются, чтобы обнаружить предлог ужать или отказать в запросах. Нет, дорогой Штилик, нибы не едят людей не от отсутствия аппетита. Просто никто из нас не ходит там без оружия и в одиночку. Наше строжайшее правило: не отражать нападение, а не допускать самой возможности напасть на нас. Действует безотказно.

— Неплохое правило! Не хотите ли ознакомиться с моими служебными документами?

Барнхауз хорошо владел собой, но по одному тому, что каждую строчку моего командировочного предписания он перечитывал дважды и трижды, я понимал, как он поражен, если не сказать — ошарашен.

— Сильные бумаги, — сказал он, возвращая документы. — Правда, не совсем то, на что я надеялся... И скорей, даже совсем не то...

Я имел опыт общения с людьми типа Питера-Клода Барнхауза. Они встречались мне не только на Ниобее.

— Будете возражать, Барнхауз? В случае несогласия соблаговолите начертать мотивированный отказ. Вы правитель этого уголка мира, и без вашего разрешения я тут не сумею ступить и шага.

Барнхауз все же был не из тех, кого берут голыми руками. Он ухмыльнулся мне прямо в лицо. И ухмылялся, и смеялся он очень по-своему — не такой уж большой рот внезапно расширялся, распахивался, разбегался по щекам до ушей, и разверзалась краснебая пропасть. Детей даже дружелюбные его улыбки должны были пугать.

— Не рисуйте меня дурачком, Штилике. Я правитель, пока прав. В смысле — пока мои действия признаются правильными. Я не поклонник табели о рангах, но понимаю: вы — это вы, я — это я. Шагайте без разрешения, куда поведут вас ноги. И передайте Объединенному правительству Земли, что мятежника во мне никогда не увидят.

— Я понимаю вас в том смысле...

— Именно в том, вы не ошиблись... Я отправлю вас на Ниобею с первым же планетолетом. Кстати, он уже подготовлен. Я снабжу вас всеми данными об этой планетке. Информация будет исчерпывающей, можете мне поверить. Сейчас я познакомлю вас с нашим космоэкспертом Джозефом-Генри Виккерсом, он недавно вернулся с Ниобеи.

Он встал и подошел к столу. На рабочем пульте светили два десятка разноцветных кнопок. Барнхауз нажал одну из них, и спустя минуту в кабинете появился космоэксперт. Поглядев на Джозефа-Генри Виккерса, я почувствовал, что в моей жизни произошло важное событие. Теодор Раздорин слишком мало успел сказать мне о нем. Я и понятия не имел, чем для меня обернется знакомство с Джозефом, но сразу и безошибочно понял, что наши жизненные пути, мой и этого человека, драматически пересеклись. И пусть мне не говорят, что такое понимание возникло позже, — дескать, я экстраполирую на прошлое то, что осозналось лишь впоследствии. Я не знал своего будущего, не догадывался, какое страшное будущее — с моей помощью — уготовано Джозефу Виккерсу, но меня охватило смятение, едва он вошел, и это свое чувство я помню. Я залюбовался Виккерсом. Он был незаурядно красив. Он был из тех, кто покоряет одной своей внешностью. Высокий, статный, темноволосый, темноглазый, образец гармоничности роста и веса, ума и красоты — таким он предстал мне. И если в нем что-то и отвращало, то лишь временами вспыхивающие иронией глаза и кривоватая улыбка, в ней чудилось высокомерие, этой улыбкой он не соединялся с собеседником, как то обычно у людей, ибо нормальная улыбка равновелика дружескому слову или рукопожатию, нет, он отстранялся, улыбаясь, он указывал улыбкой дистанцию между собой и другими. Позже я узнал, что у него имеются и другие способы отстранения, вплоть до открытого пренебрежения, всегда нарочитого и потому особо оскорбительного.

— Джо, мой мальчик, — прорезал воздух острым го-

лоском Питер Барнхауз. — Уполномоченный с Земли, знаменитый астросоциолог Штилике, решил осчастливить нашу планету очередным благотворительным декретом правительства. В общем, требуют срочно перемонтировать чертей в ангелов. Нужна ваша помощь, Джо.

Джозеф Виккерс поклонился мне, но руки не подал, и я вовремя удержал свою. Он глядел на меня с любопытством, как на диковинное животное. Он засмеялся — достаточно вежливо, чтобы не обидеть, и достаточно иронично, чтобы заранее показать свое отношение ко всем видам благотворительности. Так я его понял тогда, так это и было реально.

— Мне кажется, я мало гожусь для психомонтажных работ, — сказал он. И голос его покорял — мелодичный, медленный баритон звучал ясно и полномерно.

— Джо, мой мальчик, вы не способны смонтировать душу ангела в теле черта, вполне с вами согласен, — острым голосом резал свое Барнхауз. — Но вы же крупнейший знаток Ниобеи. Так вот, докажите, что переконструкция ниба в человека неосуществима. Сообщите об исследованиях в своей лаборатории. Пусть говорят за себя сами, вы меня поняли, дорогой Джо?

— Ознакомить доктора Штилике с результатами наших работ я могу, — сказал Виккерс сухо и наклонил голову. — Сегодня вечером, если не возражаете.

Я не возражал. Барнхауз встал, показывая, что деловые разговоры закончены. Для человека, утверждавшего, что ставит меня гораздо выше себя, он мог бы держаться и не столь начальственно. Ошибки подобного рода он впоследствии делал часто, Раздорин все же переоценил его дипломатическую изворотливость. Впрочем, Барнхауз сразу понял, что со мной надо обороняться, а не переводить меня в свою веру. Не поднимаясь с дивана, я обратился к Виккерсу:

— Знаете ли, что наш с вами учитель Теодор Раздорин скончался? За день до смерти мы с ним говорили о Ниобее, и он вспоминал вас, Джозеф.

В нарочито спокойном лице Виккерса что-то изменилось. Мне показалось, что он смутился. И он не сразу ответил.

— О смерти Раздорина мы знаем, — сказал он. — Большая потеря для науки, а для Ниобеи особенно. Он так много сделал для нее.

— Он говорил о вас перед смертью, — повторил я.

Виккерс понял, на что я намекаю, и принял вызов.

— Естественно, раз разговор ваш шел о Ниобее, а я тут. И конечно, осуждал меня. Он уверовал, что я отступаю от его учения. Однажды он крикнул мне: «Вы предатель нашей школы!» Надеюсь, он говорил вам что-то в этом же духе?

— Почему — надеетесь? — ответил я вопросом на вопрос. — Надежда на то, что вас будут осуждать, — не слишком ли вычурно сказано?

— Зато точно и правдиво, доктор Штилике. В жизни каждого из учеников Раздорина его личность сыграла поистине огромную роль. Он воспламенял наши души, был великим катализатором наших талантов. Уверен, что такую оценку не сочтете ни преувеличенной, ни чрезмерно вычурной. Но видите ли, доктор Штилике, мы его ученики, ушли от него по разным дорогам. Одни продолжают его путь, спрямляют и заливают асфальтом проложенные им кривые тропки, другие свернули с них, чтобы найти свой проход в чащобах неизученного. Первых Раздорин восхвалял, вторых осуждал как предателей.

— Можете гордиться: вас он осуждал, Виккерс. Меня восхвалял: я шагаю по его дороге. Вполне по вашей росписи. Я радуюсь его хвале, вы — его порицанию.

Я поднялся с дивана. Во время нашего разговора с Виккерсом мы с ним сидели, а Барнхауз стоял, переводя взгляд с одного на другого и как бы молчаливо призывая нас закругляться. Я не злобив и не мстителен, но намеренно затягивал разговор, выдерживая Барнхауза в нелепой позе церемонно стоящего между двух сидящих. В другой раз он сообразит, что беседу, начатую мной, буду оканчивать я, а не он.

Барнхауз понял урок. Ни разу потом он не позволял себе забываться. Он оставался правителем в этом уголке мира, но при мне удерживался от застарелой привычки начальствовать.

Виккерс с Барнхаузом остались в его кабинете, я вышел. В приемной Агнесса так взглянула на меня, что я сразу понял: подслушивала наш разговор в кабинете. Тогда это было только догадкой, теперь я точно знаю: у нее имелся аппарат, разрешенный Барнхаузом, она могла даже не подслушивать, просто слушать, что совершается за стенкой, а он потом с охотой выспрашивал ее суждения по поводу услышанного.

И в отличие от своего шефа, она не считала нужным экранировать свои чувства внешней учтивостью. Сколько я ни придумываю характеристик для тона, каким она

заговорила со мной, я не нахожу ничего более точного, чем «ненавидящий голос».

— У вас, конечно, будут распоряжения, господин Штилике,— сказала она этим ненавидящим голосом.— Вы на Земле привыкли к таким удобствам, к такому обслуживанию... Высказывайте, пожалуйста, пожелания.

Ее золотые сережки-колокольчики мелодично позвякивали в ушах, подчеркивая каждое слово. Мне захотелось поставить эту красивую женщину на единственное подходящее ей место, чтобы она знала, что я не сомневаюсь в ее истинном отношении ко мне.

— Понимаю, милая Агнесса,— сказал я.— Вы хотите услышать мои желания, чтобы потом с тихой радостью объявить мне, что на Ниобее они неосуществимы.

— Почему же с тихой? — возразила она.— Я привыкла разговаривать громко. И разве я милая? Обо мне по-разному судачат, но милой — нет, так никогда не называют!

— Значит, немилая? Согласен и на это. Так вот, немилая Агнесса, у меня нет никаких пожеланий. И впредь не будет. Хотел бы, чтобы это вас устроило.

— Трудно с вами, господин Штилике,— сказала она, вспыхнув.

— Все мы народ нелегкий,— сказал я.

Сейчас я понимаю, что можно было взять не такой резкий тон. Хотя я не любил работать с женщинами на далеких планетах, все же грубость в обращении с ними мне не свойственна. Агнесса открыто не вызывала меня на грубость, для этого она достаточно воспитана. Я отвечал грубостью на ее внутреннюю недоброжелательность, а не на невежливость. Возможно, я держался плохо, но что было, то было. Я поклонился, она не ответила на поклон.

Возвращаясь в гостиницу, я почему-то думал не о Барнхаузе и не о Виккерсе, а об Агнессе. Я говорил себе с усмешкой: «Бывает любовь с первого взгляда, а у нас с ней ненависть с первого взгляда, не странно ли?» Теперь я не вижу в этом никакой странности. Даже больше — утверждаю, что мгновенно возникшая ненависть встречается чаще, чем мгновенно возникшая любовь. Любовь все же чувство юное, с годами возможность новой любви ослабеваает, любовь с первого взгляда обычна у двадцатилетних и чрезвычайно редка у пятидесятилетних. А ненависть, вообще недоброжелательность и несовместимость не

знают возрастных ограничений, старик способен на такое же острое чувство вражды, как и юнец.

И еще я думал о том, что на Платее за один день я узнал три формы обращения: Агнесса называла меня «господином», Барнхауз «коллегой», Виккерс «доктором». На Земле давно отвыкли от «господ», там все сильней внедряется радушное обращение «друг». До Платеи оно, по всему, не дошло. Традиции «Унион-Космос» здесь еще живы, как и остерегал меня Раздорин.

Вечером мне принесли в гостиницу с десяток папок: стереоленты, записи, доклады, отчеты. Работники Барнхауза основательно полазили по Ниобее, от их пытливого взгляда мало что укрылось. Мне трудно описать чувства, вызванные этими отчетами и докладами. Восхищение красотой планеты сменялось ужасом от неистовства стихий в ее недрах. Сострадание к жалкому народу, деградировавшему из величия к ничтожеству, превращалось в отвращение от средств, какими нибы поддерживали свое существование.

Было одно важное обстоятельство, породившее во мне тревогу, чуть ли не уныние, естественный вопрос: почему нибы, будучи еще в состоянии цивилизованном, ввели каннибализм? Ответ, казалось, лежал на поверхности: в растительной пище не хватает белка, зверей почти нет, птицы почти неуловимы, стало быть, поедание сородичей, особенно стариков, и так близящихся к могиле, гарантирует продолжение вида. Сперва ешь ты, потом тебя — нехитрая формула бытия, не правда ли? Но в таком случае существуют средства, отвращающие от нибоедения: естественные белки животных, привезенных с Земли и отловленных на Ниобее, разнообразные консервы, заполняющие трюмы звездолетов. Оказалось же, что и звери, и птицы Ниобей, и консервированные белки с Земли действуют на нибов как яды: в мизерных количествах вызывают отравления, в объемах побольше приводят к гибели. Таких погибших от земного угощения нибов к моему прилету насчитывалось уже с десятков, и ни одного не удалось спасти.

Астрофизиологи — были и такие в лаборатории Виккерса — додумались, что в организмах нибов есть что-то, без чего они не могут существовать, и это «что-то» нигде, кроме как в теле у себе подобных, они получить не могут — витанибы, так их пожелал назвать сам Виккерс. Исследования тканей и крови нибов не выявили загадочный витаниб, даже представления нет о том, что это

за вещество. А раз так, то нет и возможности ликвидировать нибоедение: уничтожение каннибализма равнозначно уничтожению самих нибов. Еще ни разу за время моих галактических рейсов я не встречал такого мрачного прогноза. Я перечитывал ужасный последний доклад Виккерса, пытался найти контраргументы — и не находил. Проблема была не из тех, для каких сразу отыскиваются верные решения.

Мне дали два дня на изучение материалов и раздумья, а на третий в моем номере появился Джозеф Виккерс. Он, естественно, заранее предупредил, что нанесет визит, он не был способен пренебречь обрядами благопристойности. И в то же время он мог, как я убедился вскоре, спокойно пристрелить вас при встрече, если вы встали поперек пути. Но и вытаскивая оружие, не преминул бы вежливо поздороваться: «Добрый день, очень рад вас видеть, готовьтесь к смерти!»

— Как вам понравились наши исследования, доктор Штилике?

— Временами испытывал омерзение!

Виккерс кивнул, довольный. Именно на такую реакцию он и рассчитывал.

— Поганый народец, доктор Штилике. Могу надеяться, что вы поддержите наши первоочередные мероприятия на Ниобее как полностью обоснованные?

— Но я не знаю, что вы планируете на Ниобее, Виккерс.

— Разве вас командировали не для ускорения промышленного освоения этой планетки?

Он не мог не знать, что я командирован вовсе не для этого. Барнхауз, конечно, информировал его о нашем разговоре. Я холодно внес ясность:

— Для контроля производимых здесь работ, а не для ускорения их. Для проверки того, насколько они соответствуют общекосмической программе Земли. Мне известно, что Ниобея фантастически богата ценными элементами. Превратить Ниобею в рудную базу космоса, такова долгосрочная перспектива, она остается. Но вы говорите не о долгосрочных планах, а о каких-то первоочередных мероприятиях, Виккерс.

— Первоочередные мероприятия вытекают из долгосрочных планов. Главное — изолировать нибов. Не перемонтировать чертей в ангелов, как выразился Барнхауз, это технически неосуществимо. Нет, просто оттеснить их подальше от наших промышленных разработок. А всего

бы лучше забыть об их существовании, я высказываю в данном случае свое личное мнение, доктор Штилике.

Виккерс выкладывал все это неторопливо, благодушно, какими-то округленными звонами и мелодичными переживаниями бархатного баритона. Он наслаждался и тем, как музыкально красиво звучат его чудовищные предложения, а еще больше тем, что привел меня чуть ли не в трепет. У него блестели глаза. Я не дал ему радости увидеть свое негодование. Я спокойно осведомился:

— У вас имеются основания для такой... необычайной акции, коллега Виккерс?

— Имеются, доктор Штилике. Назову два основания. Первое: нибы препятствуют промышленному освоению планеты. Они еще мирились с появлением малочисленной группы исследователей. Но экскаваторы, бурильные станки, транспортеры приводят их в бешенство. Уже несколько агрегатов уничтожено. Один водитель грузовика спасся только тем, что бросил свою машину и удрал. Не обольщайтесь внешним добродушием этих дикарей. Они народ капризный, склонный к истерии, на них порой накатывает безумие. Знаете, чем объясняют нибы свою ненависть к машинам? Машины возмущают их эстетически! Вот такое словцо из сотен тысяч человеческих слов выбрал дешифратор для характеристики их машиноборчества. Что бы вы сказали о зверях, которые нападают на других зверей потому, что им не нравится окраска шерсти, или звук голоса, или запах кожи?

— Нибы не звери, а разумные существа.

— Нибы — звери, доктор Штилике. Звери с некоторыми зачатками или, точнее, остатками разума. В общем, полоумный народец. Нужно ли церемониться с полоумными? Я напому вам: когда наши предки осваивали Землю, им противодействовали звери и гады, и наши предки не нянчились со львами, тиграми, волками, змеями... Без истребления хищников человек и сам бы не выжил и не создал бы общечеловеческую цивилизацию из конгломерата дикарских племен.

— Мы сейчас жалеем, что человек переусердствовал в истреблении рыб и птиц, зверей и змей! Столько всего погибло!

— Я не предлагаю переусердствовать, доктор Штилике. Давайте разумно учтем не только положительный, но и отрицательный опыт наших предков. Поселим туземцев в охраняемых резервациях. Но основные простран-

ства Ниобеи от нибов надо очистить. Без этого промышленное освоение планеты невыполнимо. Таково мое первое основание для программы изоляции нибов.

— Слушаю второе основание, Виккерс.

В его мелодичном голосе зазвучал металл:

— Второе в том, что эта популяция полуразумных существ сама осудила себя на вымирание. Ее внутренняя воспроизводительная сила стала меньше ее же внутренней силы уничтожения. Мы явились на Ниобею к последнему акту исторической трагедии ее народа. Сотни две лет без нашей помощи, еще сотню лет при нашем благотворительном воздействии — таков предел их дальнейшего существования. Так стоит ли искусственно продлевать их безнадежное бытие? Надеюсь, я вас убедил?

— Не надейтесь, — сказал я. — Мой мандат предписывает всюду изыскивать меры помощи внеземным цивилизациям, нуждающимся в благотворительности человека. Мандата на истребление инопланетных народов я не получал. Наши предки прошли с огнем и мечом по всем континентам Земли. Мы по-иному выходим в космос. Я сделаю все, чтобы не дать совершиться тем мероприятиям, которые вы называете первоочередными.

Виккерс усмехался высокомерной, отстраняющей улыбкой. Я еще не привык к ней, она меня раздражала. Я был готов наговорить ему грубостей из-за одной этой улыбки. Я понимал, что мы отныне враги. Он тоже понял это.

— Что же, доктор Штилике, перчатка брошена, так говорили в старину. Опустим боевые забрала. Уверен, впрочем, что ваши формальные права значительно превышают ваши реальные силы. Разрешите узнать, что вы намерены предпринять? Подразумеваю поступки, а не философские рассуждения.

— Барнхауз обещал отправить меня на Ниобею. Буду знакомиться с планетой и ее обитателями.

— В таком случае осмелюсь потревожить вас личным ходатайством. Моя жена, этнолог Ирина Миядзимо, просится на Ниобею. Ей разрешили сопровождать меня, но этого мало для посещения опасных планет. Ирина пришла сюда от Токийского университета, марка университета — аргумент не из самых сильных. Возьмите ее в помощники или секретари. Барнхауз посчитается с вашим желанием больше, чем с моей просьбой.

Я смотрел на него во все глаза, так меня поразила просьба. Ибо это была не просьба, а вызов. Виккерс,

конечно, знал, что в выработке правил, ограничивающих участие женщин в космических экспедициях, я принимал самое активное участие. Он ожидал отказа и наталкивал на отказ, чтобы иметь личную обиду на меня. Как показало будущее, я был и прав, и неправ. На отказ он надеялся, но вовсе не для того, чтобы лелеять обиду. Я слишком примитивно оценил его. И, подчиняясь этой ошибочной оценке, уверенный про себя, что не разрешу ей вылететь со мной, я решил сыграть в объективность.

— Хочу предварительно поговорить с вашей женой. Когда это можно сделать?

— Хоть сейчас, доктор Штилике. Ирина сидит в холле гостиницы.

Спустя минуту я пригласил Ирину Миядзимо в кресло. Мы с Джозефом Виккерсом сидели в таких же креслах, образуя равносторонний треугольник. Я спросил, чем могу служить Ирине и чем может послужить мне она. От меня она попросила ходатайства перед Барнхаузом, а мне пообещала помочь в изучении нибов. Она не просто этнолог, а космоэтнолог. Земные народности, этносы, она изучала лишь как учебный материал. В аспирантуре она специализировалась на инопланетных этносах. К сожалению, разумных цивилизаций в космосе мало, да и те уже изучены. Но этнос нибов для этнолога — кладезь открытий. Собственно, она и мужа заставила наняться на Ниобею, чтобы впоследствии присоединиться к нему. Она будет исполнительным сотрудником, какую я ни определю ей должность.

Ирина Миядзимо говорила долго и горячо, я слушал внимательно только первые минуты. Я всматривался в ее лицо, вслушивался в грудной, глуховатый, очень низкого тона голос, только у одной на тысячу встречаются такие голоса. И я любовался ею. Нет, она не была красива в обычном понимании красоты. В этом смысле ей было далеко до Агнессы Плавицкой. Даже рядом с красивым мужем она проигрывала: когда я переводил взгляд с него на нее, она казалась дурнушкой, возможно, и была такой. Это не имело значения — красива ли она, или только миловидна, или даже и этого маленького дара природы лишена. Ирина была больше, чем красива, она была прекрасна — той особой, той высшей прелестью, какую не выразить ни изяществом линий, ни гармонией форм, ни музыкой голоса. В ней ничто не выделялось, она была совершенна всем естеством. Мой дед, Иоганн-Фридрих

Штилике, знаменитый в Баварии виноградарь, часто говорил мне о какой-то нашей соседке: «Василий-Альберт, она не богиня, нет, но в ней вечно женственное — эвиг вайблихе, и поверь мне, мальчик, это важней божественности». Что я тогда понимал в речениях деда? Его оценки были мне не по возрасту. Но я сразу понял, что именно о такой женщине говорил мой дед Иоганн Штилике, ибо в Ирине Миядзимо было то самое «эвиг вайблихе», то вечно женственное, что значительней любой красоты.

Мне исполнилось сорок девять лет к тому дню, когда Джозеф Виккерс вызвал ко мне свою жену. На Земле до встречи с Анной я много влюблялся, не теряя головы, расставался без раны в сердце. Обычной семьи я не создал даже с Анной, мы прожили почти десять лет, но детей у нас не было, нам попросту было не до детей. А после смерти Анны не помню, чтобы приглядывался хоть к одной женщине. Я был влюблен в космос, космические экспедиции были единственной страстью моей души, я не мог делить эту могучую страсть со скорогаснущими страстишками. Но если в мире и существовала женщина, способная породить во мне сильное чувство, то эту женщину звали Ирина Миядзимо. Я понял это еще до того, как она закончила свои просьбы. Но одновременно я помнил, что она жена такого же астронавта, как я, удивительно красивого человека и к тому же вдвое моложе меня, да еще моего принципиального врага, и что я не имею морального права стать соперником своего противника.

Я сделал знак, что Ирина может больше не продолжать.

— Я возьму вас с собой секретарем. Готовьтесь к отлету на Ниобею. Когда рейс, коллега Виккерс?

— Планетолет отбывает завтра,— сказал он слишком спокойно, чтобы это было реальным спокойствием.

Они ушли, а я задумался. Я удивлялся себе и не понимал себя. Что сказал бы мой резкий и категоричный учитель Теодор-Михаил Раздорин, если бы узнал о разговоре с Ириной? Наверно, сыронизировал бы что-то вроде: «Пришла, увидела и села на шею». Уж он-то не поверил бы, что я способен вот так, без сопротивления, покориться настоящим совершенно незнакомой мне женщины. Я был недоволен собой и тревожился за себя, мне все больше думалось, что я совершил плохой поступок и вряд ли легко выкарабкаюсь из создавшейся скверной ситуации.

— Ты влюбился с первого взгляда, дружок,— сказал

я себе вслух. — Два важных сегодня события — и оба с первого взгляда. Ненависть к Агнессе, любовь к Ирине. Ненависть взаимная, а любовь односторонняя. К тому же ненависть никто не опорочит: типичная несовместимость характеров и целей, ненавидьте себе на здоровье. А любовь — запретна. Не значит ли отсюда, софистически изрек бы твой учитель Раздорин, что ненависть благодней и поощрительней, чем любовь? Короче, что ненависть лучше любви?

На другой день перед поездкой на планетодром я зашел в Управление. Барнхауз уехал проверять, все ли готово для рейса на Ниобею. У Агнессы торжествующе сияли глаза, она уже знала, что я разрешил Ирине лететь. Она протянула мне какую-то бумагу для подписи. Золотые колокольчики в ее ушах вызванивали похоронный марш.

— Я написала от вашего имени, господин Штилике, объяснение, почему вы сочли нужным разрешить Ирине Миядзимо посещение Ниобеи. Я боялась, что у вас не хватит времени составить этот необходимый документ, а без него вылет Ирины на Ниобею невозможен.

В бумаге было написано, что Ирина Миядзимо направляется на Ниобею, потому что необходимо глубокое изучение нибов, а осуществить такое изучение может только она, выдающийся специалист в этнографии, всю ответственность за такое решение я, Штилике, беру на себя.

— Да это вздор! — воскликнул я. — Откуда мне знать, выдающийся ли она специалист? Я не читал ее работ и вообще лишь раз ее видел!

Колокольчики Агнессы внезапно сменили грустную мелодию на ликующую.

— Не хотите же вы, чтобы я написала, что вы уступили жене Виккерса потому, что она покорила вас, что взяла вас в плен своим обаянием, своим настоянием, своими... Короче, кто поверит, что знаменитый покоритель космоса Василий Штилике способен показать такую слабость? Впрочем, если вы настаиваете, я перепишу бумагу.

Я подписал документ и быстро вышел. Я опасался, что не сдержусь и честно выскажу Агнессе все, что думаю о ней. Она злорадно рассмеялась мне вслед.

5

Экспедиционная станция на Ниобее резко отличалась от других инопланетных станций: огороженная металлическим забором территория, башни по углам забора, на баш-

нях пулеметы и боевые лазеры, внутри ограждения гаражи, мастерские, склады, причальные площадки и двухэтажная гостиница человек на тридцать. И, разумеется, вокруг станции — очищенное от деревьев и кустов пространство, даже холмы сглажены, а ямы засыпаны, чтобы никто не мог скрытно подобраться к забору. Когда на Земле критиковали косморазведчиков Ниобеи за создание такой крепости, они хладнокровно отвергали критику: нет, они не завоеватели, они идут с пальмовой ветвью мира в руках, а лазеры и пулеметы лишь на случай, если на них нападут.

Командир станции — Роберт Мальгрем, высокий швед с золотой, по плечи гривой и солнечно-яркой бородой.

— Коллега Штилике, вам лучше начать знакомство с туземцами с осмотра их древнего города, — предложил Мальгрем. — Сами нибы в нем давно не живут, хоть иногда и забредают туда и могут вам повстречаться. Печальное свидетельство нынешней социальной и интеллектуальной деградации несчастного народа — вот таким вам предстанет этот памятник их угаснувшего величия.

Ирина порадовалась, что знакомство с Ниобеей начнется с древнего города. Это местечко, говорила она, напичкано загадками. Все, что разведали о Ниобее, было ей досконально известно. Она выискивала в отчетах информацию, до какой и Мальгрем, и ее муж не доходили. Она пришла ко мне вечером, у меня сидел Мальгрем, и поделилась своим знанием. Еще первые астроразведчики обнаружили, что, кроме нибов, на планете некогда жили и существа, похожие на земных обезьян. Отчеты утверждали: между нибями и ниобейскими обезьянами шли войны, в результате обезьяноподобных истребили. К отчетам прилагались скорбные изображения: группки обезьян, уныло сидящие за загородками, те же обезьяны, вяло плетущиеся по равнине под охраной нибов...

— Не было войн, — с увлечением доказывала Ирина. — Все, что я вычитала в отчетах, свидетельствует, что нибы на войну не способны, и те обезьянки были не врагами, а домашним скотом. Их не истребляли, о них заботились, как мы о наших коровах и баранах.

— На изображениях нибы ведут обезьян под конвоем, — возражал Мальгрем. — Типичное шествие пленных после проигранного сражения. Вы завтра посмотрите эти картины: обезьяны упираются, а нибы их торопят, на

лицах нибов нетерпение и злость, на лицах обезьян — отчаяние и покорность.

— Нибы просто спасают свое богатство, Роберт. Произошло извержение вулкана, их здесь так много! Нибы перегоняют свой скот подальше от огня и пепла. Вот что я увидела на изображениях, приложенных к отчетам. Я уже не раз доказывала Джозефу, что он неверно понимает нибов, но он не соглашается, он их не терпит. Очень хотела бы, чтобы вы отнеслись к ним пообъективней.

Они еще поспорили и ушли. Я вышел на плоскую крышу гостиницы. Оба светила, Гармодий и Аристокитон, закатились, но тьмы не было. Вверху сияли крупные звезды, их было много, голубых и красных, желтых и белых, — тысячами бессмертных глаз всматривалось ночное небо в диковинную планету. А на планете бушевали вулканы. Станцию разместили в отдалении от крупных горнил, но на Ниобее не было места, откуда бы не виделись высокие фонтаны пламени в мерцающей бахrome золотого дыма. Планета хлопотала всем нутром, с грохотом и гулом исторгалась наружу. Планету мutilо и рвало, она облегчала себя раскаленной блевотиной. И это было красиво — струи красной лавы, плывущие по склонам гор, смерчи пламени, устремляющиеся к небу, как взывающие о помощи руки, белокальные камни, яркими болидами пронзающие воздух. Я долго не мог оторвать глаз от грозной феерии извержений.

— В город будем шагать пешком, — сказал поутру Мальгрэм. — Далековато, но лучше, чем в вездеходе. Вы ведь знаете, что нибы недолюбливают машин.

Я не любитель пеших походов. Взбираться на гору мне трудно, а дорога шла вверх. В течение двух часов всех моих физических сил хватало лишь на то, чтобы не падать на крутых склонах и продирааться сквозь колючие, пряно пахнущие кусты, а духовных — чтобы не ругаться, когда валился в ямы и расщелины, и не стонать, если ушиб был сильным. Красота роскошного леса прошла мимо моего сознания, красоту нужно созерцать, а я проламывался сквозь нее — в трудной физической борьбе с красотой не оставалось места для эстетического наслаждения. Зато Ирина всю дорогу пребывала в ликовании. Она падала, как и я, но не злилась — смеялась, а когда цеплялась за колючки какого-нибудь буйно цветущего куста, то восклицала, выдираясь из ветвей: «Боже, насколько же эти орхидеи красивей земных!» В какой-то момент с ближнего вул-

кана остро потянуло серой, она с наслаждением втянула ноздрями воздух, ее щеки вспыхнули от удовольствия. Даже серный дух планеты был ей по душе, ибо по душе была вся эта планета, куда она так долго и так безуспешно старалась попасть.

— Попахивает преисподней! В одном из кругов ада, помню, была такая же атмосфера,— мрачно сострил я.

— В аду не бывала, но не теряю надежды,— отшутилась она.— Вот встретимся после ада и поговорим, лучше там или хуже.

Ни она, ни я и отдаленно не предчувствовали, что уже немного времени до того, как судьба швырнет нас к черным котлам ада, и последующего обмена мнениями не будет.

Впереди неумоимо шагал Роберт Мальгрэм. Этот человек рожден быть первопроходцем дебрей. Из таких людей в древности создавались завоеватели земель. Он не продирался сквозь кусты, а давил их тяжелыми сапогами. Временами он подбадривал нас — меня, естественно, а не Ирину — окриками, похожими на воинственные клики. Он как бы шагал по тропе войны и беспокоился, не отстает ли его воинство. Он разительно переменился, Роберт Мальгрэм, выбравшись за грозные ограждения своей небольшой крепости. Там, под защитой лазеров и пулеметов, в своем служебном кабинете, он был суховат и сдержан, там для него всего важней была эффективность вверенного ему производственно-космического предприятия. А здесь он дал волю другому своему естеству, здесь он был энергичным, веселым, настороженным, полным воодушевления и тревоги,— всем одновременно. Мы только не знали, что вызывает у него тревогу.

Он вдруг прокричал из гущины скрывших его кустов:

— Шагайте быстрее, здесь отдохнем!

Мы выбрались на полянку на склоне горы. Я уселся на камень, Ирина опустилась на траву, она все же сильно устала. Мальгрэм весело оглядел нас.

— Поздравляю с удачным выходом из леса, друзья!

— Нам что-нибудь грозило? — живо поинтересовалась Ирина.

Мне почудилось, что она даже разочарована: пугали опасностями, а ничего опасного не произошло.

Мальгрэм разъяснил, что в лесу змеи, многие ядовиты. Впрочем, он захватил с собой противоядие. И хорошо, что не повстречались нибы, этот странный народец сердится, когда люди пробираются к заброшенному городу. Зато в

самом городе они приветливы, там с ними можно беседовать, при помощи дешифратора конечно. И при возвращении из города их можно не опасаться. Еще не было случая, чтобы нибы нападали, когда люди спускаются к себе на станцию, — если люди не уносят ничего из города, этого нибы не любят. Вначале были стычки, когда первые косморазведчики переусердствовали по части золотых вещиц и драгоценных камней. Сейчас вывоз экспонатов запрещен, можно лишь фотографировать изделия нибов и отправлять на Землю добытое на планете сырье.

— Значит, были стычки с нибами? Они нападали? — уточнил я.

— Ну, нападения! Швыряли камни, махали палками. Одного отхлестали колючими ветками, он весь покрылся волдырями. Могли и глаза выхлестнуть, если бы не сбросил с плеч золотую змею с аметистами в глазницах. Отличная вещица, можете мне поверить.

Ирина нахмурилась. У нее очень менялось лицо, когда она хмурилась, — видно было, с каким усилием она ворочает в голове иные мысли. Сообщение о стычках людей и нибов опровергало ее убежденность, что нибы не воинственны. Она сказала почти враждебно:

— Я все же делаю вывод, Роберт, что причиной столкновения людей с туземцами было поведение людей. Люди грабили нибов, те не стерпели. Разве не так?

— Можно и так, — согласился Мальгрэм. — Для нас в первые годы было важно, что нибы могут напасть, если им что не понравится. Чуть до войны однажды не дошло: нибы потребовали, чтобы мы перенесли станцию на сто километров. Мы упорствовали, они волновались. Барнхауз не пожелал обострять ситуацию, и мы уступили.

— Нибам нужно было то место, какое вы заняли станцией?

— Ничего им не было нужно. Станция, видите ли, портила им пейзаж, так они объяснили. Впрочем, все обернулось к лучшему. Спустя год неподалеку забушевал вулкан. Сейчас место, где стояла станция, залито лавой. Отдохнули? Полюбуйтесь пейзажем и двинемся дальше.

С полянки открывался великолепный вид. Мы стояли метрах в пятистах над равниной. Равнину покрывали леса, кое-где в темную красень сплошного леса — окраска растений на Ниобее красная и розоватая, только цветы дают все вариации спектра — вкрапливались голубоватые озера и над деревьями высились остроконечные скалы. И на отдалении вздымались жерла вулканов — орудия, наце-

ленные в небо. Из них исторгались фонтаны огня и столбы дыма и пыли. Доносился глухой гул извержений. Почва вздрагивала. Ирина, мне показалось, забыла о цели нашего путешествия. Она подошла к обрыву, поворачивала голову то вправо, то влево, всюду находилось что-то, вызывавшее у нее интерес. И она опять вся раскраснелась от восторга, с ней так происходило всегда, когда что-либо занимало ее внимание, а вещей, недостойных внимания, для нее не существовало. Так было на Ниобее, но, думаю, иной она не была и на Земле.

— Как красиво! Нет, как удивительно красиво! — твердила она и оглядывалась то на меня, то на Мальгрема, как бы приглашая нас разделить ее ликование.

Я оставался спокоен, но на шведа, оставившего свою служебную невозмутимость на станции, восхищение Ирины подействовало. Он, впрочем, больше любовался ею, чем красочным пейзажем. Мальгрем приблизился к ней, она слишком опасно подошла к обрыву, протянул предостерегающе руку, чтобы удержать, если она поскользнется. Он был огромен и могуч рядом с ней — эдакая колонна на двух тумбах, крупноголовой, плечистый, с руками, как с лопатами на длинных древках. Оба светила, Гармодий и Аристокитон, красили его золотую бороду, она поблескивала волосками, как искрами. Но Ирина не обращала внимания на Мальгрема. Она просто стояла рядом с ним — маленькая, тонкая, быстрая, ее голова даже не достигала его плеча. И ее глубокий голос стал еще глубже — он шел, казалось, не из груди, а из самой души. Может быть, это надо сказать и не столь выпендренно, но Мальгрем так вслушивался в ее голос, что любое преувеличение не противоречило реальности.

— Надо идти, друзья, — напомнил я. Мне, хорошо помню, хотелось прервать и ее созерцание окрестностей, и его любование ею. Ухаживания и увлечения в экспедициях не предусмотрены. Мальгрем, хоть и молчаливо, нарушал обычай.

Город открылся минут через десять. Сперва это были небольшие груды камней на склонах горы, груды делались все больше по мере того, как мы поднимались к вершине. Гора была из «столовых», ее почти плоская вершина охватывала с квадратный километр, и всюду громоздились каменные купола. Казалось, что мы попали на земной восточный базар, только здесь здания-шатры были и выше и массивней. Я подошел к одному, потрогал стены, камень

плотно прилегал к камню — ровная, прочная кладка. Я с восхищением покачал головой, Мальгрем откинулся:

— Умели строить предки этих дикарей. Вот подойдем к их дворцу, вы еще больше удивитесь.

Мальгрем назвал дворцом исполинский каменный шатер в центре города. Если другие купола мало отличались от правильной полусферы, то этот походил скорее на конусообразный ненецкий чум. И он был так высок, что приходилось задирать голову, чтобы разглядеть вершину. Я снова полюбовался подгонкой каменных плит, сиреневых, красных, синих, желтых, черных. Каждая плита резко отличалась цветом от соседних, все вместе создавали пестрый и яркий ковер из самоцветов.

— Как невероятно красиво! — не переставала восторгаться Ирина, каменные творения нибов восхитили ее еще сильнее, чем роскошные пейзажи Ниобеи.

— Как выносят эти сооружения вулканические катаклизмы? — спросил я Мальгрема.

Оказалось, нибы нашли для них самую устойчивую форму: здания вздымаются, как гигантские опухоли, землетрясения, или, верней, ниобетрясения, таким постройкам опасны лишь при очень больших смещениях почвы.

— Прочность их строений еще не чудо. Настоящее чудо увидите внутри, — пообещал Мальгрем.

Внутри каменных шатров вело отверстие на уровне почвы, но с небольшим уклоном вниз. Мальгрему пришлось в три погибели согнуться, чтобы пролезть в дыру, Ирина не доставала головой до свода, я, лишь немного выше ее, касался макушкой холодного камня. Мальгрем освещал ручным фонариком путь в туннеле, Ирина, шла за ним, я замыкал. Мы спускались в причудливом переплясе фонарных бликов, отражавшихся от стен, как от зеркал, затем Мальгрем погасил фонарь и куда-то исчез. Ирина остановилась, я подтолкнул ее, она сделала шаг и тоже исчезла. Я последовал за ней. Мы вошли в освещенный зал.

Внутренность дворца была внутренностью купола: это был как бы исполинский колокол метров в сорок высотой, по его сужающимся вверх стенам простирались шесть этажей — поясами по периметру. Каждый этаж нависал над залом кольцевой верандой с балюстрадой. И все внутреннее пространство было лишь шестью поясами таких сужающихся веранд, только на самом верху светило гладкое белое пятно — крохотный потолок огромного помещения.





— Великолепно, правда?

И как в настоящем колоколе, громкий голос Мальгрема загудел, отразился от нижних этажей на верхние и, несколько раз повторился эхом, постепенно меняя силу и тон. «Великолепно, правда?» — грохнуло вниз, «...лепно ...авда...» — мелодично прозвучало выше, «...лепно ...да...» — тоненьким звуком донеслось сверху. Мальгрем захохотал и с минуту наслаждался гармонией новых эхо. Ирина тоже смеялась, но ее слабый голос не смог породить столько эхо. Мальгрем потом, уже на станции, признался, что и раньше многократно испытывал акустику дворца на разной мощи голоса. И для убажания Ирины — ей все больше нравилась мелодия колокольных эхо — Мальгрем то кричал, то пел, то шептал, но каждый раз на полном дыхании, без этого эхо звучало не так выразительно. «Э-ге-ге!» — гремел Мальгрем, «Ух-ух-ух!» — выкрикивал он, «А-ха-ха!» — шептал и пел он, и купол десятикратно возвращал ему и «Эге-ге», и «Ух-ух», и «А-а!».

Что до меня, то освещение купола поразило меня сильнее его многогласных эхо. Каждая балюстрада, все перила, потолки этажей, нависающих над залом, — все излучало свое особое свечение. На первом этаже преобладало темно-вишневое сияние, прорезанное золотыми полосами, выше оно было оранжевым, потом зеленовато-желтым, а наверху — тонко-голубым. И все краски смешивались с сиянием золота, золото преобладало, очеркивало собой и угрюмую красноватость низа, и зелень средних поясов, и возвышенную голубизну свода. Даже воздух, сухой и чистый, без примеси серы, столь отчетливой снаружи, как бы сам светился слабой фиолетово-золотой дымкой.

— Любуетесь освещением? — обратился ко мне Мальгрем, когда ему надоело вызывать разноголосицу эха. — Стоит! Я послал предложение внедрить на Земле такую же систему освещения. Не думаю, впрочем, что согласятся. Красиво, но опасно. Это ведь радиоактивные краски. Нибы смешивали истолченные цветные минералы с радиоактивными веществами, и в каждом возбуждалось свое свечение. Вы сейчас увидите их картины, они тоже писаны радиоактивными красками. Наши земные художники до такого не додумались.

Он вел нас по всем шести верандам, образующим своими кругами внутренность зала. Собственно, это были не круги, а витки спирали, но такого большого радиуса, что отличие от окружностей почти не воспринималось. Да

и сам пол был так искусно изогнут, что в любом месте все шесть этажей протягивались над ним без наклона, — пол повторял кривизну этажных витков.

На первом этаже мы попали на широкую галерею, и я увидел то, о чем прочел в отчетах Вйккера: внутренность дворца была музеем творений резца и кисти. Но надо было собственными глазами увидеть это чудо искусства, чтобы почувствовать его совершенство. Весь нижний этаж заполняли статуи — лес каменных фигур в два и три человеческих роста: зеленые полированные змеи, вздымавшие винтами свои остроголовые туловища, диковинные зубастые птицы, широко распахнувшие голубые крылья в хищном полете, готовые к прыжку красные зверьки, те же зверьки, в испуге распластавшиеся на почве, множество обезьяноподобных существ, рыжих, ушастых, хвостатых, длинноногих, длинноруких, длинношерстных с умильно добрыми и унылыми мордочками. Но всего больше было самих нибов: рослых и крохотных, прямошагающих и ползущих, старчески согнутых и помолодому стройных.

Мы пробрались сквозь чащу статуй к стенам. На них были радиоактивные картины. Я вдруг потерял ощущение места. Я знал, что передо мной только стена, но стены я не видел. Впереди раскрылась цветущая полянка, усеянная голубоватыми валунами, справа поблескивало темное озеро, слева высились густолистые деревья, а вдали, над озером и лесом, поднималась конусообразная голова вулкана, она была багрова, из нее исторгалось пламя и выбрасывался дым, дым свивался в клубы, его тянуло ветром к нам, я потянул носом воздух и ощутил гарь и серу. Невольно я сделал шаг вперед, к озерку, и ударился головой о стену, и только тогда пропало ощущение реальной дали и запаха дыма и серы.

Мальгрем гулко захохотал. Ирина смеялась. Сконфуженный, я потер ушибленный лоб.

— Какая стереоскопичность! — воскликнула Ирина. — Даже великие живописцы Земли не воспроизводили так глубину далей.

Меня все же сильней, чем стереоскопичность пейзажа, поражало разнообразие цвета. Я просто не знал, что физически возможна такая палитра ярчайших красок, горящих не от внешнего освещения, а собственным свечением. Я спросил:

— Не опасна ли интенсивность света? Вероятно, нибы использовали очень активные вещества.



— Нет, радиоактивность невысока, — ответил Мальгрем, — в зале ионизация лишь немного выше, чем снаружи. — И добавил: — Долгое пребывание внутри дворца людям все же не рекомендуется.

Мы двигались по галерее, переходили со спирали на спираль, а на пути непрерывно тянулась все та же чашоба статуй, а по стенам — все такие же яркие, самосветящиеся, разнокрасочные картины. И вскоре стало ясно, что от этажа к этажу тематика статуй и картин меняется. Внизу древние художники и скульпторы только вглядывались в мир, они как бы говорили картинами и изваяниями: «Вот это простор перед домом, а вот это — страшный вулкан, хорошо бы от него подальше. А вот звери, рыскающие в лесу, и птицы, несущиеся над лесом. А это уже мы сами, а рядом обезьяны — у, какие образины!» Но уже на втором этаже появились жанровые сценки: кучка нибов бежала за зверем, другая кучка тащила убитых птиц. Сценок охоты становилось все больше, на третьем этаже, кроме них, ничего и не было, но здесь к охоте на птиц и зверей добавились картины расправ с обезьянами. На колоссальном, в пол-этажа, панно с жутким совершенством воспроизводилось, как нибы хватают отчаянно отбивающуюся обезьяну, — я почти физически слышал надрывный визг жертвы; как метрах в двух подале, на другой ярко светящейся картине, тащат разделанную тушу на костер, и еще дальше — как ее поедают и каким удовольствием, почти блаженством, светятся нибы — густым сиянием излучалась на нас картина пиршества.

— Отвратительно! — прошептала побледневшая Ирина.

— Выше еще отвратительней! — мрачно предрек Мальгрем.

Выше уже не было ни зверей, ни птиц, ни змей. Вообще статуй стало поменьше, уже не лес самосветящихся изваяний, только отдельные фигурки. Зато живопись становилась искусней и ярче, вместо красочных пейзажей лесов, озер и вулканов — сцены сборищ. Мальгрем на четвертом этаже молча подвел к ужасной картине: нибы поедали ниб. Это был, несомненно, ниб, а не обезьянка, и ели его хмуро, без обжорного блаженства, запечатленного этажом ниже. Неведомые художники изобразили не пиршества, а скорбную трапезу — такой мне увиделась картина. Я долго всматривался в группу, понурившуюся у костра, где жарился их собрат. На нижних этажах нибы изображались рослыми, краснощекими, их почти безносые лица с вытянутым вперед — по-звериноподобно

му — ртом, были по-своему привлекательны, зававшие глаза под покатым лбом смотрели весело и разумно. Ничего из внешней привлекательности теперь и в помине не было. Унылые фигуры, бесстрастные лица, тусклые глаза, висающие как плети длинные руки...

— Впечатление, что к каннибализму nibов принудила голодуха, — оценил я картину. — И они не радуются, что нашли такой страшный выход из безвыходной нужды.

— На том этапе их истории, лет тысячи две назад по земному счету, возможно, это было и так, — возразил Мальгрэм. — Но потом они возвели нужду в добродетель. Нибоедение превратилось в ритуальный обряд. На пятом и шестом этажах вы увидите сами, какое пышное оформление получил каннибализм.

На пятом этаже обезьян уже не было ни среди статуй, ни на картинах. Очевидно, к этому времени их больше не существовало. Не существовало и птиц и зверей, или, быть может, они стали так редки, что nibы перестали воспроизводить их в рисунках и изваяниях. Теперь скульпторы и живописцы сосредоточились на изображении своих сородичей. Nibы как бы погрузились в самопознание — и картины и изваяния передавали их настроения и мысли. Я долго не отрывался от скульптуры молодого nibа: печальное лицо, сумрачные глаза, длинные руки, сложенные крестом на груди, — совершенный образ скорби. Рядом старик глядел веселей, он улыбался, подняв вверх лицо, шея и руки его были обвиты пурпурными лентами, гирляндами пурпурных цветов, краски не светились, а пламенели.

— Вас не удивляет убранство старика? — спросил Мальгрэм. Мы с Ириной одновременно пожалы плечами. — Тогда подойдем вон к той картине.

На картине был изображен такой же старик, убранный такими же яркими лентами и гирляндами цветов, и на лице его сияла такая же радостная улыбка, он готовился к чему-то отрадному — таким его живописал художник. Но готовили старика к заклятию. Тускло светились раскаленные камни костра, стояли палачи с каменными секирами в руках. А у самого костра рослый nib с распростертыми руками, казалось, призывал свыше благословение на жертву.

— Здесь они священнодействуют перед казнью, на соседних картинах — пожирают казненного, — прокомментировал Мальгрэм. — На последнем этаже такие же сценки, только мастерством похуже.

Уже к концу пятого этажа стало видно, что и краски светят не так ярко, и рисунки не так выразительны. На шестом, последнем, этаже каменные изваяния выглядели грубыми поделками. На картинах появились новые сцены: к очагам на заклатие вели уже не одних стариков, попадались и молодые. Но с тем же изоощренным старанием живописцы изображали на лицах жертв удовлетворенность, почти радость.

— Противоестественно! — с негодованием воскликнула Ирина. — Никогда не поверю, чтобы живое существо, особенно молодое, радовалось, что его убьют, а потом съедят!

— Возможно, религиозное изуверство, — сказал я. — Фанатики впадают в экстаз. На Земле в старину люди с ликованием самоумертвлялись, чтобы обрести посмертное блаженство.

— Религиозных обрядов мы не обнаружили, — тихо проговорил Мальгрэм. Он наклонился над перилами галереи и что-то высматривал. — Нас выслеживают! Я побегу вниз, а вы не торопясь идите за мной.

Когда мы с Ириной сошли с последней галереи, Мальгрэм разговаривал в зале с двумя нибами. Я впервые увидел живого ниба. Оба были и похожи, и непохожи на изваяния и фигуры на картинах — те же, но ростом пониже, с тусклыми лицами, с неживыми глазами; узкие, покатые плечи плавно переходили в шею; вытянутый вперед губастый рот придавал сходство с собакой; пальцы, непомерно длинные и гибкие, нервно шевелились. Они что-то произносили, нечленораздельные звуки сливались в протяжный гуд — низкий у одного, повыше у другого. Мальгрэм держал портативный дешифратор, провод от него был вставлен в ухо. Гул оборвался, Мальгрэм хлопал по конусовидному плечу одного ниба, подтолкнул другого, и они юркнули в туннель выхода.

— Забеспокоились, не разбойничаем ли в их священном дворце, — сказал Мальгрэм, вынимая провод из уха. — Я объяснил, что ничего изымать не будем. Мы можем спокойно возвращаться на станцию.

— В отчетах сказано, что они нападают только на машины.

— На машины — всегда, на людей — иногда. Потащишь что-нибудь из их художественных поделок — неприятностей не оберешься. Из всех подземелий вылезут, набросятся скопом.

— Они живут в подземельях?

— В норах, так точней. В городе, в эпоху расцвета, они тоже копали себе норы. Шатры и купола, которые мы видели, — только надстройки над жилыми помещениями. И освещение там такое же, как во дворце, — радиоактивные светильники. Света хватает.

— Туннель здесь не освещается, — напомнила Ирина.

— Чтобы не вызывать любопытства даже у своих. Они побаиваются темноты. Ритуальные трапезы устраиваются только в полдень. Кстати, скоро будет такая трапеза. Трое нибов, приготовленных к закланию, уже проходят ритуальное очищение. Старшины приглашают нас присутствовать при их поедании. Разумеется, в роли зрителей.

— Я хочу посмотреть, — быстро сказала Ирина.

— Не советую. Я однажды присутствовал при нибоедении. Отвратительное зрелище.

— Мне надо, — настаивала Ирина. — Я этнолог, я должна досконально знать народ, который изучаю.

Мальгрем отрицательно покачал головой. Ирина обрattилась ко мне:

— Штилике, не прощу ни себе, ни вам, если улечу с Ниобеи, не изучив всех обычаев нибов.

— Слишком сильный аргумент — не прощу! — сказал я. — Впрочем, если Мальгрем гарантирует безопасность... Я и сам не прочь взглянуть на ритуал трапезы. Нам ведь надо найти способ ликвидировать нибоедение, а для этого следует предварительно узнать, что оно собой представляет.

— Что оно представляет, вы видели и на картинах, — хмуро сказал Мальгрем. — Что до безопасности, то есть только одна гарантия: вести себя осторожно.

6

Мальгрем уточнил: до отвратительного пиршества осталось три дня. Эти дни я наполнил знакомством с планетой и рудными промыслами. На участке горных разработок грохотали механизмы — не только машиноненавистники нибы, но и любой человек на Земле счел бы соседство с ним непереносимым. Дома сложная технология разработки недр ослабляет шум, предотвращает пыль, исключает взрывы. Но на внесолнечных планетах далеко до полного внедрения земных технологий. На Ниобее господствовал период взрывов, пыли и грохота. И, вдумываясь в будущее планеты, я все более утверждался, что

надо это безобразие прекратить, до привоза сюда комплекта самых совершенных машин отказаться и от разведки руд, и от их добычи.

Мальгрема в эти дни я почти не видел — он сортировал добытое богатство. Ирина ликовала. Исполнялись ее заветные желания, она вслух мечтала о своей будущей монографии под названием: «Нибоведение. Краткий очерк истории и быта загадочного общества». Особенно восхитило ее пещерное жилище нибов, она еще раз проникла туда вместе с Мальгремом и даже побеседовала с обитателями — швед снабдил ее портативным дешифратором, настроенным на язык нибов.

Вечером перед церемонией каннибализма Мальгрем пришел ко мне и неожиданно попросил запретить Ирине посещение пиршества. Дескать, такие зрелища не для нее. Пойдем мы вдвоем, если это так важно для науки. Ирина пусть остается на станции.

— Почему вы делаете для нее исключение?

— Мы с вами мужчины, Штилике, а она женщина. По-моему, этим все сказано.

— Этим еще ничего не сказано. Она исследователь, как вы и я. Принято не замечать в дальних рейсах, кто мужчина, а кто женщина. Все пользуются одинаковыми правами, выполняют одни обязанности.

Мальгрем вспыхнул:

— Плевал я на дурацкое равноправие! Мы с ней не равны и никогда не будем равны. И я знаю, что она легче меня может попасть в беду, и знаю также, что моя первая обязанность — всегда и везде защищать таких, как она. Я плюнул бы на свое отражение в зеркале, если бы хоть на миг отказался от своего права и обязанности быть сильней.

Он стоял передо мной, разозленный, гневно сжимал кулаки, как если бы уже готовился к драке за нее.

Я холодно сказал:

— Почему бы вам не информировать ее саму о своих мужских правах и обязанностях?

Швед мигом остыл.

— Она так посмотрит... Кто я ей, в конце концов? А вы — уполномоченный Земли, нам велено выполнять ваши распоряжения. Она к тому же ваш работник. Вы можете не просить, а приказать.

— Я поговорю с ней. Приказывать не буду, уговорить попытаюсь.

Ирина Миядзимо вошла, готовая к спору. Она ни

секунды не сомневалась, что я передумал, и твердо решила не дать мне использовать свои права. Я это понял сразу же, как увидел ее покрасневшее лицо, ее блестящие глаза. Ирина хорошела, когда сердилась. Она знала это о себе. Это было ее силой, неоднократно проверенной в спорах, но и ее слабостью, о чем она еще не подозревала. И я думал превратить ее силу в слабость. Однако и она заранее оценивала, какие доводы я могу ей привести, и собиралась пробить в них брешь именно там, где я был послабей.

— Мне не нравится, как вы ведете себя, Ирина,— сказал я.— Простите за откровенность, но вы порождаете среди сотрудников станции нежелательные чувства. Она не ожидала такого начала и смутилась.

— Я бы простила вас за откровенность, Василий-Альберт, но пока не услышала ничего откровенного. Нельзя ли расшифровать намек?

— Сейчас расшифрую. Сознательно вы, конечно, не стремитесь стимулировать у нас... у некоторых работников... чувства... В общем, ненужные и вредные. Но ваше объективное поведение...

— Уж не хотите ли вы сказать, что я заигрываю с сотрудниками станции?

— Ирина, я не давал вам повода считать меня глупцом. Намеренно вы ни с кем не заигрываете. Но ведете себя так, что у сотрудников невольно возникает стремление опекать вас. Знаете единственный способ заставить соседей забыть о том, что вы женщина? Помнить самой всегда, что вы женщина.

— Вы считаете парадокс объяснением?

— Никакого парадокса! Вам непосильно многое, что могут только мужчины. Значит, следует сознательно избегать всего слишком трудного для женской натуры. И тогда никому не придет на ум, что он должен спешить вам на помощь. Он будет чувствовать себя лишь вашим сослуживцем, а не представителем сильного пола.

— Этот разговор имеет отношение к завтрашней церемонии?

— Самое прямое. Мальгрем побаивается пускать вас на сборище нибов. Он убежден, что женщине не место на их пиршестве. Женщине, Ирина, а не косморазведчику, космоэтнологу, моему секретарю, наконец. При мысли о грозящей вам опасности он вспомнил, что как мужчина обязан уберечь вас от беды.

— Он сказал, какая беда грозит мне, если я пойду?

— Не сказал. Возможно, и сам толком не знает. Но он тревожится. За меня или за себя он и не думает опасаться.

— Вы берете назад свое разрешение?

— Просто прошу вас отказаться от завтрашнего выхода. Мальгрэм передал мне свое беспокойство, я разделю все его чувства.

— Все его чувства? — Ирина подошла поближе, раздраженная и решительная. Она стояла прямо передо мной в своем комбинезоне косморазведчика, с вызовом откинув голову, волосы рассыпались по плечам... — Но что значит — разделяете все его чувства? А если он влюблен в меня? Стало быть, и вы влюбились?

Она издевалась и дразнила меня. Она вызывала меня на резкость. Я сделал усилие, чтобы сохранить невозмутимость.

— Нет, Ирина, я не влюблен в вас. Я не из тех, кто нарушает правила поведения в коллективе. И не строю себе иллюзий.

Она так сморщилась, словно проглотила что-то некусное.

— Понятно: рыцарь служебной добропорядочности. Я это поняла еще на Платее. Очень скучно, но добродетельно. А как понять утверждение насчет иллюзий?

— В самом прямом смысле, Ирина. — Я старался говорить спокойно, только такой тон сейчас годился. — Отлично понимаю, кто я и кто вы. С меня этого достаточно, чтобы ни здесь, ни на Земле не влюбиться в вас.

— Вы совершенный образец косморазведчика, это уже установлено!

Я хотел запротестовать, она не дала.

— Я буду осторожна, — сказала она умоляюще. — Очень, очень осторожна! И, учитывая наши объективные различия, ну, просто чтобы польстить хвастающемуся своими преимуществами Мальгрему, буду всюду рядом с ним и с вами и охотно приму вашу помощь, если понадобится. Теперь вам остается доказать, что у вас нет ко мне никакой... в общем, особого чувства.

— Вы чертовка, Ирина! — сказал я, засмеявшись. — Разве что в доказательство, что у меня нет к вам особых чувств...

Она смеялась вместе со мной. Она была очень хороша в ту минуту. И была уверена, что я вру о своем равнодушии, а на деле влюблен по уши.

Этот день, отмеченный черной краской в календаре моей жизни, начался отличной погодой. На безоблачном небе Гармодий с Аристокитоном светили ярко и весело, одно солнце сияло красноватым, другое желто-зеленым, причудливые краски ложились на холмы и горы, они менялись непрерывно, зеленое как бы бежало за красным, краснота опережала желтизну. Я любовался величавым шествием солнц и причудливой сумятицей красок и все больше понимал, что народ, населяющий эту планету, не может не быть наделен даром к живописи. Иначе надо обвинить природу в эстетической расточительности — порождает красоту ни для кого, ни для чего. Вот какие мысли вызвало во мне прекрасное утро. Возможно, влияло и то, что вулканы в этот день устроили себе выходной, ни пыли не плавало в воздухе, ни серой не разило. Я сказал Ирине:

— Такие дни природой предназначены для великих дел. А мы идем лицезреть низменное пиршество, которое ничего, кроме отвращения, вызвать не может.

— У нас, не у них, — возразила она. — Ваше рассуждение человеческое, слишком человеческое, как выразился один древний философ. Понятия низменного и высокого у разных народов различны, говорю вам как специалист-этнолог. Вспомните живопись нибов: с какой истовостью и воодушевлением, с какой гордостью за свою участь шествуют обреченные на съедение. Здесь человеческого отношения к жизни и в помине нет.

Я не нашел лучшего аргумента, кроме стандартного:

— В таком случае будем сравнивать разные формы чистоты и справедливости, если они у других народов не похожи на наши. И тогда я докажу, что наша человеческая, даже слишком человеческая, чистота — чище, наша справедливость — справедливей.

— Другого от вас и не ожидала! Вы ведь образец морального совершенства. Но я не верю в абсолютные критерии морали.

Ирина спорила, улыбаясь. Она умела улыбкой смягчить любой ответ. Ее улыбка говорила: я насмехаюсь над вашими мыслями, но не над вами, я не могу насмеяться над вами, вы мне по душе. Если улыбка ее мужа, холодная и высокомерная, отталкивала, как невежливый толчок в грудь, то ее улыбка была подобна дружелюбно протянутой руке. Она была поступком, а не миной на лице.

Мы снова поднимались к заброшенному городу. Вскоре мы увидели нибов. Они неслышно появлялись из кустов, неслышно исчезали. Некоторые невнятно гудели. Я спросил, о чем их гуд. Мальгрем ответил, что они радуются присутствию людей на торжестве.

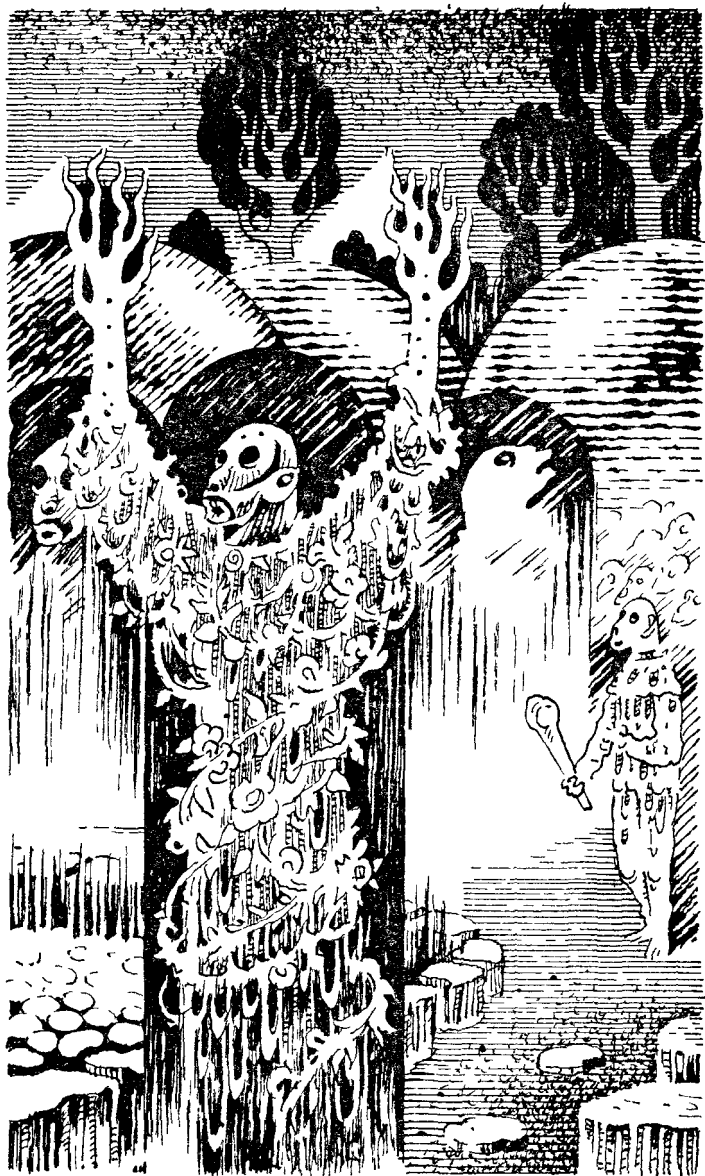
Я забыл упомянуть, что перед дворцом простиралась площадь и на ней были разбросаны плоские камни разной высоты. Посередине площади они образовывали правильный треугольник — стенки горна. На остальных восседали нибы. Нибов все прибывало, они уже не просто сидели, а теснились на каменных пьедесталах. Нам троим отвели камень неподалеку от горна. С десятков нибов чистили горн — убирали листья, углубляли дно. А потом при общем вопле сборища из леса вымчалась группка нибов, они несли на плечах большую плиту с раскаленными камнями. Носильщики проворно ссыпали свою ношу в горн, и вся внутренность его запылала белокалильным жаром.

— Раскаленные камни приносят из ближайшего вулкана, — прокомментировал Мальгрем. — Подбираются к кратеру и длинными черпаками вытаскивают самые горячие камни. Посмотришь — дух захватывает. Нужна чрезвычайная ловкость. Иногда гибнут. Обычай тверд — никакой иной жар, кроме как из вулкана, не подходит для ритуала.

Еще десяток носильщиков примчали новую партию камней, следом — третий отряд. Горн заполнился доверху. Сборище разразилось ликующим гудом. Из дворца появились три ниба в ярких одеждах, за ними — группка нибов, одетых, как и все остальные, в некое подобие штанов из гибких ветвей, в таких же курточках и с каменными палицами в руках.

— Обреченные, — хмуро сказал о троих разряженных Мальгрем. — Один за другим будут демонстрировать свою радость.

Двое были старики, третий выглядел молодым. Первый старик выступил вперед и у самого горна пронзительно загудел. Гуд показался мне унылым, но лицо старика выражало воодушевление. Вообще лица нибов, чем-то напоминающие человеческие, а чем-то собачьи, очень выразительно передают их чувства. Старик воздевал вверх руки, длинные пальцы извивались, как змейки, он гудел все пронзительней и медленно обходил раскаленный горн. Завершив круг, он остановился, простер руки в стороны, гуд превратился в визг. И тогда к нему подошли нибы сопровождения, почтительно взяли под руки и торжественно повели во дворец.



— В зале его прикончат, разделают, разложат на каменной жаровне, — продолжал свои комментарий Мальгрем. — То же проделают и с остальными двумя, а когда жаровня наполнится доверху, ее вынесут и водрузят на горн. И начнутся пляски и визг вокруг горна. Будет очень красочно и очень мерзко, можете мне поверить.

— Какой ужас! — прошептала Ирина. Она побледнела.

Вперед выступил второй старик. И все повторилось: он гудел и пел, вздымал и простирали руки, обходил по кругу горн, демонстрируя на все стороны душевное удовлетворение почетной судьбой.

— Посмотрите на молодого, Штилике, — потрясенно прошептала Ирина — Посмотрите на молодого!

Молодой трясся, лицо перекошило от страха, он затравленно оглядывался. будто отыскивал, куда скрыться. Его поведение ничем не напоминало то, что мы видели на картинах во дворце и уже здесь на площади. И, похоже, это не было очень уж необычным: стража следила за молодым нибом, словно ожидая сопротивления.

— Он глядит на нас, он умоляет о спасении! — горячо шептала Ирина. — Боже мой, надо что-то сделать! Роберт, вы здесь все знаете, сделайте что-нибудь!

— Спасти его невозможно, если не хотим восстания нибов! — сурово отозвался Мальгрем. — Сидите и не шевелитесь, чтобы не вызвать беду. Я даже не могу увести вас, это сочтут оскорблением.

— Он смотрит на нас, он умоляет о спасении! — повторяла Ирина. — А мы ничего не делаем, мы ничего не делаем!

Второго старика увели во дворец. Настала очередь последней жертвы. Стража двинулась к молодому, чтобы силой вытолкнуть его вперед. И тогда он рванулся, выскочил на одну из плит горна, отчаянным прыжком перелетел через раскаленные камни и бросился к нам. Ниб упал на колени перед Ириной, обхватил ее ноги. Он отчаянно гудел, по лицу лились слезы. Ирина прижала его к себе. Мальгрем в смятении закричал:

— Немедленно отшвырните его! Ирина, нам всем не сносить головы, если вы не оставите его! Ирина, умоляю вас!

Она иступленно закричала:

— Не отдам, никому не отдам!

Бесконечно долгую минуту на площади перед дворцом стояла мертвая тишина, выкрик Ирины на мгновение

прервал ее, но не расковал. Стража ошеломленно застыла на своих местах, сидевшие на камнях только таращили глаза. А затем разразился тысячеголосый гуд, все вскочили, стража надвинулась на нас, за стражей напирало все сборище. И, словно услышав в гудящем реве толпы свой окончательный приговор и сразу потеряв надежду на спасение, обреченный юноша оторвался от ног Ирины и повернулся к стражам, покорно отдавая себя на расправу. Ирина схватила его за плечо, он вырвался. Мальгрем с силой дернул Ирину к себе и быстро сказал:

— Сейчас на нас бросятся. Я послал на станцию сигнал тревоги. Нужно укрыться в одном из заброшенных домов, пока не подоспеет помощь. Штилике, отступайте назад и охраняйте Ирину, а я задержу нападающих.

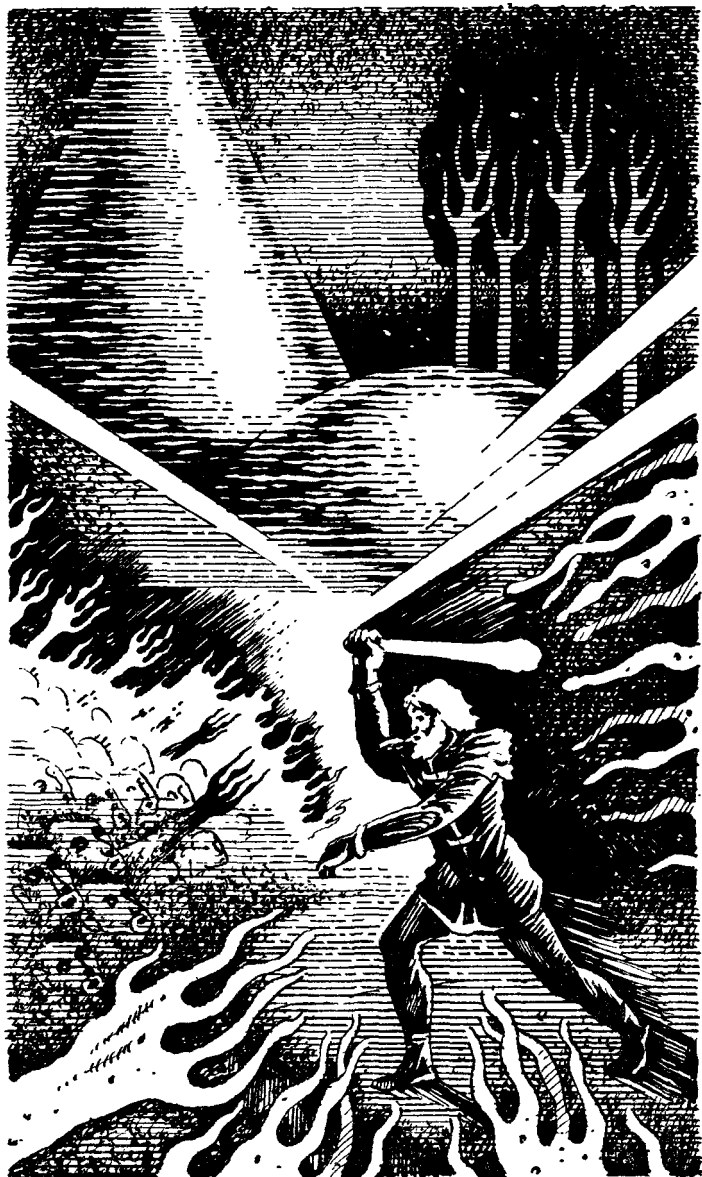
Он ударил ногой одного из наседавших стражей, ошеломя кулаком второго, выхватил его палицу и вскочил на каменную плиту, на которой мы минуту назад сидели. Нибы нестройно ринулись на него, он взмахом палицы отогнал их, потом обернулся и сердито крикнул:

— Бегите же! И секунды не теряйте, слышите!

Я схватил Ирину за руку и потащил за собой. Она вдруг начала отбиваться, что-то со слезами твердила, я не стал слушать. Выше того места, где мы стояли, метрах в двухстах, я увидел каменный шатер с темным входным отверстием внизу и устремился к нему, не отпуская Ириной руки. Ирина запнулась и упала. Поднимая ее, я оглянулся. Мальгрем продолжал сражаться, не подпуская рвущихся к нам нибов. Он возвышался великаном на каменной плите, палица взлетала и опускалась, он поворачивал то вправо, то влево, и каждому взмаху палицы отвечал визг ниба. Швед что-то яростно орал, чуть ли не перекрывая гул толпы. Он весь был охвачен мрачным ликованием боя. Так, вероятно, его древние скандинавские предки в сражениях свирепо орали и пели, отбиваясь и нападая, пока их самих не повергали наземь.

— Штилике, я не могу идти! — донесся до меня рыдающий шепот Ирины. — Я сломала ногу!

Схватив Ирину на руки, я побежал наверх. И тут из леса выскочила группа нибов. Им удалось обойти Мальгрема, не ввязываясь в драку, и они устремились за нами. Кто-то ударил палицей меня по голове, я зашатался и выронил Ирину. Увернувшись от нового удара, я пнул ногой нападавшего ниба. Он покатился вниз, жалобно гудя. Конечно, я был гораздо сильнее любого из них, а их было не так много, чтобы справиться со мной. Я не



схватил брошенной палицы, не орал свирепо и победно, как Мальгрем, я дрался руками и ногами. И, разогнав наседавших нибов — кто в панике удрал, кто катался по склону, пронзительно гудя, — я кинулся поднимать Ирину. Она была без памяти, по лицу — видимо, от удара палицей — прозмеилась узенькая полоска крови. Я потряс ее, она не открыла глаза. Тогда я снова побежал наверх с ней на руках. Никто больше не преследовал нас. Я внес Ирину внутрь шатра, положил ее на пол и выскочил наружу, чтобы посмотреть, что с Мальгремом.

Мальгрем отступал. Он медленно двигался спиной на меня, палица в его руках вздымалась и опускалась. Он отходил по всем правилам старинного боя — не бежал в панике, а свирепо огрызался. И он пел, громко и грозно пел какой-то боевой гимн. Я оглянулся: не подкрадывается ли кто к убежищу, где я спрятал Ирину? Поблизости были только те нибы, что наседали толпой на Мальгрема. Я поспешил к нему. Спустя минуту вокруг нас не было ни одного врага. В ужасе смотрел я на Мальгрема. Окровавленный, с заплывшим правым глазом, с повисшей левой рукой, он еле держался на ногах. Но ожесточение боя еще не угасло в нем, он не бросил палицу и, повернувшись к убежищу, высматривал зрячим глазом, не схоронился ли где несраженный ниб. Потом он прислушался к нагрудному передатчику и хрипло сказал:

— Мои сотрудники спешат с оружием. Этим поганцам придется худо, если они опять нападут. — Только после этого он спросил: — Что с Ириной, Штилике?

— Она без сознания. Ее нужно перенести на станцию.

Сильно хромая, опираясь на палицу, как на палку, Мальгрем тащился за мной к каменному шатру. Я вынес Ирину на воздух. Мальгрем встал на колени, всмотрелся в бледное лицо Ирины, пощупал здоровой рукой ее пульс, потом хмуро сказал:

— Боюсь, дело хуже, чем простая потеря сознания.

Из леса выбежали сотрудники станции. Я поднял и понес неподвижную Ирину, рядом ковылял Мальгрем, сотрудники станции охраняли нас. Нибов нигде не было видно. Мы прошли через площадь, обогнули горн. Камни погасали, белокалийный жар превратился в темно-вишневый, но огненное дыхание еще струилось над костром. Мальгрем все тяжелей передвигался, даже палица не помогала держаться прямо. Одна нога была основательно покалечена, вторая от многочисленных ушибов плохо сгибалась. Он сказал с хрипой усмешкой:

— В пылу сражения раны как-то не ощущались, но сейчас придется подумать о костылях.

На станции Ирину внесли в больничную палату. Врач долго выслушивал ее сердце, смотрел показания приборов, приставленных к ее телу. Я нервничал. Мне думалось, что неплохо бы проявить побольше оперативности, чем переносить датчики аппаратов с одного места на другое. Мальгрем зашел в палату забинтованный, уже не с палицей, а с палкой, левая рука висела на перевязи.

— У нее повреждение мозга, Роберт, — сказал врач Мальгрему. — Состояние грозное. Нужно немедленно лететь на Платею, здесь ни за что не поручусь.

Мальгрем посмотрел на меня, я сказал:

— Срочно подготовьте планетолет. Я полечу с ней.

Мальгрем ушел. Врач остался в палате, временами он подходил к Ирине, переставлял свои аппараты, делал инъекции. Я сел в сторонке, чтобы не мешать. Ирина лежала неподвижная, с закрытыми глазами, очень бледная, так страшно осунувшаяся, что мне на ум пришло старинное выражение: «Краше в гроб кладут». «Гроба не будет, — оборвал я себя. — Клиника в Платее не хуже земных, сейчас люди не умирают от сотрясения мозга!» В ушах у меня звучал голос Ирины, слова, которые я так и не расслышал. Я все вспоминал, все вспоминал — как я потащил ее за руку, как она отбивалась, что-то со слезами прокричала. Почему она отбивалась? О чем кричала? Может, ее исподтишка ударили палицей, а я не заметил, не сумел отразить удар? Мысли стали непереносимыми. Я спросил врача:

— Вы полетите с нами?

— Конечно, — ответил он, не отрывая глаз от Ирины.

В палату вошел широкоплечий парень. Вильям Петров, пилот того планетолета, что доставил нас с Ириной на Ниобею. Он сказал, что планетолет готов, надо собираться. Я ушел к себе взять вещи и документы. По дороге меня перехватил Мальгрем.

— Понимаю ваше состояние, Штилике. — Сильно хромая, он вошел со мной в мою комнату. — Но нужно решить важные дела. Хочу получить вашу санкцию.

— На что санкцию? — спросил я, собирая вещи.

— На сражение с нибами. Автоматические информаторы, установленные в поселениях нибов, доносят о большом волнении. Пиршество не возобновили. Приготовленные к трапезе жертвы покинуты во дворце. Нибы спешно собирают все оружие, каким располагают.

— Ваш прогноз, Мальгрем?

— На станцию готовится нападение. Не думаю, что оно произойдет сегодня или даже завтра, но войны не избежать. Я расставил посты, приказал всем, кто выходит за границы охраняемой территории, брать с собой оружие. Вы знаете, что Земля запрещает вооруженным людям общаться с нибями. Теперь вы видите, что все кончилось бы иначе, если бы мы взяли хотя бы пистолеты. Глупый запрет, не правда ли? И я надеюсь, вы убедите земное начальство, что, невооруженные, мы отныне не можем исполнять на Ниобее свои служебные...

Я прервал его:

— Никакого оружия больше не понадобится, Мальгрем. Ибо больше не будет никаких служебных обязанностей на Ниобее. Я предлагаю вам свернуть все работы, законсервировать станцию и завтра же отбыть всем коллективом на Базу.

Нападение нибов ошеломило его меньше, чем мои слова. Он глядел округленными глазами, словно не верил в услышанное, потом взял себя в руки и через силу усмехнулся:

— Категорическое предписание! А если я не подчинюсь, Штилике? Мой начальник Питер-Клод Барнхауз, а не вы. Он пока не приказывает свернуть работы на Ниобее.

Я сказал спокойно:

— Вы, конечно, можете не подчиниться, я вам не начальник. Но Питер-Клод Барнхауз обязан выполнять приказы правительства Земли. И он встанет перед выбором: либо утвердить ваше решение и тем продемонстрировать свое неповиновение правительству, либо объявить, что вы действовали по собственной прихоти и против его желаний, то есть принести вас в жертву. Как, по-вашему, он поступит?

Ситуацию Мальгрем уяснил себе без дальнейших разъяснений.

— Завтра эвакуируемся, Штилике.

И, поклонившись, вышел. Он был в таком бешенстве, что даже не хромал, выходя.

Она лежала на носилках, я сидел с одной стороны, врач с другой. Врач иногда вставал, что-то менял в положении аппаратов, приставленных к голове и телу, коротко го-

ворил: «Пока без изменений», и это означало, что она жива, но может умереть в любую минуту. Несколько раз, поручив машину автоматом, выбирался из своей кабины пилот и осторожно подходил к носилкам. На его добродушном лице появлялась скорбь, он чуть не плакал, вглядываясь в Ирину. Пилот подружился с нами, с Ириной и со мной, когда доставлял нас с Базы на Ниобею, — выходил в салон из кабины, шутил, рассказывал забавные истории из своей пилотской практики. Он был доволен, что везет такого пассажира, как она, и не ограничивал себя в похвалах ее мужеству: для него решение женщины изучить бушующую недрами Ниобею и особенно ее жителей представлялось чуть ли не героическим поступком. Трагический финал так хорошо начавшегося путешествия терзал его, он все спрашивал врача, не лучше ли Ирине, и получал тот же ответ, что и я: «Пока без перемен».

А я молча смотрел на нее и думал о ней, и думал об Анне, даже, наверно, больше об Анне, чем об Ирине. Как странно совместились судьба этих двух женщин с моей судьбой. Анна тяжело умирала от еще неведомой человечеству болезни, и я вот так же сидел у ее постели и спрашивал себя: «Почему она? Почему не я? Для чего такая несправедливость?» Она полетела на Эринию, чтобы не разлучаться со мной, я выпрашивал для нее особого разрешения лететь, мужу ведь нельзя уходить в рейс с женой, вместе отпускают только на постоянное жительство на планете. Мы же летели в командировку, а не на поселение — и вот она погибает, а я, вытащивший ее на гибель, спокойно живу, буду и дальше жить. Нет, какая чудовищная несправедливость!.. Анна до последнего часа жизни сохраняла сознание, она понимала мое горе, она улыбнулась мне такой ласковой, такой горькой улыбкой, слабеющим движением протянула руку. Я сжал, крепко сжал ее пылающие жаром пальцы, я мучительно силился передать ей хоть крупицу, хоть каплю своей жизни, но не передал, это пока еще неисполнимо — обмениваться жизнями. Наша командировка кончалась, мы оба, если бы она не заболела, уже мчались бы на Землю... И, вглядываясь в нее, такую бесконечно исхудавшую, я уже знал, что не улечу, что у меня теперь одна цель в жизни — отомстить тем зловещим, тем загадочным силам, что отнимают у меня жену. Анна умерла. Я остался, чтобы побороться с проклятой планетой, чтобы навек истребить угрозу гибели, которой здесь встречали всякого пришельца леса и воды, воздух и почва. Эриния настигнет Эринию, мщение покарает

мстительницу, так я постоянно твердил себе каждый день в течение десяти лет жестокой схватки с тлетворным испарением планеты. Кто сейчас вспоминает на Эриннии о страшных днях, когда люди бледнели и задерживали дыхание, ступая на космодром, когда иные даже в герметически защищенной от местного воздуха гостинице не снимали скафандров, укладываясь спать? Не райское местечко, нет, но и не хуже других планет, вполне пригодна для жилья — рая в космосе, к сожалению, пока не нашли. Да, такая она сегодня, эта недавно столь грозная Эринния. Я отомстил ее зловещим силам — навсегда уничтожил их!

И вот вновь сижу у постели, на которой умирает молодая, еще день назад полная здоровья и жизнерадостности женщина, и эта женщина — не жена, даже не душевный друг — так же дорога мне, как и та, первая, моя жена. И я так же неизбежно виновен перед ней, второй, как и десять лет назад был виновен перед первой, — и эта, Ирина, послана мной на гибель. Нет, мне не предъявят формального обвинения, но совесть не знает формальных оправданий, совесть твердит: отказал бы ей в полете на Ниобею, и была бы жива, ты знал, какой риск стоит за твоим разрешением, но пренебрег риском. Собой ты вправе рисковать, но ты рисковал другим человеком, это не прощаемо! За Анну ты отомстил, благородно отомстил, все это признают, сам это о себе признаешь. Будешь ли мстить за Ирину? И кому мстить? Несчастливым нибам? А чем они виноваты? Единственно виноватый — ты. Какой же мезтью покараешь себя?

Врач снова переставил датчики и указатели на теле Ирины.

— Изменений нет, — повторил он свое обычное.

С каждым новым сообщением, что изменений нет, его голос звучал мрачней.

Ниобея отдалена от Платей по космическим меркам незначительно, пилот понимал, как важно прибыть на Базу поскорей, потом он говорил, что гнал на пределе. Но только на другой день мы опустили на космодроме.

И все эти долгие часы полета Ирина лежала неподвижная, бледная, с закрытыми глазами. Она дышала, но так слабо, что я не ощущал ее дыхания, лишь приборы регистрировали кислород, поглощаемый легкими. Я несколько раз дотрагивался до ее руки: рука, чуть теплая, еще жила, но жизнью, подошедшей к потусторонности. Однажды, не вынеся неподвижности Ирины, я спросил врача, нельзя ли привести ее в сознание? Он ответил:

— Опасно. Сознание потребует дополнительной энергии на себя. Результатом будет последующее ухудшение. Случаи такого рода часты.

Я тоже слышал, что тяжелобольные перед смертью нередко приходят на короткий срок в сознание, близкие видят в этом чуть ли не шаг к выздоровлению, а врачи, наоборот, — приближение агонии.

На космодроме нас ждали санитары. Ирину повезли в больницу. В машину, кроме двух врачей, местного и с Ниобеи, села Агнесса Плавицкая. Перед этим она подошла ко мне. Лицо ее кривилось, она еле удерживалась от слез.

— Какой ужас, господин Штилике! — восклицала она. — Такая молодая женщина! Что будет с нашим другом Джозефом? Он так любил свою жену. Мы все ее любили, господин Штилике, она того заслуживала.

— Где Виккерс? — спросил я.

— Он улетел на астероиды. Их такое множество вокруг Гармодия и Аристокитона, еще и трети не исследовано, это теперь главная работа Джозефа. Я послала радиограмму о несчастье с женой, он скоро прибедет.

— Вы так и сообщили — несчастье с женой?

— Нет, конечно же, нет! Осторожней: Ирина заболела, нужно ваше присутствие. Такой ужас, господин Штилике, такой ужас!

— Ваш шеф у себя? Мне нужно поговорить с Барнхаузом.

У нее изменилось лицо. Только что оно было полно скорби. Теперь в нем появилась вражда.

— Придется вам подождать. Барнхауз на Ниобее. Он вылетел туда сразу, как получил сообщение от Мальгрема о вашем чудовищном приказе. Как вам могло прийти в голову такое возмутительное решение? Мы будем протестовать!..

— О моем решении мы поговорим с Барнхаузом, а не с вами! — оборвал я ее. — Когда он вернется?

— Не раньше, чем завтра к вечеру. — Она демонстративно отвернулась и шагнула к машине.

После короткого отдыха в гостинице я пошел в больницу. Оба врача повторили все ту же формулу, которую я слышал весь полет: «Пока изменений нет». Я больше не мог терпеливо выслушивать это и потребовал точного растолкования. Врач Базы был категоричней ниобейского врача.

— Она умирает, друг Штилике. «Изменений нет» в

данном случае означает, что угасание жизни продолжается неотвратно.

— Неужели современное могущество медицины, ваши совершенные лекарства и методы...

Он прервал меня:

— Их хватает только на то, чтобы задержать умирание. За словами «изменений нет» стоит все могущество современной медицины. Не требуйте от нас чудес. Вы хотите к Миядзимо? Идемте вместе.

Врач первый прошел в палату. Изменений не было, он говорил правду. Ирина по-прежнему лежала на спине, бледная, с закрытыми глазами, с выпростанными поверх одеяла руками. «Третий день на спине, ни единого движения, ни единого взгляда,— думал я.— Третий день... Изменений нет — пока...»

— Уйдемте отсюда, Штилике,— шепотом велел врач.

Я позвонил в космопорт. Планетолет с Барнхаузом вернулся с Ниобеи, Барнхауз поехал к себе.

Я пошел в управление. Агнесса Плавицкая нервно ходила по приемной. Она встала передо мной, преграждая путь. Мне было не до шуток и иронии, и я не собирался ни шутить, ни иронизировать, но невольно сказал не так, как надо было:

— Ваш начальник не принимает посетителей, друг Агнесса?

Она вспыхнула. Золотые колокольчики в ее ушах зазвенели отчаянно и жалобно.

— Он ждет вас, господин Штилике. Но он нездоров. Он сильно отравился на Ниобее. Пожалейте его, господин Штилике. Даже если он... в общем, если что вам не понравится... все равно, не будьте к нему суровы. Молю вас, господин Штилике! Ему надо лечь в постель, а он захотел объясниться с вами.

И колокольчики Агнессы мелодично повторили ее мольбу. Я ничего не понимал. Она говорила возбужденным шепотом. И если бы она остановилась на своей непонятной просьбе, я, наверно, от одной растерянности пообещал бы выполнить все, что она пожелает. Но она добавила:

— Вы теперь должны быть мягче, господин Штилике. Вы так виноваты перед Джозефом и Питером-Клодом! Разве случилось бы это несчастье, если бы вы не разрешили Ирине полететь с вами? Вам так хотелось быть с ней, я понимаю, Ирина очаровательная женщина... Какой урок для всех нас, господин Штилике, эта трагедия на

Ниобее. Но я прошу вас, от всей души прошу... Вы понимаете меня?

Это был перебор. Я еле сдерживал бешенство.

— Не понимаю! И, осмелюсь заметить, не нуждаюсь в вашем прощении, Агнесса. И буду вести себя так, как велит мой разум, а не вы.

Она отшатнулась от меня, как будто я ее ударил. Колокольчики зазвенели смятенно и громко.

— Ненавижу вас! — сказала она рыдающим шепотом. — Боже, как ненавижу вас!

— Агнесса, с кем вы шушукаетесь? — донесся из кабинета голос Барнхауза. — Когда же придет этот ваш любимец Штилике?

— Уже пришел, — сказал я, отворяя дверь.

Барнхауз восседал за своим просторным, как теннисный корт, столом — лохматый, краснощекий, широкогубый божок какого-то дикарского племени. Он возложил на стол могучие руки — пятипалые лопаты на длинных толстых черенках. Глаза его, слишком маленькие для такого обширного лица и отороченные воспаленными веками, тускло рдели. Мне показалось, что он напился.

— Не пьян, не пьян! — ответил он на мою невысказанную мысль. — Законов не нарушаю, можете мне поверить. И другим не позволю. Надышался сернистого газа. Мальгрём уговаривал не лезть на вулкан, а я полез. Люблю пламя. И сернистый газ люблю. Но перебрал. Два дня буду ходить осоловелый! Да, Штилике, беда у нас с вами. Погиб хороший человек. По нашей с вами вине погиб. Вы разрешили вести жертву на закланье, я предоставил транспортные средства... в смысле, планетолет, вы понимаете меня?

— Миядзимо еще не погибла, — сказал я. Мной опять овладевало бешенство.

— Погибнет, куда она денется! Смерть у нее в головах, в саване, машет косой, скверная старуха! Долго ли смогут ее отпугивать лекарствами и облучениями? Не делайте таких глаз, Штилике, нехорошо так выщериваться, поверьте мне. Я не столь воспитан, как Джозеф, у меня без изыщества, но кое-какие правила хорошего тона вызубрил. Особенно с полномочными уполномоченными... Сочетание слов, Штилике! Люблю внушительные сочетания — не просто уполномоченный, а еще и полномочный... Еще бы чрезвычайного добавить, а? Как в старину — чрезвычайный и полномочный посол!..

— Хватит вздора! — прервал я его болтовню.

Он наслаждался моим нетерпением. Я вспомнил слова Теодора Раздорина: «Пьет с приятелями и закусывает ими». Я не был приятелем Барнхауза, но закусить мною он, кажется, намеревался. Отравление сернистым газом бывает похоже на алкогольное опьянение, я часто видел людей, на которых так действовали вулканические испарения.

— Какой же вздор, Штилике? Не болтовня, нет! Разве я осмелился бы?.. Уже говорил: я — это я, а вы — это вы. Разница! Ваша слава — это же великое звание, ваша слава, я же все понимаю, Штилике.

— Слава это не звание, а деяние, — сказал я, мне надо было что-то сказать.

Барнхауз ухватился за случайную подсказку. Он подстерегал момент, чтобы, забив мне предварительно голову болтовней, удобно повернуть дело.

— Великолепно сказано, Штилике, великолепно! И как верно! Слава — это деяние. Итак, поговорим о деяниях.

— Слов излишне много пока...

— Тоже верно — многословие! Все верно у вас, полномочный уполномоченный. Во все вы мигом воспроникаете! Я правильно выразился? А почему, Штилике? Безгрешность! Абсолютная беспорочность! Не шутите, не играете в азартные игры, своей жены нет, чужих жен не отбиваете, хоть временами и бросаете на погибель. В общем, совершенство. Величественная статуя самого себя!

Я встал. Если бы он сказал еще хоть одно слово, я ударил бы его. Он тоже поднялся. Барнхауз желал драки. Я глубоко вздохнул, это помогло сдержаться. Он понял, что перешел между. Оскорблениями он уже не сыпал. И ёрничания стало меньше.

— Сядьте, Штилике. Итак, мы остановились на деяниях. Я возмущен распоряжением эвакуировать Ниобею. Бесчеловечный и антигуманный приказ!

То, что он будет настаивать на продолжении работ на Ниобее, я заранее знал. И заранее готовился противодействовать его просьбам и доказательствам. Но что он объявит мое решение антигуманным, было неожиданно.

— Антигуманный приказ! — повторил он с глубокой убежденностью. — Вижу, вижу — потрясены! Потребуется обоснования?

— Не потребу, а попрошу, — вежливо поправил я. — Я ничего не могу от вас требовать, вы подчиняетесь

Земле, а не мне. Я всегда помню, что вы — это вы, а я — это я.

— Моими словами заговорили, коллега? Напрасно, ваши авторитетней. Попробуй я не согласиться с вашими просьбами... нет, не с просьбами, с деловыми предложениями...

Мне все больше надоела эта «говорня», так Теодор Раздорин называл пустое многословие некоторых студентов на экзаменах.

— Если вы считаете своей обязанностью соглашаться с моими предложениями, то о чем еще говорить?

— О вашей антигуманности, вот о чем. Итак, обоснование, которое вы ждете. Начну со своего деда, Рейнольда-Кларка Барнхауза, знаменитого создателя компании «Унион-Космос». Это был самый удивительный человек в мире, вы ничего о нем не знаете.

— Почему же? Кое-что знаю. Столько легенд ходило о нем! О его дворцах, яхтах, личном звездолете, о гаремах на Земле и на планетах, о противниках, которых он безжалостно сшибал со своей дороги.

— Было, было! Ничего не опровергну. Но еще другое было, чего не знаете, хоть и воспроникающий, как я вас справедливо назвал. Энтузиазм был, вот что было, Штилике. Энтузиазм, о котором вы и не подозревали и которого сами лишены. Великое стремление.

— Энтузиазм — какой? Стремление — к чему? К непрерывному обогащению? К накоплению дворцов, власти, все новых знаков почета?

— К служению человечеству, вот к чему, Штилике, я был ребенком, когда у этого поразительного человека, моего деда, уже не было того, о чем ходили легенды, как вы изволили выразиться: ни дворцов, ни яхт, ни гаремов, ни тысяч слуг. Все отобрали! Все ограбили... огосударствили, простите, по оплошке употребил любимое словечко деда. Но энтузиастом он был, энтузиастом остался. Разве вы не знаете, что после перехода компании «Унион-Космос» в руки государства дед не ушел в отставку, на пенсию, на «незаслуженный отдых», как многие, а нанялся в тот же им созданный «Унион-Космос» простым инженером?

— Не простым. Он был выдающийся космостроитель, ваш дед, этого никто не отрицает. И его инженерный талант еще сильнее развернулся после огосударствления компании. Это я признаю за ним.

— Признаете? Вспомнили его инженерный талант?

А я вспоминаю, как он усаживал меня на колени, гладил голову и говорил: «Питер, ты еще маленький, тебе пока играть и играть. А вырастешь, будет не до игр, будет дело. И поведешь ты свое дело с таким же запалом, как сегодня играешь, я верю в тебя, внучек. Веди свое дело так, чтобы люди оглядывались на улице и говорили один другому: «Вон Питер-Клод Барнхауз, великий человек, столько сделал хорошего, а ведь совсем молодой!» Уважение и восхищение — вот чего нужно добиваться, так говорил мой дед, Штилике.

— И вы добивались?

— Да, Штилике. Тысячекратно — да! Хотите знать самую точную, самую правдивую формулу моей жизни? Служение человечеству! Вы протестуете?

— Не могу протестовать против того, в чем не разобрался.

— Многие выше оценивают ваш интеллект. Не поверят, что не разбираетесь в простых понятиях. Ладно, на минуту поверю, что оступели. Несчастье с женой Виккерса, засевшие в мозгах романтические теории вашего учителя Раздорина, всевластные полномочия... — факторы, не способствующие трезвому анализу обстановки...

— Между прочим, Виккерс тоже ученик Раздорина.

— Есть ученики, только идущие за учителями, и есть научившиеся выискивать собственные пути. Так вот, служение человечеству. Надеюсь, вы не будете отрицать, что оно прежде всего в том, чтобы узнать, в чем нуждается человечество — открыть само существование этих нужд, ибо их не всегда заранее знают. И сделать все, чтобы нужды эти, давно известные или только что открытые, были максимально удовлетворены. Возражаете?

— Нет. Правильная посылка.

— Тогда слушайте потрясающую новость! Впрочем, вы уже слышали о ней, уверен, но своим холодным, своим педантичным рассудком не уловили ее пылающего жара, ее гигантского стимулирующего толчка вперед, ее могучего катализирующего действия!..

— А попроще нельзя?

— Можно, Штилике. Только очень непросто излагать сложные вещи просто. Итак, чтобы попроще... Человечество встало перед новым промышленным скачком, перед новой технической революцией, и она будет грандиозней всех предшествующих. Но она немыслима без сверхтяжелых химических элементов. Их, эти сверхтяжелые элементы, создают в лабораториях — синтезируют по атому!

То есть: мы знаем все предпосылки для новой промышленной революции, но создать их — непосильно. Близок локоть, да не укусишь! Вы астросоциолог, Штилике, вы и отдаленно не представляете себе, какие возникли исполнинские возможности для совершенствования и какие исполнинские трудности мешают этому совершенствованию.

— Почему же не представляю, да еще отдаленно? Кое-что знаю. Сейчас вы объявите мне, что Ниобея — то самое местечко, где можно практически реализовать высчитанные возможности.

Барнхауз закричал не сдерживаясь, его острый голос, так не гармонизировавший с массивным телом, дошел до визга:

— Нет, не представляете себе, Штилике, нет и еще раз нет! Слушайте меня, тысячами ушей слушайте, всеми мозговыми извилинами резонируйте! Так вот, Ниобея — единственный в космосе кладезь величайших редкостей. Ибо здешние руды содержат сверхтяжелые элементы, не радиоактивные, не спонтанно распадающиеся, нет, стабильные — номера в таблице Менделеева: сто десятый, сто четырнадцатый, сто тридцать второй и еще с десятком номеров, — и не отдельными атомами, не граммами, даже не тоннами — миллионами тонн! И редчайшие изотопы уже известных элементов — тоже миллионы тонн. Голова кружится! Сердце замирает — такие богатства! Все будущее промышленное развитие человечества, как на фундамент, обопрется на эту маленькую, вулканизирующую, удивительнейшую из всех планет! А вы приказываете закрыть все разработки, всякую разведку на ней! Как это понять? Как это вытерпеть! Так хладнокровно, так безответственно поставить крест на величайшей возможности человеческого благоденствия!

— И на вашей личной карьере тоже? — холодно уточнил я.

Я знал, что он взорвется, — и он взорвался. Но я недооценил его, Барнхауз был сложнее, чем в те дни виделось мне. Он вскочил и орал:

— Да, и на моей карьере, не отрицаю! Я честолюбив, я дьявольски честолюбив! Это преступление? Вы не меньше моего честолюбивы, только скрываете, а я не таю свои цели, свои желания, великое стремление, завещанное мне дедом! Как вы скромно, как намеренно скромно носите свой нимб великого астросоциолога, устраивающего на разных поганеньких планетах приемлемые условия

существования! Слава ваша шествует впереди вас, она предвещает вас, никакое она не деяние, просто звание, ореол, предварительное извещение о вашем торжественном явлении, деяние следует потом! Как мы с Джозефом растерялись, узнав о вашем полете к нам, еще не было никаких деяний, а мы сжимались, ожидая вас, вот что она значит, ваша слава! Это ли не результат честолюбия?

Я спокойно напомнил:

— Мы все же говорим о вашем честолюбии, а не о моем. Вы снова упомянули о великом стремлении вашего деда. Оно имеет отношение к вашей карьере?

Барнхауз помолчал, собираясь с мыслями. Он был явно не в себе.

— Моя карьера! — сказал он горько. — Мои великие стремления!.. Быть благодетелем человечества — вот мое великое стремление. Вам этого не понять, Штилике, у вас иное честолюбие. Вы довольствуетесь благоустройством глухих уголков вселенной, мне этого мало. Плевать я хотел на Ниобею, на ее ничтожных каннибалов. Но она может стать плацдармом для прыжка вперед всего человечества! Хотите знать? Я первый, когда еще не знали о богатствах здешних недр, предугадал грядущее их значение. Я не был послан сюда в случайную командировку, как вы, я стремился сюда, я требовал, чтобы меня сюда направили, я доказывал, что только я, один я, лучше всех я гожусь для освоения Ниобеи. Доказал, освоил!.. Ваш запрет — не только конец моей служебной карьеры, это выстрел в мое сердце, растоптанная моя душа!..

Я молчал. Он хмуро глядел на стол, потом сказал:

— Штилике, молю, отмените свой запрет! Неужели вы и вправду не понимаете, какая потеря для Земли отказ от этой планеты?

Во мне хаотично проносились мысли и картины. Я с усилием показывал спокойствие, но спокойствия не было. Почти с болью я понимал, как много правды в каждом слове Барнхауза, и отвергать ее я не мог, ибо правда неотвергаема. Но была и другая правда, более высокая. Так странно сложились обстоятельства, что две правды родились одновременно из одного события, как естественные его следствия, и одна противоборствовала с другой. Я противопоставил более высокую, сильнейшую правду правде слабейшей.

— Вы правы, Барнхауз, — сказал я. — Все, что вы сказали о благоденствии человечества, справедливо. И ваше честолюбивое стремление помочь этому благоденствию вы-

ывает уважение. Можете мне поверить, это искренне. Но какую цену заплатить за поспешно создаваемое благоденствие, за лихорадочно ускоряемый промышленный переворот? Гибель маленького народа — вот цена. Слишком высокая, безжалостно высокая цена, Питер Барнхауз.

Ему показалось, что появилась хорошая возможность продолжить спор. Он воскликнул:

— Нет, Штилике! Нет этой цены, вы ее придумываете. Кто осмеливается говорить об уничтожении этого народа? Не я, во всяком случае. Не Виккерс. Переместить нибов из одного места обитания в другое место — и исчерпана проблема. И там, в заповеднике, подальше от промышленных разработок, создадим им такие условия жизни, о которых им самим и не мечталось. Расцвет, а не уничтожение — вот что мы предлагаем!

— Уничтожение! — повторил я. — Не камуфлируйте хорошими словами скверные дела, Барнхауз. Общество нибов на краю существования. Их так мало, что еще какие-то небольшие потери — а потери неизбежны при любом переселении, — и конечно, популяция покатится неудержимо вниз. Помните, как на Земле погибали животные? Не надо было всех перелавливать и перестреливать. Довели до какого-то количества, ниже жизнеспособного минимума, и железные законы вырождения сами довершили остальное. Раньше мы этого не понимали, теперь знаем и понимаем. Барнхауз! Вы служите человечеству, создавая для людей еще неведомые технические усовершенствования, предоставляя им еще неиспробованные бытовые удобства. Но человеку свойственно щадить другие живые существа, поступаться ради их благополучия, ради их жизни собственными удобствами и достатком. Я тоже служу человечеству, Барнхауз. Самому высокому, что есть в человеке, — человечности. И пока я имею хоть немного власти, оттеснения в резервации несчастного народа Ниобеи не будет!

Барнхауз вдруг заплакал. Он слишком наглотался вулканических газов, слишком много нервов потратил на наш спор. Лицо его исказила страдальческая гримаса, он вытирал ладонью слезы, тошенько всхлипывал. Всего я мог ожидать от него в тот момент — и грубой брани, и оскорблений, даже рукоприкладства, — только не слез. Я молча глядел, не зная, что сказать и надо ли что-нибудь говорить.

— Ладно, — произнес он, размазав остаток слез по щекам. — Поговорили... Простите меня, Штилике... Не сдержался. Больше не будет.

В кабинет без стука вошла Агнесса. Она направилась к Барнхаузу, даже не взглянув на меня. Вместо мелодичного и нежного пения ее колокольчики издавали гневный перезвон. Агнесса, конечно, опять слышала все, что мы говорили.

— Какой стыд, Питер! — глухо выговорила она, подойдя к столу. — Так распускаться! И перед кем? Возьмите себя немедленно в руки! Вам надо лечь в постель, принять лекарства...

Он опустил лицо под ее пронизывающим взглядом. Массивный «медведь среднего роста», как его иронически именовал Раздорин, выглядел очень плохо. И хотя я знал, что ни при каких обстоятельствах не уступлю настояниям Барнхауза, мне стало жаль его — и оттого, что он встретился с моим категорическим противодействием, и оттого, что таким растерянным и подавленным его увидела красивая и недобрая помощница. Он заслуживал лучшей участи, чем столкнуться со мной, так я почувствовал тогда, так чувствую и теперь.

— Уже успокоился, Агнесса, — сказал Барнхауз, силась улыбнуться. — Агнесса, прошу вас...

Но если он объявлял себя успокоившимся, то его воинственно настроенная секретарша успокаиваться не желала.

— Не просите, не уйду! — отрезала она и повернулась ко мне. Ее глаза палили меня. Она взмахнула головой, колокольцы залились тонким негодующим звоном. — Так жалко держать себя! И перед кем, снова спрашиваю? Перед сухим чинушей, перед бездушным космическим бюрократом, перед высокомерным вельможей, которому плевать на наши труды, наши усилия, наши великие цели, наши радостные мечты! Вот перед кем вы потеряли лицо, Питер, никогда не прощу вам! И еще добавлю, последнее, самое страшное — перед убийцей нашего друга!

Я чувствовал, что побледнел. Все оскорбления теряли силу перед последним обвинением. Я с трудом выговорил: — Ирина умерла?

Выражение, появившееся на лице Агнессы Плавицкой, я не могу назвать иначе, как зловещим.

— А вы надеетесь, что не будет мук совести за ее гибель? Не надейтесь! Только что сообщили из больницы, что жизни Ирине Миядзимо осталось час или два.

Я хотел выйти. Агнесса преградила мне путь, как недавно в приемной перед разговором с Барнхаузом.

— Не торопитесь, господин Штилике! Ваш разговор с

Барнхаузом не закончен. Питер, скажите господину уполномоченному о депеше, которую я сегодня утром отправила на Землю.

Он заколебался.

— Агнесса, ответа пока нет, зачем заранее расписывать?

Она оборвала его. Эта женщина, следовало признать, была не только чертовски красноречива, не только яростна в своих симпатиях и антипатиях, но при всей страстности характера гораздо организованней Барнхауза. Еще до того, как она заговорила от имени их обоих, я понял, что Питера Барнхауза и Агнессу Плавицкую объединяют не одни лишь служебные связи.

— Вы трусите, Питер! — бросила она. — И позволяете ему уйти победителем, а никакой он пока не победитель. Я сделаю то, на что вы не решаетесь. Мы, Штилике, — она подчеркнула голосом это «мы», и громкий перезвон колокольцев утвердил ее слова, — сегодня отправили рапорт на Землю с требованием лишить вас всех полномочий и отозвать с Ниобеи. Можете быть уверены, ваши действия охарактеризованы со всей объективностью как недопустимые, вредные и противоречащие всем программам освоения Ниобеи.

Пока Агнесса говорила все это, главный администратор Космической Базы был безгласен, растерянно опустив голову. Все-таки тяжело мужчине показывать другому мужчине, что он попал под женский каблук. Я сказал сколько мог спокойней:

— Очень жаль, Барнхауз, что вы не начали нашей беседы с этой депешей. Было бы поменьше социальной философии в нашем споре и побольше организационных проблем. Скажу от души: желаю вам полного неуспеха в ваших просьбах к Земле. И, в отличие от вас, не буду скрывать, что сегодня же тоже направлю на Землю депешу, где изложу свое понимание дел на Ниобее.

— Потребуется отстранения Барнхауза? — спросила она с вызовом.

— Нет, почему же? Ваш шеф — отличный администратор. Наверно, не слабей своего знаменитого деда, о котором сегодня столько вспоминалось. Энергия и деловитость в крови у Барнхаузов, я это учитываю. Даже вашего удаления не попрошу, Агнесса, хотя и мог бы, причин для этого достаточно!

Я вышел. Надо было спешить в больницу.

В больнице к Ирине меня не пустили.

— Ирина Миядзимо умерла, — сказал в приемной врач. — В палате только что прилетевший Джозеф Виккерс. Я считал нужным вас встретить и предупредить. Конечно, если вы пожелаете...

— Не пожелаю, — сказал я. — С Виккерсом я встречу позже. Спасибо за предупреждение.

Теперь надо было идти на станцию космической связи. Я известил Землю, что общего языка с Барнхаузом не нашел, и попросил для себя чрезвычайных полномочий. Вспомнив, как Барнхауз издевался над старинным званием «чрезвычайный и полномочный посол», я пожал плечами. В старых речениях, даже на слух странных, было много пригодного и для нашего времени. После этого я вернулся в гостиницу и, не зажигая света, сел в кресло. Мысли свои следовало привести в порядок.

Гармодий с Аристокитоном закатывались, в окнах темно. Нигде в космосе нет таких красивых закатов, как на Платее и Ниобее. Небо пылало тысячью разнокрасочных пожаров. Я вяло вглядывался в мистирию заката и думал о Барнхаузе и его подруге. Послать депешу на Землю придумала Агнесса, он подчинился ее настоянию. Вот же прощательная женщина: ни единой секунды не верила, что со мной удастся соглашение, и тайно нанесла предупредительный удар! А Барнхауз верил, что сумеет меня переубедить. Иронизировал, ёрничал, пускался в философские отвлеченности — старался зажечь мою холодную душу, они ведь оба видят ее холодной и бесчувственной. А когда не вышло, расплакался по-ребячьи. Еще недавно, при наших с ним, в общем-то, мирных отношениях, и он мне не нравился, и она еще больше не нравилась. А сейчас оба пошли стеной против меня, и я начинаю им даже в чем-то симпатизировать. Как она просила быть помягче с ним, как умоляюще подрагивали ее колокольчики! И ненавидела, и умоляла, и оскорбляла, и унижалась — все сразу. Любовь, конечно. Нет, любовь не для таких местечек, как Ниобей. Чудовищно неделовое, абсолютно несправедливое чувство! Кто-то вдруг становится важнее всех людей, чуть ли не единственным в мире, а чем он лучше миллиардов других? Для возвеличивания одного способна губить целые народы — вот что такое любовь!

«Неделовое», «несправедливое», «необъективное», с горечью думал я. «Не для таких местечек, как Ниобей!»

А сам ты? Или не влюбился? Или все, что делал на этих двух планетах, не шло под знаком несправедливого и неделового чувства? Сучок в чужом глазу разглядел, а как с бревном в собственном? Вот скоро к тебе придет муж женщины, в которую ты так глупо, так горько влюбился. Что скажешь ему, сухой чинуша, бездушный космический бюрократ, высокомерный вельможа? Что вдруг потерял голову, стал необъективен, несправедлив, пристрастен, и от таких неделовых чувств погибла молодая женщина, его любимая женщина, столь дорогая и тебе?.. Осмелишься ли на признание? Найдешь в себе силы на честный ответ?

Виккерс пришел, когда закат отпылал и снаружи стало темно. Он отворил дверь и сказал в темноту:

— Штилике, вы здесь?

— Входите, Виккерс, — сказал я. — Сами зажгите свет.

Он зажег свет и сел против меня. Он был страшен. За несколько дней, что мы не виделись, он постарел лет на десять. Некоторое время мы молчали, потом он сказал:

— Она так и не пришла в сознание перед смертью.

— Она не пришла в сознание, — повторил я бесстрастно.

Мы еще помолчали.

— Ничего не выйдет, Штилике, — сказал он с болью. — У вас не получится спокойствия, хоть и силитесь быть спокойным.

— Нет, почему же? — сказал я неопределенно. Я хотел, но не мог сказать что-либо ясней. Я не знал, зачем он пришел ко мне.

— Я хотел вас убить, — сказал он. — Я тешил себя этой мыслью: надо, очень надо отомстить вам за гибель Ирины. Но вот гляжу на вас и понимаю: не смогу вынуть оружие. Взял с собой пистолет, но... не могу.

— Выше ваших сил стать убийцей?

— Глупости, Штилике! И рука не дрогнет, если захочу убить. Не хочу — потому и не могу. Посмотрел на вас и понял: какая это месть — убить? Оставить вам жизнь — это месть! Посмотрите на себя в зеркало, Штилике, вы за одну неделю так переменились... Вы сами мстите себе — это горше, чем пуля в сердце.

— Зачем вы пришли ко мне, Виккерс? Произошла трагедия, не будем разжигать ее жалкими словами.

— Штилике, ненавижу вас! — У него задрожал голос. — Всей душой ненавижу. Но вижу и ваше горе. И знаю, что оно не меньше моего. Вы любили Ирину.

— Я не давал вам повода...

— Не лгите! Вы влюбились в Ирину в тот самый час, когда я привел ее к вам. Я это увидел тогда по вашему лицу, услышал в голосе.

— Повторяю, я ничем не выдавал себя.

— Не выдавали, верно. Но, значит, было что выдавать? Этим одним вы выдаете себя. Штилике, я сам влюбился в Ирину с первой встречи, с первого взгляда, с первого слова, сразу и навсегда. Мне ли не понять, что и с другим это может произойти?

— Я чист перед вами, Джозеф.

Он горько покривился.

— Знаю, все знаю. Ирина перед отлетом на Ниобею сказала, что вы полная энциклопедия всех предписанных добродетелей. Даже страшно быть рядом с таким безгрешным, так она сказала. Но видите ли, Штилике, ее покоряло все удивительное. А что удивительней, чем нестарый мужчина с ангельскими крылышками на плечах и с громкой славой звездопокорителя? Я ревновал вас, Штилике. Я боялся потерять Ирину. И потерял ее. И вы виновны в том, что ее нет ни для меня, ни для нее самой, ни даже для вас.

— Трагичные обстоятельства...

— Обстоятельства были подвластны вам. Я разговаривал с Мальгремом. Вероятно, ему ампутируют ногу, левая рука тоже не скоро поправится. Но сознание у него не ампутировано. И он рассказал, как уговаривал и Ирину, и вас, чтобы она не ходила на мерзкое пиршество каннибалов. Вы могли запретить ей, но не захотели.

— Я не оправдываюсь, Джозеф.

— У вас нет оправданий! И если я не убиваю вас, то лишь потому, что сознание своей вины вам горше, чем расставание с жизнью. Вам предстоит мучения, куда тяжелей обычной смерти. Я жалею вас, Штилике, что назначаю вам такую безмерную кару, хоть вы и не поймете моей жалости, такие чувства вам неведомы.

Я не выдержал:

— Чего вы хотите, Виккерс? Давайте кончим нашу странную беседу.

— Мы только начинаем ее, Штилике.— В его глазах загорелся злой огонь.— Совершенно злодеяние, надо мстить. Или вам и такое человеческое чувство незнакомо?

— Вы только что сказали, что отказываетесь от мести.

— От мести вам! Ибо вы и без моей мести неизбежно наказаны.

— Вы хотите мстить бедным нибам?

— Не бедным, а подлым! Хоть на час станьте обыкновенным человеком, вы же не статуя святого, вы же пока живой. Взываю к вашей чести! К вашей любви к Ирине, наконец!

Он уже не говорил, а кричал. Я приказал себе соблюдать сдержанность.

— Как же вы собираетесь мстить, Джозеф? Разыщете, кто из нибов напал на нас, и устроите космический показательный процесс?

Виккерс в бешенстве топнул ногой, на губах вскипела пена. Он размахивал руками и наступал на меня.

— Истребить всех! Земля запретила являться вооруженными к аборигенам планет. Но для каждого правила есть исключения. Лететь с оружием на Ниобею и пустить оружие в дело! Потом можете арестовать меня, Штилике, но сейчас не мешайте. Молю вас вашим чувством к Ирине — не мешайте мне отплатить за ее гибель!

Он выкричался и умолк. Вряд ли он хорошо помнил, что в неистовстве наговорил. Но намерение его было ясно. Я сказал:

— Я арестую вас раньше, чем вы отправитесь на Ниобею. Пока у меня в руках власть, я не дам вам воли на преступление.

Виккерс быстро пришел в себя. У этого человека бешенство редко бывало горячим, он чаще леденел, впадая в иступление. Только что он кричал и судорожно дергал руками. Теперь каждым размеренным словом веско подчеркивал угрозу:

— Доктор Штилике, не становитесь у меня на дороге. Это опасно, поверьте. За смерть Ирины я вас уже простил. А что до дальнейшего, то предупреждаю: и рука не дрогнет, если появится нужда...

Он быстро повернулся и ушел. Я не успел ничего ему сказать вдогонку. Да и не хотел что-либо говорить. Виккерса надо было вывести из тяжелого состояния. Косморазведчик, потерявший душевное равновесие, непригоден на дальних планетах. Но он впал в ярость, любое мое слово могло лишь усилить неистовство. Завтра, послезавтра, думал я, отправят тело Ирины на Землю, будет еще время встретиться, что-то по-доброму решить. «Завтра, послезавтра...» Я постепенно цепенел от душевной усталости, все мысли выветривались из головы. Так и заснул, не выбираясь из кресла.

Утром Ирину укладывали в саркофаг с консервирующим газом, чтобы нетленным доставить тело на Землю.

В прозрачном саркофаге она выглядела красивей, чем в жизни, я долго не мог оторвать от нее глаз. И как десять лет назад, когда умирала Анна, я с горечью думал о том, как несправедлива судьба: лучшее, что мне было начертано в программе жизни, я уже выполнил, а ей бы жить и жить. Нет, выбрали ее, а не меня! Непереносимо, чудовищно несправедливы были эти две смерти, две скорбные вехи в моей жизни.

В морг вошел Виккерс, холодно поклонился. Я смотрел, прошла ли ярость. Он не пожелал встретиться взглядами — глядел на одну Ирину. Ярости нет, ожесточение не прошло, думал я, уходя из морга. Потом заперся в номере и два дня никуда не выбирался. Даже на звездолеторемонтные и механические заводы — я на них еще не бывал — идти не хотелось. Вокруг меня на Платее густела атмосфера вражды, я не имел противогаза против носящегося в воздухе яда. Мальгрем эвакуировал Ниобею, его работники — геологи, шахтеры, строители, охрана — заполнили поселок. Видеть их мрачные физиономии было выше моих сил.

С очередным звездолетом Ирину отправили на Землю. Я не пошел на печальные проводы. Не помню, как провел этот день. Знаю лишь, что был день, и была ночь, и настало утро. Утром на стене засветился экран. Это был Барнхауз. Он всматривался в меня, словно сомневался, я ли это. Я раздраженно сказал:

— Что еще? Я не просил вас...

— Вы здоровы, Штилике? — ответил он вопросом на вопрос.

— Вполне.

— Тогда разрешите прийти к вам. Важное сообщение.

Не люблю принимать у себя таких, как Питер Барнхауз, в своем доме не всякому скажешь: «Довольно, уходите». А если сам в гостях, в любую минуту можно удалиться. Я сказал:

— Иду к вам.

Агнессы Плавницкой в приемной не было. Барнхауз нервно прохаживался по обширному, как старый городской дворик, кабинету. Думаю, скорее его, а не меня надо было спрашивать о здоровье — так он сдал за несколько дней. Но следов отравления уже не было видно. Я сел в кресло и молча ждал, что он скажет.

— Важное сообщение с Земли, коллега Штилике, — начал он. — Вы даже не представляете себе его важность!

— Почему же не представляю? Трижды важное — вот какое!

— Трижды важное? — удивился он. — Почему трижды?

— Теперь четырежды: вы ровно четыре раза помянули его важность. Не мямлите, Барнхауз, оглушайте!

Больше ничего не сказав, он протянул депешу. В ответ на его рапорт Земля извещала, что полностью согласна с его оценкой положения на Ниобее. Ему предписывалось всемерно расширять добычу руд, новые производства на Земле невозможны без сырья с Ниобеи. Всем его требованиям на материалы, механизмы и рабочую силу присваивался высший приоритет. Он может планировать значительное увеличение работ.

Я вернул Барнхаузу депешу и направился к двери. Он чуть ли не в испуге воскликнул:

— Штилике, вы куда?

— В гостиницу. Имеете возражение, Барнхауз?

— Позвольте, мы же ничего не обсудили! Депеша требует немедленных действий.

— Не вижу нужды что-либо обсуждать! — сказал я намеренно резко. — И если вам нужны действия, да еще немедленные, так действуйте. Но меня в ваши действия не впутывайте.

Только сейчас до него дошло, что я вовсе не склонен поднимать вверх руки. Он медленно проговорил:

— Насколько я понимаю... Вы не собираетесь принимать к исполнению директиву Земли?

— Запомните, Барнхауз, — отчеканил я. — Я принимаю к исполнению только то, что предписывается лично мне. Сообщение с Земли адресовано вам, обо мне в вашей депеше ни слова. Не так ли?

Ему все же не сразу раскрылась запутанность ситуации. Он размышлял, я почти физически ощущал, с каким усилием он катит мысли по своим мозговым извилинам. Агнесса Плавицкая схватывала все не в пример быстрее. Будь она с нами, она подсказала бы ему пути-выходы, сам Барнхауз до них не добирался. Он заговорил снова:

— Мне думалось так. Вы признаете, что новое предписание Земли отменяет ваш приказ об эвакуации Ниобеи. И завтра, в полном согласии с вами, я возвращаю обратно всех, прилетевших оттуда. Многие уже хотели вернуться на Землю тем звездолетом, что увез саркофаг Ирины Миядзимо, но я всех задержал. Я предчувствовал, что будет крутой поворот в событиях.

— Блестящая предусмотрительность! — насмешливо бросил я. — Вам ее не подсказали? Во всяком случае, не могу не оценить ее своевременности...

И на этот раз ирония не дошла до него. Главный администратор был сегодня невылазно туп. Он вслух рассуждал:

— Но ведь что получается, Штилике? Ведь ничего толкового не получается! Я имею распоряжение усилить горные разработки, а вы... Неужели и теперь настаиваете на своем! Но ведь одно несовместимо с другим — ваш приказ и эта депеша мне!

— Очень рад, что вы это поняли, Барнхауз! Я своего приказа не отменяю. Остальное — ваше дело. Можете поступать, как вам подсказывает совесть и выгода.

Барнхауз был по природе толковый космоадминистратор, но не мятежник. Бунт не импонировал его душе. Он привык отлично выполнять распоряжения, иногда сам предугадывал их. Но уничтожать основы — нет, это была не его стихия.

— Положеньице, — растерянно бормотал он. Даже его высокий и резкий голос, так не гармонирующий с массивным телом, вдруг переменялся от огорчения: уже не дискант, а глухой баритон, почти бас. — Мне надо посоветоваться, Штилике, перед такой вы меня поставили дилеммой.

— Советуйтесь. Надеюсь, Плавицкая подскажет вам что-то путное.

Он безнадежно махнул рукой.

— Что она подскажет? У нее одна цель: чтобы мне было лучше. А что мне лучше? Надо бы посоветоваться с Виккерсом. Но он улетел.

— На Землю с саркофагом?

— Зачем на Землю? Разве вы не знаете? Он сказал, что поставил вас в известность. Иначе я не выдал бы ему планетолет. Джозеф хотел развеять горе, такое намерение. Он умчался на астероиды сегодня утром с Вильямом Петровым, это его пилот, они летают уже третий год.

— Идиот! — простонал я. — Нет, Барнхауз, это я о себе! У вас есть второй планетолет?

— Есть, конечно.

— Немедленно подготовьте. Я полечу за Виккерсом. Его надо вернуть, иначе большое несчастье!..

Мясистое лицо Барнхауза изобразило сомнение.

— Позвольте объяснить вам, вы не знаете обстановки... Там же сотни объектов, темные глыбы в космосе...

Где будете искать Виккерса? Равнозначная проблема — иголка в стоге сена.

— Проблема совсем иного рода, Барнхауз! Я лечу на Ниобею. Виккерс вас обманул. Он отправился туда, а не на астероиды.

Значение поступка Виккерса дошло до Барнхауза сразу. Тут была его стихия — оперативно действовать. Он быстро сказал:

— Вызываю пилота. Машина будет через час.

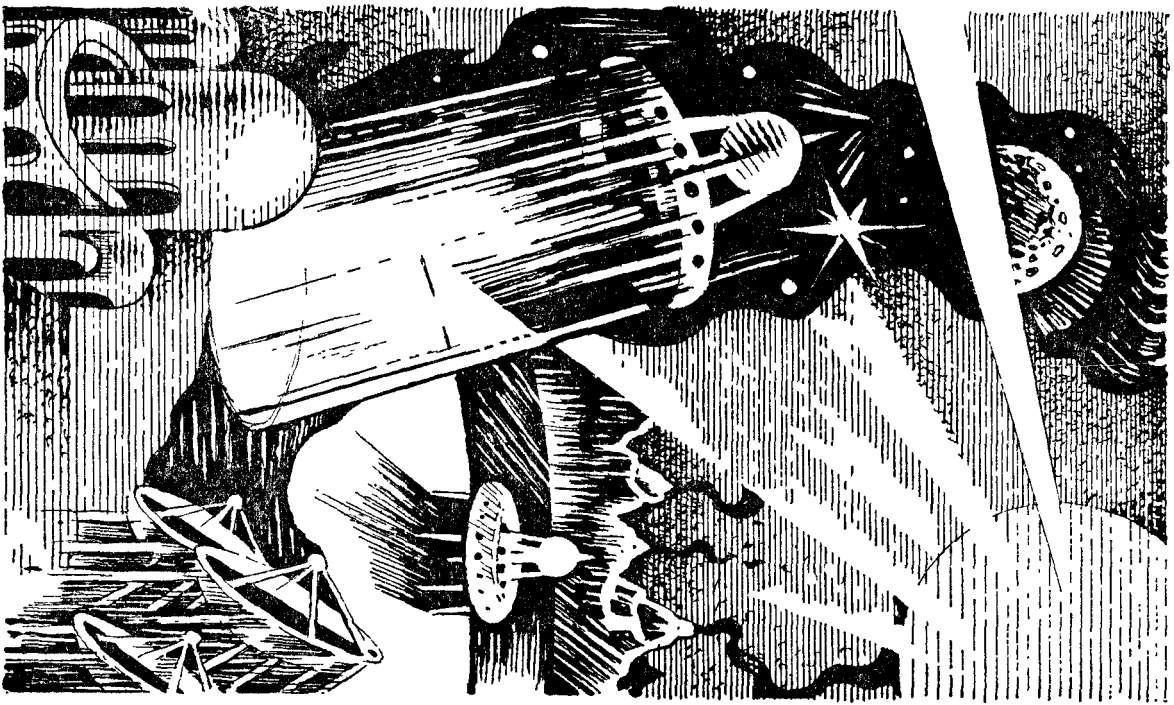
Я собрал в гостинице нужные вещи и прибыл на космодром. Там уже ждали пилот и Барнхауз.

— Если что понадобится, радируйте, — сказал Барнхауз. — Подготовлю здесь партию верных людей и по первому вашему требованию пошлю вслед. Будьте осторожны, Виккерс в ярости страшен. Успеха, Штилике!

Впервые за наше знакомство я дружески пожал его руку.

С Базы до Ниобеи полета на скоростной машине около суток. Пилот, угрюмый мужчина средних лет, объяснил мне, что на маленьких машинах антигравитаторы работают не так надежно, как на звездолетах, но «сто земных ускорений» пошагают вполне, после часового разгона будем нестись с рейсовой скоростью три миллиона километров в час. Я попросил выжать из двигателя максимум, пояснив, что на Ниобею умчался за десять часов до нас человек, замысливший преступление, нужно нагнать его и обезвредить. Пилот обещал постараться. В полете я уснул, а когда проснулся, планетолет вели автоматы, приборы показывали скорость больше тысячи километров в секунду, пилот дремал. Когда до Ниобеи осталось около часа, я разбудил пилота. Он выверил курс и сказал, что посадит машину без оповещения: не стоит информировать преступника о погоне.

На посадочной площадке стоял точно такой же планетолет. К нам поспешил широкоплечий парень с добродушным лицом — пилот Вильям Петров, тот, что привез меня и Ирину на Ниобею, потом отвозил нас обратно, а сегодня доставил сюда Виккерса. На этого человека можно было положиться. Он спросил, давно ли мы с Базы, и удивился: ну и мчались, за двадцать часов добрались! У них не вышло такой прыти. Виккерс сердился, однако пришлось смириться. Двадцать шесть часов — вот такой получился рейс. Не рекорд, конечно, но тоже неплохо. Я быстро прикинул, что Виккерс опередил нас на четыре часа, и прервал словоохотливого пилота:



— Где Виккерс?

— Собрал, что ему требовалось, и ушел.

— Что собрал? Куда ушел?

— Проверил личное оружие, достал со склада взрывчатку и бухту каната. И ушел в заброшенный город. Объяснил, что пойдет вон по той дороге. Если случится встреча со взбунтовавшимися нибами, то подаст сигнал тревоги, и тогда мне бежать на помощь. До сигнала станцию не покидать. Он скоро вернется пополнить запас взрывчатки. Вот такие были распоряжения. Да что случилось?

Уже не было смысла что-либо скрывать, и я сказал обоим пилотам:

— Виккерс готовит нападение на нибов. Он мстит за жену. Взрывчатка ему понадобилась, чтобы уничтожить поселение нибов. Я пойду искать его. Если он вернется за взрывчаткой, схватите его.

— Чуть покажется, задержим! — заверил мой пилот. А пилот Виккерса, ошарашенный сообщением, только кивнул.

В том, что они исправно выполнят мой приказ, я не сомневался. Теперь предстояло главное: найти и обезвредить Виккерса. Он был на голову выше меня, гораздо сильнее. Схватка один на один закончится его победой — это я понимал. И все же решил идти в одиночку. Ведь у меня было немалое преимущество: я знал, что Виккерс на Нибее, он не знал, что я погнался за ним. И в жажде мести он, возможно, будет таиться от нибов, но не от людей — стало быть, я сумею подкрасться к нему незаметно, тем более что мне известно, куда он двинулся. Я проверил оружие и выскользнул за ограду.

Время шло к ниобейскому полудню, Гармодий с Аристокитом ползли в зенит. Планета вела себя отвратительно: словно по приказу, пробудились все вулканы, со всех сторон гудело и грохотало, клубы пара и дыма взметывались над планетой. Воздух был полон пыли и серных запахов.

Уже вскоре я пожалел, что не захватил противогаз: глаза слезились, в горле першило, хотелось непрерывно чихать. Я начинал опасаться, что отравлюсь вулканическими газами, как Барнхауз.

Быстро пробежав пространство перед станцией, я углубился в лес. Здесь можно было идти спокойней. До покинутого города далеко, а поселения нибов — где-то около них бродит Виккерс — еще дальше. Тем не менее

я старался не шуметь, хотя за гулом, грохотом и взрывами пропадали все прочие звуки.

Так я двигался с полчаса, а потом в тесноте кустов на меня что-то обрушилось, и я потерял сознание.

Не знаю, сколько времени я пробыл в беспомощности. Когда очнулся, то увидел, что лежу на небольшой полянке, явно не на том месте, где упал. Я был связан: ноги опутаны витками каната, руки сдавлены такими же петлями. На камне сидел Виккерс и наблюдал за мной.

— Добрый день, доктор Штилике! — приветствовал он. — Впрочем, день не добрый, а плохой. Как вы себя чувствуете, дорогой друг? Мне не хотелось бы причинять вам неудобств сверх абсолютно необходимых.

— Немедленно развяжите меня! — Я сделал попытку если не подняться, то пошевелиться, но и это было трудно. Виккерс надменно улыбнулся.

— Странное желание, доктор Штилике. Я подстерег и связал вас вовсе не для того, чтобы снять путы по первому вашему гневному окрику. Связанный вы мне больше нравитесь, чем свободный.

Он издевался, но голосом серьезным, даже доброжелательным. И внимательно наблюдал за мной не с намерением помешать мне высвободиться — он был уверен в крепости канатов, — просто хотел знать, примирюсь ли я с поражением. Он еще надеялся на какое-то соглашение. Я сказал:

— Вы выслеживали меня, Виккерс? Не очень благородно...

— Зато разумно. И что значит — выслеживал? По-моему, это вы пустились в погоню за мной, а не я за вами. Я опытный косморазведчик и заранее принял меры защиты против вашей агрессии.

— Моей агрессии? У вас диковинное представление о том, что такое агрессия, Виккерс. Я старался предотвратить преступление, а вы готовитесь его совершить. Вы и есть агрессор.

— Преступление — убийство моей жены. Она ни в чем не провинилась ни перед кем, а ее убили. Я мститель! — Он говорил с болью и страстью. — Не смейте называть месть агрессией. Я не позволю вам швыряться высокими понятиями, хоть вы и правительственный уполномоченный.

— Вы выбрали плохое место для юридических дискуссий. Распутайте меня, и мы поговорим о смысле высоких понятий.

— Не считайте меня дураком! Я уже доложил вам: связанный вы меня больше устраиваете, чем свободный.

— Вы говорили — нравлюсь, а не устраиваю.— Я снова сделал попытку освободиться, и снова ничего не вышло. Этот человек, косморазведчик Джозеф Вилккерс, вязал веревочные узлы, как моряк на парусном флоте.— Чего вы от меня хотите?

— Того же, чего и вы от меня — обезвредить. Сделать так, чтобы вы не могли мне помешать. Я сказал пустомеле Барнхаузу, что вылетаю на астероиды, он не выдал бы мне планетолета на Ниобею. Но я ни минуты не сомневался, что вас не обмануть и что вы немедленно устремитесь за мной в погоню. Видите, как я высоко ценю вашу сообразительность, доктор Штилике, гораздо выше, чем вы мою. Но пронизательность в последний момент вам отказала. Вы ведь решили, что, сжигаемый жаждой мести, я без промедления кинусь взрывать селения нибов, стрелять их как бешеных волков. И не задали себе вопроса, зачем я взял с собой бухту каната. А я больше всего боялся, что зададите себе именно такой вопрос. Вы бодро двинулись по моим следам, которые я же вам указал, сообщив Петрову, куда иду. А я залег в удобном местечке, оглушил вас, связал и перетащил на эту открытую полянку.

— Зачем?

— Здесь удобней разговаривать. Я вас вижу, вы меня видите, ветки не лезут в рот. Должен признаться, я не люблю тропических лесов, особенно в их ниобеюском исполнении. Дубы и сосны моей родины — я родился в Уэльсе — мне больше по душе.

— Вы оглушили и связали меня, чтобы было удобней признаваться в любви к соснам?

— Еще раз одобряю вашу пронизательность, нет, не для этого, вы правы. Вы будете здесь лежать, пока я не уничтожу основное поселение нибов. Вам интересно знать, как я это сделаю? Мальгрэм рассказал, что вы были только в заброшенном городе, в новый же город он вас не повел, ему не хотелось пускать Ирину в это смрадное подземелье. А новый город — добрая сотня пещер, освещенных радиоактивными панелями, но с одним выходом наружу, одним-единственным выходом, мой добрый доктор Штилике! Я взорву скалу над входом и замурую всех поганцев, пусть задыхаются! И посторожу, не прибежит ли кто на взрыв, его уложу из пистолета. А когда никого в окрестностях не останется, возвращусь и ос-

вобожу вас. Если, конечно, до того вы не умрете от усталости, от злости, от высокоправственного негодования на такого злодея, как я.

— Вы не бойтесь, что в ваше отсутствие я освобожусь от пут?

— Надеюсь, этого не будет. Я вязал узлы от души. Мне ужасно не хочется убивать вас, Штилике, а придется, если вы освободитесь сами. Не хочу брать лишнего греха на душу.

— Уничтожить целый народ, по-вашему, не брать на себя страшный грех?

— Народ уничтожить — да! Но где вы нашли народ? — Ярость исказила его красивое лицо, он снова впал в иступление, как недавно на Базе. — Вы бросаетесь словами, как шелухой, а слова — гири, слова должны бить по черепу, слова — это действия, Штилике! Я протестую против ваших прилизанных, ваших неискренних слов! Нет народа, не смейте применять к каннибалам этого высокого слова! Есть погибающая популяция обезьянообразных, вырождающееся, уже выродившееся отребье каннибалов, сборище отвратительных недоделышей природы, незадолго до неизбежной гибели превратившихся в расу преступников перед собой, перед людьми, перед своей планетой, перед всем миром. Вот кто они такие! Сумасшедших на Земле запирали в больницах, преступников сажали в тюрьмы. А как поступить с сумасшедшей и преступной расой? Я принял решение и не отступлю! Я знаю, вы потом арестуете меня, едва я разрежу ваши путы, вы повезете меня на Землю, будете там судить. Арестуйте, везите, судите, я готов! И на суде я с гордостью скажу: да, я тот самый Джозеф-Генри Виккерс, который совершил на Ниобее великий и справедливый акт, — очистил планету от покрывшей ее убудочной плесени!

— Подонок ты, — сказал я спокойно. — Жалкий червь, возомнивший себя Верховным Судией. Что ты знаешь об объективной справедливости природы? Ты живешь только для себя, только собой. Ты выучил одну мелкую, примитивную законность: что похоже на тебя — то красиво, что выгодно тебе — то морально, что невыгодно — то безнравственно. А вот та кривая ветка, высунувшаяся из расщелины скалы, по-своему совершенной тебя, ибо ты на такой высоте, при такой скудости питающих ее соков вообще бы не распустился. И следовательно, та ветка объективно — по справедливости самой природы, по гармонии ее внутренних законов — тысячекратно прекрасней тебя!

Злость, а не доброта правит тобой! Не разум, а бессилие мысли, не способной понять, почему вырождается то или иное явление природы и что можно, что нужно сделать, чтобы превратить вырождение в расцвет. «Падающего — толкни!» — эту древнюю формулу зверства ты взял символом своего поведения. Неверие в свои силы, боязнь труда, узость кругозора — вот твоя натура. Джозеф-Генри Виккерс! Ты просто не способен никому помочь. Ты изменил нашему великому учителю Теодору Раздорину, думая, что ищешь собственные пути на высоту. Глупец, ты изменил, устранившись от высоты! Ты пустоцвет, Джозеф-Генри Виккерс. Ты начисто обделен даром творчества, ты нищий духом, слабый волей. Сколь же ты морально ниже тех, кого задумал уничтожить! Говорю тебе, ты жесток от трусости, ты преступник от недомыслия. Ты претишь человеческому естеству, ты першишь у меня в горле. Я неподвижен, поэтому наклонись ко мне — хочу плюнуть тебе в лицо!

Не знаю, как он справился с яростью, но он справился. Уже при первых моих словах он вытащил пистолет. Я чувствовал, что он не выстрелит, пока не выслушает до конца. Но не был уверен, что последнее слово к нему не станет вообще моим последним словом. И я приказал:

— Теперь стреляй, слизняк! Естественный ответ труса — импульс из лучевого пистолета, когда нет сил опровергнуть обвинения! Наберись же трусости убить меня, я жду!

Весь перекосившись, Виккерс стал прятать пистолет, рука дрожала, он тыкал дулом себе в бедро, а не в карман, потом прошептал обрывающимся голосом:

— Успею... Штилике. Смерть от вас не уйдет... Я связанных не убиваю. С людьми я веду честный бой.

— Тогда развяжи! И хоть ты много сильнее, я первый брошусь на тебя. Ибо моими поступками правит смелость, а не трусость мысли, истинная честь, а не самообожание.

Он круто повернулся и кинулся в лес. С минуту я слышал шорох травы и треск веток под его ногами. Я в изнеможении закрыл глаза. В моей голове пробредали медленные, усталые мысли. Они были похожи на редкие белые облачка в сумрачной пустоте вечернего неба. Потом я услышал новые шумы и открыл глаза.

Из леса на поляну выходили нибы.

Они обложили меня широким кругом, рассматривали, не приближаясь вплотную, тихо и взволнованно гудели меж собой. Побаивались, это было ясно. Мне показалось, что они не знают, как поступить со мной. Я молчал, только

следил за ними. У меня появилась надежда, что они насмотрятся и уйдут, не причиняя зла. Но один повелительно загудел, все обернулись к нему. Он простирал в мою сторону длинные руки. Гуд был ясен и без расшифровки: ниб приказывал поднять меня и унести. Меня схватили два десятка рук и подняли. Даже и для такой массы носильщиков я был тяжел: они спотыкались, кто-то упал, его заменил другой, я качался на их руках, как бревно на беспокойной воде.

Впереди шел тот ниб, что отдал распоряжение обо мне, за ним двигалась вся процессия. Меня, как удар копья, пронзила вдруг горькая мысль, что вот примчался на эту проклятую планету, чтобы вызволить их из беды, а они тащат меня куда-то на расправу, возможно, будут жарить и есть. Тут я вспомнил о двух пилотах, ожидающих на станции: может, им наскучило ожидание и кто-нибудь из них вышел на рекогносцировку в лес? Я набрал побольше воздуха в легкие и заорал. Мой крик ошеломил носильщиков, они в испуге выронили меня и кинулись кто куда. Лежа кричать было трудно, я замолчал. Нибы опять набросились и понесли, я опять закричал. Но они уже не оставили меня, а пытались прервать мой крик: один закрыл рукой мне рот, я укусил его за пальцы, он с визгом отдернул руку. Другой засунул в мой рот горсть листьев, я подавился криком. Теперь движение шло в полном молчании: я ожесточенно жевал листья, чтобы выплюнуть, но никак не мог освободить рот, а носильщики, сгибаясь под тяжестью, не переговаривались, только показывающий дорогу изредка гудел, но так тихо, что его слышали одни соседи.

Носильщики временами клали меня на почву, их тотчас сменяли другие — движение продолжалось без остановок на отдых. Мы направлялись вверх, к оставленному городу. Наконец мне удалось выплюнуть листья, я вздохнул поглубже и опять закричал. Кто-то проворно засунул в рот новую партию листьев, движение вверх возобновилось. В этот момент из леса вырвался Виккерс с пистолетом в руке.

— Штилике, я иду! — прокричал он, и пронзительный луч резанул по деревьям — на меня посыпались ветки.

Все нибы разбежались. Я с такой силой ударился о почву, что помутилось в глазах. Виккерс добежал до меня, кинулся развязывать узлы на руках и ногах, но, слишком туго затянутые, они не поддавались. Он в отчаянии выругался и вцепился в узел зубами. Я прошептал:

— Достаньте мой нож, он в нагрудном кармане.

Виккерс выхватил складной нож и стал резать узлы на ногах. Одну ногу удалось освободить быстро, но другой канат резался плохо. Мы находились на вершине одного из многочисленных в чащобе голых каменистых холмиков. Из леса доносился надрывный гуд. Вот и вторая нога свободна, я сделал попытку подняться, но затекшие ноги не держали. Виккерс подхватил меня, помог встать.

— Бежим, здесь мы слишком хорошие мишени для них. Я избавлю вас от веревок на руках в местечке поспокойней.

Он говорил это, подталкивая меня в спину. Я сделал несколько шагов и совсем ослабел. Виккерс уже не толкал, а тащил меня. Я охал и стонал, Виккерс дергался и ругался. Он дотащил меня до чащи и здесь сам свалился, но тут же вскочил и стал резать узлы на руках. Через минуту я шевелил освобожденными руками.

— Джозеф, до чего хорошо, когда руки действуют!

Виккерс, тяжело дышавший рядом, пробормотал:

— Не простил бы себе, если бы поганцы прикончили вас.

— Что вы сделали со взрывчаткой? Завалили вход в подземное поселение нибов?

Он вяло усмехнулся:

— Можете не тревожиться, подземелье не замуровано. Вы были правы, Штилике, я трус. Не хватило духу взорвать вход в пещеры. Я свалил взрывчатку неподалеку и размышлял, что делать. И не было ни одной толковой мысли: сидел и тарасился на лес... И тут донесся ваш крик. Кажется, я успел вовремя.

— Надо убираться отсюда, — сказал я. — Если мы не дойдем к станции до темноты, нас прикончат. Да и сейчас здесь небезопасно.

Кровообращение в ногах восстановилось, ходил я уже хорошо, но бежать не мог, мы пошли напрямик через лес, стараясь не выбираться на холмы и полянки, где могли бы стать удобной мишенью. Нибы не нападали, но временами слышались их гуды. Я ругал себя, что не взял на станции дешифратор — может, удалось бы разъяснить нибам, что мы не собираемся причинить им зло. Впрочем, за короткое пребывание на Ниобее я не успел хорошо освоить этот довольно сложный аппарат. И я понимал, что нибы правомочны не поверить, наше поведение не могло показаться дружественным. Меня и Виккерса тревожили

доносящиеся из леса гуды. Нибы крались вокруг: вероятно, выбирали место поудобней, чтобы напасть.

— Скоро стемнеет, — сказал Виккерс. — В темноте они нас перебьют. Давайте побежим, Штилике.

— Не могу, — сказал я. — Может, вам поспешить на станцию одному? Некоторое время я продержусь в каком-нибудь укрытии, а вы с двумя пилотами придете за мной.

Оставлять меня Виккерс не захотел. Мы продолжали тащиться через лес. Гуды нибов становились громче. Теперь они доносились со всех сторон, нибов прибывало. И все трудней дышалось — в воздухе густела пыль, разлило серой. Почва временами вздрагивала. Позади нас вдруг разлилось сияние — забушевал новый кратер. Тяжкий грохот взрыва заглушил все звуки. Я зацепился ногой за ветку и упал. И словно в ответ на мое падение, в лесу разразились яростные вопли. Нибы надрывались: видно, подбадривали друг друга на нападение. Я сказал Виккерсу, что надо срочно найти убежище, иначе нам несдобровать.

Мы в это время пробирались мимо заброшенного поселка нибов. Виккерс предложил укрыться в одном из домиков-шатров. Когда мы подобралась к домику, многоголосый гуд превратился в бешеный рев: нибов явно разочаровало, что мы стали для них менее досягаемы.

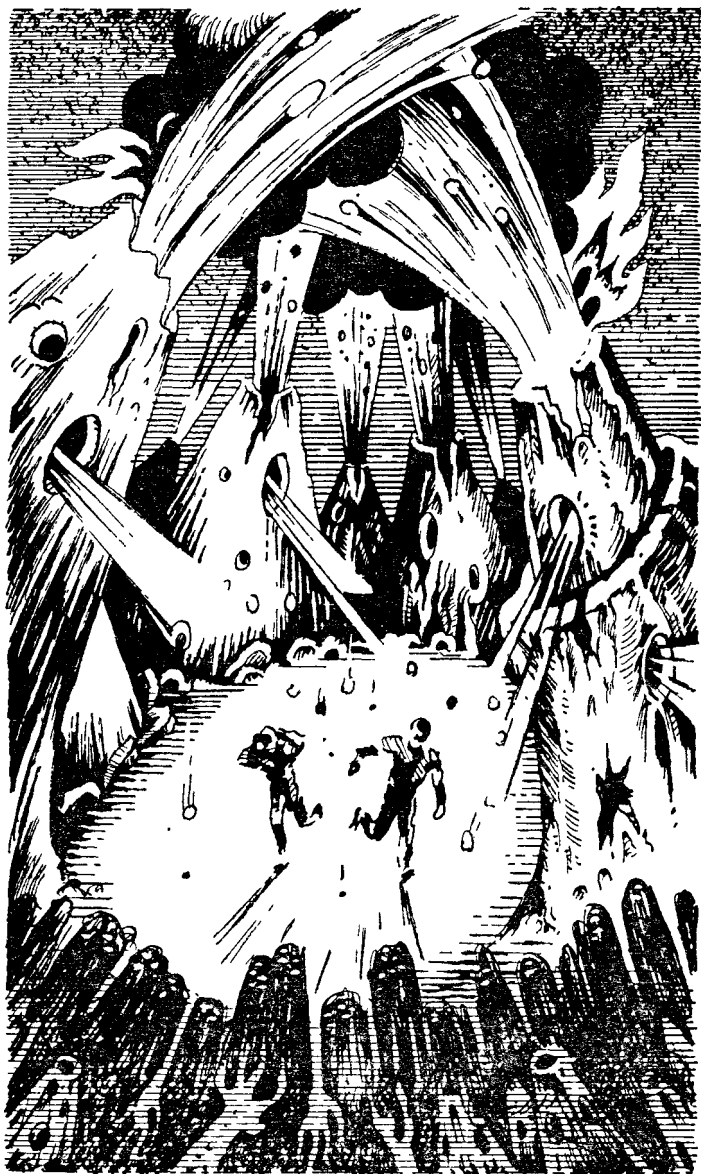
— Пока можно не опасаться нападения, — устало сказал Виккерс. — Но не будем обольщаться, Штилике, они попытаются нас захватить. Буду стрелять в любую тень, которая появится у входа.

Нападение совершилось быстрее, чем мы ожидали, и не со стороны входа, а сверху. На крышу обрушились тяжкие удары, со свода посыпались пыль и осколки кладки. Крыша не выдержала и обвалилась, в отверстие стали падать кроваво-красные камни, целая груда их выросла посередине шатра. Непереносимый жар наполнил тесное пространство.

— Вот же бестии, — прошептал задыхающийся Виккерс. — Мальгрём говорил, что они умеют выуживать жар из кратеров, но нападать раскаленными камнями!.. Что делать, Штилике?

— Нападает взорвавшийся неподалеку вулкан, а не нибы, — сказал я. — И если он повторит нападение, нас изжарит в этом каменном склепе, как в печи. Бежать, и поскорей.

Мы выскочили наружу. На мне загорелся комбинезон,



когда я прыгал через раскаленные камни, на Виккерсе тоже затлела одежда. Невидимые нибы встретили наше появление взрывом дикого гуда. Вулкан снова выбросил в воздух облако раскаленных камней, они посыпались вокруг, но, к счастью, ни один не попал в нас.

Мы кинулись в сторону от места, откуда летели камни. Нибы тоже удирали, гуды оборвались. Позади, над кратером, вздулось багровое сияние, лес пронзительно озарился. Уже не одни камни, но брызги и сгустки лавы пронеслись над лесом. Новый взрыв потряс почву, я не устоял на ногах. И пока, цепляясь руками за кусты, я пытался подняться, облако светящихся камней и лавы обрушилось на меня и засыпало ноги. Отчаянным рывком я вырвал себя из горнила, но встать и идти уже не мог. Бежавший впереди Виккерс остановился, рванулся назад, наклонился надо мной. И по ужасу в его глазах я понял, что ранен тяжело.

— Идите один, Джозеф, — сказал я. — Давайте рассуждать здраво...

— Плевал я на ваши здравые рассуждения! — огрызнулся он, я услышал отчаяние в его голосе. — До станции я вас дотащу.

Виккерс схватил меня и понес. Но нес он как-то странно — держал на руках голову и спину, и я понял: вероятно, у меня изранены и сожжены ноги. Я не видел своих ног, не хотел спрашивать, что с ними, только вяло думал: «За развороченные до костей ноги взяться нельзя. я теперь не человек, а обрубок человека, вот он и несет меня, как обрубок». И еще я думал — спокойными, холодными мыслями, — что нести меня не надо, он все равно не донесет, я по дороге умру, так зачем ему подвергать еще и себя опасности, вулкан ведь вот-вот исторгнет новую грудку камней.

— Джозеф, — прошептал я. — Не надо...

— Дотащу! — хрипло крикнул он. — Все равно дотащу! Берегите дыхание, Штиликке, на станции вам поможет. Молчите, слышите!

Я замолчал. В голове замутилось, все расплывалось перед глазами. «Умираю!» — подумалось мне. Сквозь раступившуюся на миг пелену я вдруг увидел огненный смерч, пронесшийся у моего лица, услышал надрывный вопль Виккерса. Внезапно почувствовал, что лежу на траве. Теперь я знал: меня никто не несет на руках, Виккерс, наверно, мертв, я тоже мертв, только почему-то ощущаю это запоздавшим погаснуть сознанием.

Проступило чье-то лицо, исчезло, слышались голоса, замолкали, снова слышались, пустой свет в глазах смеялся пустой тьмой. Потом почудилось, что на меня смотрит Барнхауз, только лицо его расплывалось, колебалось, его раздувало и прессовало, но, меняя очертания и величину, оно было, и я заговорил с Бранхаузом:

— Где я?

Голос своего я не услышал, зато ответ раздался в моих ушах отчетливо, и он прозвучал несомненным голосом Барнхауза:

— Вы на Базе, Штиликe. Вас благополучно доставили сюда. Врачи делают все возможное, можете мне поверить.

У меня хватило сил на новый вопрос:

— Что с Виккерсом?

Голос Барнхауза странно отдалился, он звучал теперь, словно из другой вселенной, лицо главного администратора Базы пропало во тьме, тьма стала пустой и беззвучной. Но в мое гаснущее сознание проникло, что Виккерс рядом со мной, однако врачи не могут привести его в чувство. Спустя некоторое время снова высветилось. По комнате ходил врач, он что-то сказал, я не расслышал. Я скосил глаза: я лежал на кровати, на соседней лежал Виккерс, я увидел его ясно — он был бледен, глаза закрыты, руки недвижно покоились поверх простыни. Я снова ушел в пустую тьму.

Новое возвращение сознания было более четким. У кровати сидел Мальгрeм с перевязанной левой рукой, к стулу он прислонил свой костыль. Врач держал мою ладонь, чем-то мазал пальцы. Я повернул голову: Виккерс по-прежнему лежал на соседней кровати и был по-прежнему бледный и неподвижный.

— Он жив? — прошептал я.

— Пока жив, — ответил врач. — Но состояние очень тяжелое.

— Могу я с ним говорить? — спросил Мальгрeм и показал на меня глазами.

— Можете, — сказал врач.

Мальгрeм сперва молча глядел на меня, потом нерешительно пожелал выздоровления. Хорошо помню, что я усмехнулся. Еще никто не разъяснял мне моего состояния, но я уже был уверен, что ног нет. Вместо ответа я вытянул руку и ощупал пальцами кровать. Под пальцами чувствовался только матрац — то, что осталось от

моего тела, было короче, чем доставала протянутая рука. Мальгрём побагровел, тяжело задышал.

— Не будем говорить о здоровье, — сказал я. Вероятно, мне потребовалась целая минута, чтобы произнести эту фразу. И еще минута понадобилась, чтобы попросить Мальгрёма: — Роберт, расскажите, как мы очутились на Базе.

— Вас принесли на станцию нибы, — сказал он. И это было единственное, что он сообщил в то первое наше свидание, у меня снова отказало сознание.

Теперь я приходил в себя чаще, оставался в сознании дольше. И почти всегда, открывая глаза, я находил у постели Мальгрёма или Барнхауза. А на соседней кровати лежал Виккерс, все такой же бесчувственный, бледный, неподвижный. Пришел и пилот Петров, от него я узнал, как нас спасали. Оба они, он и второй пилот, очень встревожились, когда поблизости от станции взорвался новый вулкан, а ни я, ни Виккерс не возвращались. Уйти от станции не позволял мой запрет, они вышли наружу и прислушивались, не раздастся ли где наш крик. Уже к ночи из леса стали выходить нибы. Сперва появилась одна маленькая группка, они взволнованно гудели, показывали на лес, звали туда. Один из пилотов остался на станции, другой поспешил в лес. Нибы вели его в самую гущу деревьев: камни, выбрасываемые из кратера вулкана, в густом лесу были не так опасны, как на открытом месте. Вскоре пилот встретился с основной массой нибов, они несли на руках меня и Виккерса. Пилот, увидев в каком мы состоянии, бросился готовить машины к отлету. К тому времени, как нас принесли на станцию, оба планетолета были выведены на стартовую площадку. В одну машину погрузили меня, в другую Виккерса, оба мы не приходили в сознание. Нибы оставались на станции до отлета, волновались, гудели, бегали вокруг планетолетов...

— Мы с Виккерсом думали, что они готовят на нас нападение, — сказал я Мальгрёму. — А они хотели нас спасти! Как мы ошибались в этом народе! Как ошибались!

— Народ удивительный, — согласился он. — У них выработалось предчувствие вулканических извержений. Вероятно, они хотели увести вас подальше от опасного места до того, как начнется извержение, а вы не поняли их. Теперь я думаю, что и станцию они в свое время заставили перенести, потому что предвидели извержение на ее прежнем месте.

В одну из ночей я услышал голос Виккерса. Он не открывал глаз, в сознание не пришел, но заговорил. Его томил бред, он бормотал, захлебываясь словами, всхлипывал, временами вскрикивал. Я вслушивался в его голос, старался понять, что наполняет его помраченный ум. Виккерс грезил прошлым, он заново переживал то, что давно уже стало смутным воспоминанием: и мальчишеские обиды, и провал на первом экзамене в космонавигаторы, и выбор пути после блестящей защиты диплома, и скоропалительное решение поступить космоэкспертом в компанию «Унион-Космос». Часто и горячо он повторял имя Ирины. Вся короткая их жизнь раскручивалась в его ярком бреде — слова, взгляды, дни разлук и встреч...

А когда, уставая от бреда, Виккерс замолкал, я думал о том, что мы скоро умрем и надо напоследок на чем-то самом важном сосредоточиться, что-то самое нужное выполнить. Я размышлял о нибах, о станции, о Базе, о Барнхаузе, о Мальгреме. Пробудившееся сознание диктовало новые планы и мысли, и я прикидывал, что принять, а что отбросить. Но прежде всего надо было добиться ясности о собственном состоянии.

— Поговорим откровенно, — предложил я врачу. — Не как больной с врачом, даже не как мужчина с женщиной, а как астросоциолог с астробиологом. Мне нужно отдать важные распоряжения. Я знаю, что должен умереть. Люди, от которых осталась половина туловища, не вправе считать себя жильцами на этом свете.

— Мы делаем все, что можем, — сказал он осторожно. — У вас обширные ожоги на теле.

— На сохранившемся остатке тела, хотите вы сказать? Сколько дней осталось жить Виккерсу?

— Дня два-три, — ответил врач. — Тело, в общем, в хорошем состоянии, но мозг... Вы ведь знаете, что сожженные мозговые клетки регенерации не поддаются.

— Знаю. Итак, три дня. А мне? Только без утешений. Я не из тех, что ахают и распускают нервы. И отдаю себе отчет, что полусожженный человек не жилец на этом свете. Я уже говорил об этом.

— Не знаю, — сказал врач. — Поверьте, не притворяюсь. Вы демонстрируете возможности, которые отсутствуют у обычных людей.

Я через силу засмеялся. Мне казалось, что я понял, куда он клонит. Все же я уточнил:

— Понимаю вас так, что я уже должен был умереть в вашей палате?

— На Ниобее, — поправил он. — Еще на станции. А вы не умерли. И здесь живете. И сохраняете ясное сознание. Вашу жизнь поддерживает сейчас не наше лечение, а ваша собственная воля, мы лишь помогаем ей. Поэтому спрашивайте самого себя, сколько вы приказываете своему телу жить. Вы хотели честного ответа, это самый честный ответ.

— Хорошо, — сказал я. — Значит, с неделю еще проживу. На это у меня хватит душевных сил. Вызовите ко мне Барнхауза.

Барнхауз явился не один, а с Агнессой Плавицкой. Она вошла в палату первой, он шагал за ней, стараясь умерить грохот своих ножищ, чтобы не причинить мне беспокойство. Странно было видеть его массивную фигуру такой скованной. Зато мелодичный перезвон колокольчиков Агнессы заполнил всю палату, она волновалась и сильнее обычного взмахивала головой. Я показал обоим на кресла и сказал:

— Между прочим, Агнесса, я звал одного Питера.

Она ответила лишь новой волной мелодичного колокольного перезвона, ее лицо огненно вспыхнуло, а он поспешно проговорил:

— Я просил жену сопровождать меня, так мне легче разговаривать.

— Жену, Барнхауз? Разве на Базе регистрируются браки? Я был уверен, что это прерогатива Земли.

— Мы женаты уже много лет, — сказал он. — Я скрыл это, когда нанимался на Базу. Была масса конкурентов, я опасался, что меня с женой не возьмут. На совместное проживание нужно ведь специальное разрешение, а все конкуренты были одинокие — немалое преимущество передо мной! Она прилетела потом самостоятельно и тоже не указала, что к мужу. Мы, впрочем, на Базе жили, как посторонние, в этом смысле правил не нарушали. Вы первый, кому признаемся в нашей тайне.

Он говорил, я смотрел на Агнессу. Она попеременно краснела и бледнела. Разок она перехватила мой настойчивый взгляд — впервые я не увидел в ее глазах вражды. И это изменение ее отношения не могло быть вызвано моим бедственным состоянием, вряд ли она горевала, что я скоро умру. Что-то иное, не просто желание сопроводить мужа да и не стремление проститься со мной, заставило ее явиться в палату. Поэтому я прямо сказал:

— У меня к вам дело, Барнхауз, но и у вас, по-моему, что-то есть ко мне. Я не ошибся? Начинайте первый.

Он заторопился:

— Не ошиблись, не ошиблись, Штилике. Получено новое предписание Земли. Адресовано лично вам, копия мне. Сами прочтете или прикажете зачитать?

Барнхауз подчеркнул голосом это «прикажете», и я понял, о чем может быть новое предписание. Я сделал знак, чтобы читал он. Читая депешу, главный администратор смешно старался сделать свой высокий голос пониже, но визги, против его воли, как пики на диаграммной кривой, прорывались в баритональном искусственном голосе.

Земля извещала, что отменяет все прежние распоряжения относительно Ниобеи. Меня наделяли единоличной властью на всех обитаемых объектах звездной системы Гармония и Аристокитона. Все мои распоряжения подлежали немедленному и точному выполнению. Барнхаузу особо вменялось в обязанность неукоснительно следить за строгим осуществлением моих требований и пресекать всякие попытки неэнергичного их выполнения, тем более — игнорирования.

В общем, было именно то, чего я ждал в ответ на мою депешу Земле.

— Ты победил, галилеянин! — выпренне сказал Барнхауз и торопливо пояснил, чтобы я ненароком не обиделся: — Это, Штилике, цитата из одной старой книги, — я говорю о галилеянине.

— Знаю такую цитату, — кивнул я и, подумав, поинтересовался: — Земле уже известно, что произошло на Ниобее с Виккерсом и со мной?

— Конечно, Штилике. Мы немедленно отправили доклад о самоуправстве Виккерса и о вашей самоотверженной попытке предотвратить злодеяние. И я не скрыл своей оплошности... Говорю о предоставлении планетолета Виккерсу. Но новые указания Земли, которые я прочитал, отправлены еще до того, как им стало известно о несчастье с вами.

— Это меняет положение, Барнхауз. Когда меня не будет...

В наш разговор вдруг горячо ворвалась Агнесса Плавицкая:

— Это ничего не меняет, господин Штилике. Ровным счетом ничего! Останетесь ли вы на Базе или... — Она мигом поправилась, чтобы нетактичным выражением не раскрыть свое знание правды обо мне: — Или улетите на Землю... Но установленные вами правила относительно

Ниобеи сохранятся на многие, многие годы. Изменений не будет.

— Я не улечу на Землю, — сказал я. — Меня доставят туда как почетный, но бесполезный груз. Но стратегия нашего отношения к Нибее не изменится, вы правы. Изменения будут в том, что вместо меня назначат другого. Уверен, что это будете вы, Барнхауз. Я порекомендую Земле именно вас.

Он хотел что-то сказать, она опередила его:

— Нет, господин Штилике, тысячу раз нет! Не давайте Питеру рекомендации, сообщите, что он не годится на ваше место. Пусть поищут другого, только не его. Разрешите ему улететь на Землю. Я пришла с мужем для того, чтобы просить вас об этом.

Агнесса смотрела на меня своими необыкновенными глазами, и снова я не видел в них прежней вражды и зла, только просьбу, почти мольбу. Барнхауз молча подтверждал каждое ее слово кивком лохматой массивной головы. Я ничего не понимал.

— Питер-Клод Барнхауз был много лет главным администратором Базы, — сказал я. — И был отличным администратором, лучше не найти. Почему же он стал непригоден к той должности, которую так долго и так исправно выполнял? Отвечайте вы, Барнхауз, хочу слышать вас.

— Это же просто, Штилике, — сказал он. — Не существует больше той должности, которую я так долго и, надеюсь, хорошо выполнял. А к должности, созданной вашей директивой, я непригоден. Но если вы разрешите, об этом лучше меня скажет жена. Агнесса, объясни, что ты знаешь обо мне и моих высших стремлениях.

Она не объяснила мне ничего нового. Повторила лишь то, что недавно, надышавшись сернистого газа, он наговорил о себе. Но если Барнхауз, возвеличивая себя, старался при этом унижить меня, то она избегала любого слова, которое могло меня задеть. Эта женщина знала, когда как держаться. Я слушал и вспоминал, как она объяснялась мне в ненависти, как зло сверкали тогда ее глаза, как неистово звенели ее колокольчики. Да, жена Барнхауза умела бороться и умела с достоинством, не делая себя жалкой, переносить поражение.

— У каждого свое призвание, не так ли, господин Штилике? — говорила она. — Ваше — спасти гнущие цивилизации, наводить порядок в обществах, впадающих в хаос. А Барнхауз — природный промышленник, бизнес-

мен, как называли его предков. Ну... не бизнесмен, естественно, но предприимчивость заложена в нем генетически. Консервация, охрана — понятия, ему чуждые. А что ныне делать здесь, кроме как охранять от внешних посягательств безмерно богатую, но наглухо законсервированную Ниобею? Дух предприимчивости, привнесенный Питером в этот звездный уголок, выветрился, он задохнется в такой бездуховной атмосфере!

Агнесса говорила долго и горячо, муж молчаливо подкивал кивками и улыбками, вспыхивающими на широком мясистом лице. А я ее слушал вполуха, смотрел на обоих вполглаза — и думал о том, какими они были вне этой палаты, так сказать, для себя. И я видел и узнавал в них то, чего они, возможно, в себе не видели и чего, во всяком случае, не хотели бы показать посторонним. Насколько же они были разные и сами по себе, и в отношении друг к другу! Нет, он, конечно, любил ее, ради этой любви он и отважился нарушить строгие правила космической службы, вытребовав жену к себе, а ведь он не был ни бунтовщиком, ни лицемером, втайне преступающим то, что вслух восхваляет и требует ото всех. Но куда больше, чем ее, он любил себя, вернее образ себя, созданный своим воображением, лелеял его и тем непрерывно питал свое честолюбие. И если нанести удар по этому честолюбию, поколебать придуманный им образ, он сделается неприятным самому себе. Нынешнее его самообожание превратится в самоотвращение — наверно, надо сказать как-то корректней, но не подберу слова точней. Пожалуй, и вправду нечего этому человеку больше оставаться здесь.

А она, думал я, эта прекрасная «баба-яга», «королева на любом бесовском шабаше», какой рисовалась мне при первом знакомстве, — ведь она совсем иная, чем показывает себя другим. Нет в ней ничего необычного, тем паче бесовского. И вовсе она не ненавидела меня, как вообразилось мне и как сама была убеждена, она просто неспособна на настоящую ненависть. В ней только одно всю ее захватившее чувство — любовь к этому огромному, лохматому, длиннорукому детине, к этому «медведю средней руки», как удивительно точно его описал мой учитель Теодор Раздорин. И все остальные чувства этой женщины второстепенны и производны от того главного, всеопределяющего — любви к мужу, восхищения им, обожания его. Она лишь ответно ненавидит тех, кто противоборствует Барнхаузу, готова мигом преобразовать свою некрепкую ненависть в приязнь, как только ослабевает не-

доброжелательство к нему,— в ее душе слишком мало места для других людей, все заполнено им.

Агнесса почувствовала, что я перестал ее слушать, и замолчала. Я воспользовался этим.

— Ну, хорошо,— сказал я.— Допустим, я соглашусь с вашей просьбой. Но вы видите сами, в каком я состоянии. Кто заменит вас, Барнхауз, когда вы улетите, а я... в общем, когда остатки моего тела повезут на нашу дорогую прародину?

— Не надо так шутить! — воскликнула она.— Врачи еще не теряют надежды.

— Нельзя потерять то, чего нет,— возразил я, усмехнувшись.— Ни у них, ни у меня нет никаких надежд. Вы не отвечаете на мой вопрос, Барнхауз.

— Меня заменит Мальгрем,— произнес Барнхауз.— Я с ним говорил, Роберт согласен остаться. Нужно лишь ваше одобрение.

— Вызовите его ко мне,— сказал я и закрыл глаза.

Вероятно, я впал в забытие и не заметил, как они удалились.

Когда сознание вернулось, у моей постели сидел Мальгрем. У него был такой вид, словно он уже давно сидел тут и терпеливо ожидал, когда я приду в себя.

— Вы звали меня, Штилике? — спросил он.

— Звал. Барнхауз улетает на Землю. Он сказал, что вы согласны занять его место. Правда?

— Правда. Он спрашивал меня, я согласился.

— Почему, Роберт? Разве вас не привлекает Земля? Вы достаточно пострадали на Ниобее. Хороший отдых, первоклассное земное лечение и сама она, наша зеленая, наша прекрасная Земля... Вы заслужили своим трудом, своими несчастьями...

— Не надо, Штилике! — прервал меня Мальгрем.— Ваше красноречие всем известно, оно может и камень растрогать. Но на меня не тратьте его. Не обижайтесь, я твердо решил остаться здесь.

— Почему?

— Я люблю Ниобею,— сказал он просто.— Люблю ее великолепные леса, ее бушующие недра, где вы видели вулканы красочней и грозней? И ее жалких нибов по-своему люблю. Народ неплохой, только очень уж от нас отличный. И мне, скажу по чести, не так уж важно, будет ли разработка руд расширяться, или ее надолго прикроют. Ниобея не станет хуже от того, что я не выполню каких-то производственных программ. Я не делец, как Барнхауз.

— Земля отменила все производственные программы, вы знаете?

— Барнхауз сказал мне о новой депеше с Земли. Вы сомневаетесь в моей пригодности, друг Василий?

Нет, сомнений у меня не было. Мальгрем не только был способен заменить Барнхауза, он был в новых условиях гораздо лучше Барнхауза. Я почти с благодарностью вспомнил, что, в отличие от Виккера и Барнхауза, он никогда не ругал нибов, хотя они и препятствовали расширению его горных разработок. В этом потомке древних викингов — он так напоминал их внешностью — не было и следов человеческого высокомерия и пренебрежения ко всему, что ниже человека. Уверен, что он даже злых животных не обижал, а нибы были все же не животные. Он дрался с нибами, когда они напали на нас во время своего праздника, но я тоже дрался, в той битве виноваты были мы, так уж сложились обстоятельства. Я вполне мог положиться на Роберта Мальгрема.

— Можете считать себя вступившим в новую должность, Роберт. Мое положение вам понятно: я скоро отойду в те блаженные края, которых не было и нет. Запишите мои последние распоряжения и постарайтесь сообразовываться с ними. Считайте запись моим завещанием.

Он зафиксировал на пленке мои пожелания и советы. Возобновление промышленных работ на Ниобее я отменял до поры, когда физиологи откроют структуру таинственных витанибов, поддерживающих у нибов жизнедеятельность, а земная промышленность освоит производство этих пока неизвестных биовеществ. Я указал, что природа ниобейского общества описывалась недопустимо поверхностно и первые взаимоотношения людей с нибами принесли много неудач. Продолжение таких взаимоотношений недостойно человека и опасно для нибов. Общество их подошло в своей многотысячелетней прогрессирующей деградации к краю существования, любое прикосновение извне, даже попытка непродуманной помощи, может стать толчком в пропасть. Никакие соображения экономической выгоды не могут играть решающего значения в планах дальнейшего освоения Ниобейи. Человечество ныне достаточно богато и могущественно, чтобы объявить в отношениях с иными цивилизациями примат нравственного достоинства, а выгоду экономическую счесть второстепенной и производной.

— Записано, — сказал Мальгрем. — Что дальше?

— Дальше... Идите командовать Базой. Я устал, Роберт.

Снова пришло забытье. Оно наступало периодически, малыми порциями. Это не был сон, форма нашего земного отдыха. Я не отдыхал, я замирал, даже температура понижалась, мне не требовалось глядеть на обложившие меня со всех сторон самописцы, чтобы знать, что холодею. Забытье, как мне теперь думается, было чем-то вроде короткой рабочей репетиции смерти. Я не пробуждался из забытья, а как бы возвращался в жизнь, и возвращался не освеженным, как после сна, а разбитым. Все сохранившееся в обрубке моего тела — кости, жилы, все сочленения и сосуды — ныло, заново начиная свою совместную трудную деятельность — жизнь.

В тот раз, после ухода Мальгрема, я возвратился из забытья до того болезненно, что даже вскрикнул, пробуждаясь. И меня охватило ощущение, что совершилось что-то чрезвычайное. Смешно теперь вспомнить, но я громко спросил себя: а жив ли я? Я был еще жив, чрезвычайность была в чем-то другом. Я приподнялся, опираясь на руки, осмотрелся. Соседняя кровать была пуста. Виккерса унесли.

Не понимаю сейчас, почему — ведь я знал, что Виккерс со дня на день умрет, так и не приходя в сознание, — но вид пустой кровати заставил меня задрожать. Вероятно, я просто привык, что на соседней кровати лежит он, неподвижный, безгласный, но живой. Я верил, конечно, самописцам, показывающим, что запасы энергии жизни у него и у меня неодинаковы, это же твердили и врачи. Но про себя каким-то безотчетным ощущением я выровнял его жизнь со своей, граница отпущенного ему существования была и моей жизненной границей. Я звал врача.

Он явился не один, а с Мальгремом.

— Виккерс умер? — спросил я.

— И да, и нет, — ответил врач. — Мозг погиб, тело еще живет. Мы подключили тело к нашему компьютеру, простые физиологические команды он отдает хорошо. Эрзац бытия, конечно, полностью бездуховное существование...

— И сколько продлится такая безжизненная жизнь?

Врач пожал плечами: возможно, дня три или четыре, вряд ли больше. Я еще не знал, что они надумали, но спросил прямо:

— Зачем вы поддерживаете в теле Виккерса подобие жизни? Раз мозг умер, значит, умер и человек. Кому

нужно продлевать тусклый огонек бытия на несколько дней? Через три дня и компьютер не поможет. Кладите Виккерса в саркофаг, консервируйте газом и первым звездолетом отправляйте на Землю. Можете то же самое сделать спустя несколько дней со мной. Не возражаю, чтобы нас отправили, так сказать, одной посылкой.

— На это отвечу вам я, друг Штилике, — сказал Мальгрем. Он сильно волновался, голос его дрожал. Я удивился. На Ниобее я видел его разъяренным, видел возмущенным, но что он способен смущаться, не ожидал. — Получена новая депеша с Земли. Лично о вас, Штилике. В общем, приказ Барнхаузу. Но Барнхауз уже улетел, значит, мне... Короче, если жизнь вашу сохранить не удастся...

— Не удастся, не удастся! — сказал я нетерпеливо. — Перейдем сразу к тому, что вы должны сделать после моей смерти. Не мешкайте, Роберт, это вам не к лицу.

— Да, вы правы, после вашей смерти... Ваш мозг объявлен столь выдающимся достоянием, что его... Иными словами, нам приказано, если не вас в целом, то ваш мозг доставить на Землю в полной жизнедеятельности.

— А этого вы сделать не можете, верно? Даже если сейчас же погрузите меня на звездолет. И десять дней жизни, ваш максимальный срок для меня, слишком мал для перелета. На Землю вы доставите мой законсервированный труп с неразложившимся, но мертвым мозгом. Я верно формулирую ваши опасения?

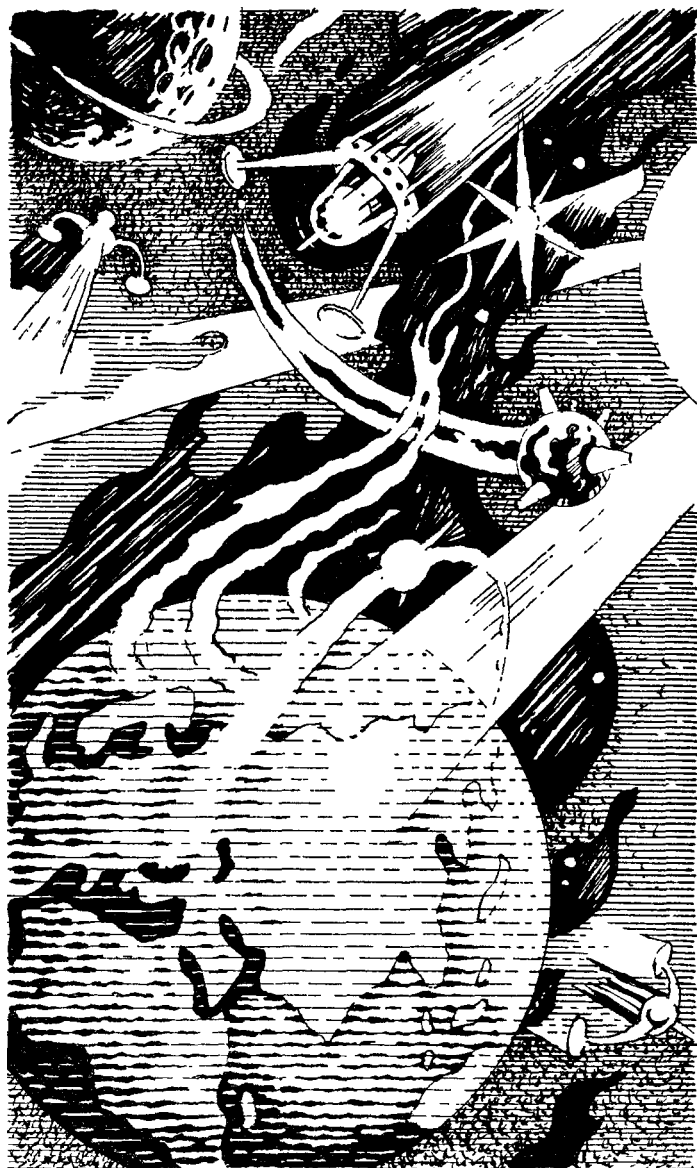
— Совершенно верно, — подтвердил врач. — И вот мы хотим с вами посоветоваться, ибо без вашего решения...

— Понял. Вы сохраняете тело Виккерса, чтобы составить из нас двоих одного человека. Думаете вживить мой мозг в черепную коробку Виккерса взамен его спящего, умершего мозга. И для удачи операции нужно сделать это непременно при моей жизни, что невозможно без моего разрешения. Я не ошибся?

— Именно так, — в один голос сказали врач и Мальгрем.

— Разрешаю. Действуйте, — сказал я.

С тех пор прошло сорок лет, сорок долгих лет, сорок трудных, бесплодных лет. Врачи на Платее сделали все, что могли. Но что они могли? Составить из двух тел одно они сумели, такие операции обрабатывались еще на Земле.



Я сам видел не раз собак, живых, веселых, энергичных, собранных по частям: от одного пса голова, от другого туловище, от третьего ноги и хвост; удачный продукт блестящего эксперимента — так неизменно назывались эти составленные твари. Для собак операция вполне годилась. Но не для человека. Можно, не отрицаю, даже из десяти тел составить одно. Однако как из двух личностей, только из двух, образовать одну?

Очнулся я уже на Земле. Врачи и Мальгрем отлично выполнили свое задание — доставить меня домой живым. Лучший способ сохранить жизнь — оставить лишь самые слабые ее проявления, чтобы в пути не растратились ее ничтожные запасы. Во мне, едином из двух, жизнь не возродили, а законсервировали в тлеющем состоянии. И только на Земле, не очень надеясь на успех, так врачи сами мне потом объяснили, меня вывели в нормальное существование. Я раскрыл глаза и взглянул на мир. Мир исчерпывался больничной палатой и очертаниями двуглавого Арарата в раскрытом окне. Была весна, в окно врывались томные ароматы цветущих абрикосов, могучий дух распаренной земли. Я вспоминал себя. Я был на Земле, но сознанием оставался еще на Платее, маленькой неухоженной планетке в системе двух грозных звезд — Гармония и Аристокитона. Я знал о себе, что не то уже погиб, не то погибаю — обрубком человека. Это было первым, что я вспомнил, — что я без ног. Я откинул одеяло, с опаской ощупал свое тело — ноги были на месте. И тогда я отчетливо вспомнил, что это не мои ноги, а ноги погибшего Виккерса. И еще несколько минут я думал, что к моему туловищу просто прирастили чужие ноги — радикально подремонтировали.

С трудом я приподнялся на кровати, встал на пол: надо было размять чужие ноги, ставшие моей неотъемлемой собственностью. Ноги функционировали прилично — удержали без дрожи туловище, свободно понесли его к окну и обратно к кровати, так же свободно притопнули, сперва левая, потом правая. «Хорошие ноги, — мысленно похвалил я. — Пожалуй, даже лучше моих прежних, те годились лишь на ходьбу, а на прыжки и гимнастические упражнения их не всегда хватало».

После небольшой прогулки по палате мне захотелось посмотреть на себя. Зеркала в палате не было. Я подошел к окну, взгляделся в оконное стекло и чуть не отпрянул в испуге: на меня моим отражением глядел Виккерс. Я снова приблизил лицо к стеклу и снова увидел его.

Только теперь вспомнилось все. Меня не подремонтировали, меня переменили. Я сам приказал так поступить со мной. Не на кого пожаловаться — некого винить! Я продолжал вглядываться в себя: я был Виккерсом, таким же красивым, молодым, темноволосым. Та же его особая, ироничная, немного кривоватая улыбка пересекала лицо, когда я захотел улыбнуться. И только одно отличало теперь меня от прежнего Джозефа-Генри Виккерса: я, нынешний Виккерс, похудел, глаза не вспыхивали, я был чертовски измучен и вымотан. «Неудивительно, — сказал я себе, — ведь в обоих моих телесных воплощениях я умер, а от смерти, даже если потом воскреснешь, устаешь не меньше, чем от тяжелой работы».

Я вернулся в постель, лежал, думал. Кто я? Штилике? Виккерс? Да, конечно, облик Виккерса, а интеллект? Что господствует ныне во мне — тело Виккерса или мозг Штилике? Я скоро, быть может, выйду из больницы, буду ходить по улицам моего родного города. Кем выйду? Кем буду ходить? Как назову себя прежним знакомым, прежним друзьям? Чуждым им Виккерсом? Или Штилике? Я буду тем, кем знаю себя, тем, чье детство, отрочество, взрослость я помню, — личность сохраняется тысячами пережитых событий и дат. Услужливая память немедля возобновила во мне жизнь Штилике, все мельчайшие детали той жизни полноценно сохранялись во мне. «А что я помню о жизни Виккерса?» — спросил я себя. Ничего не вспоминалось и не зналось о Виккерсе до того момента, когда он вошел в кабинет Барнхауза для встречи со мной.

«Итак, все ясно, — сказал я себе, — никакой я не Виккерс, я Штилике и иным быть не могу».

В палату вошел врач и радостно заулыбался, увидев, что я лежу с открытыми глазами.

— Как чувствуете себя, Виккерс? — сказал он сердечно. — По графику выздоровления, рассчитанному компьютером, вы должны были пробудиться завтра. А вы очнулись сегодня. Считаю это очень благоприятным фактом. Уверен, что быстрое восстановление сил гарантировано. Скажите теперь, чего бы вы хотели?

Я с минуту придумывал, чего мне хочется. Врач ожидал с той же доброжелательной и радостной улыбкой. Он гордился, что лечит меня лучше, чем рассчитал компьютер.

— У меня вроде бы некоторые провалы в памяти, — сказал я осторожно. — Что-то вроде небольшой амнезии.

Не сообщите ли, что, собственно, со мной происходило? Если это возможно...

— Возможно, вполне возможно, — заверил меня врач.

Тот же компьютер предсказал, что психика моя после пробуждения будет прочной и действенной, скрывать от меня ничего не надо. Итак, операция. Она оказалась довольно сложной. Слишком уж тяжелой была авария, тело сохранилось в целости, но мозгу нанесли неизлечимые повреждения. В общем, летальный исход стал неизбежен. Подключение искусственного мозга кое-что дало, но ведь это паллиатив — искусственный мозг, он для жизни не годится. Никто еще не ходил, таща за собой на грузовике сооружение, называемое искусственным мозгом. К счастью, вместе со мной погибал еще один астронавт и у него как раз тело получило неизлечимые ранения, а мозг сохранился удовлетворительно. Мне пересадили его мозг, и я возродился к жизни.

— Чей же мозг мне пересадили? — спросил я.

Врач на мгновение замялся.

— Честно говоря, не знаю. В истории болезни имени вашего погибшего спасителя не назвали. Впрочем, нам известно, что секретный доклад о драме на Ниобее, а стало быть и о подробностях операции, передан правительству. Уверен, что, если вы потребуете, вам его покажут, и тогда вы узнаете, чей важный орган вам пересажен. Впрочем, мне думается, это не так уж существенно. Главное — вам спасли жизнь, а мы здесь, на Земле, восстановим ваше здоровье.

Поболтав еще, он оставил меня наедине с моими невеселыми мыслями. Итак, никакой я не Штилике, я — Виккерс, как записано в истории моей болезни. У врача и сомнений не появилось, что меня надо называть только так, а не по-другому. Он и не поинтересовался, чей мозг пересажен в тело Виккерса, примат тела перед мозгом для него бесспорен. Не был ли он бесспорен и для Мальгрема с его тамошним врачом, ведь они прямо называли меня Виккерсом в истории болезни, вовсе не Штилике? Кто же я теперь для себя и для окружающих? Что для себя я — Штилике, сомнений нет. Но что для остального мира я — Виккерс, я уже понимал. Мысли мои метались, я не мог совместить своей души с телом. Столько писали о раздвоении личности, о двух душах, противоборствующих в одном интеллекте, — смешные водевили и кровавые трагедии. Во мне нераздвоенный интеллект не координировался с телом, я не знал, как надо обозначить

такое редкостное явление. И уж во всяком случае не догадывался, как практически уживусь с такой раздвоенностью.

Для уяснения того, как мне отныне вести себя, я, выйдя из больницы, посетил Барнхауза на его квартире. Я спрашивал о нем еще в больнице, мне сказали, что он назначен на Латону, там развернули большое строительство — обширная для него возможность применить свои административные дарования.

Дверь мне открыла Агнесса Плавичкая. Она испугалась, увидев меня. Все те же двойные золотые колокольчики качались в ее ушах. Они приветствовали меня нежным, радостным перезвоном.

— Джозеф, вы? — восторженно воскликнула она. — Боже мой, живой, здоровый! Питер, Питер! — закричала она. — К нам гость, самый дорогой гость! Ты просто не поверишь, кто пришел!

Из дальней комнаты выскочил Барнхауз. Он заключил меня в объятия. Если он и вправду был из «медведей средней руки», как именовал его Теодор Раздорин, порода этих медведей относилась к самым могучим.

— Повернитесь, Джо, друг мой! — командовал он, вращая меня по кругу. — Нет, и спереди, и сзади, и с боков — полная норма! А ведь мы уже горевали с Агнессой, что вас нет на свете. После этого пусть не говорят мне о слабости современной медицины! Так восстановить вас сам господь бог не сумел бы, хотя, по легендам, он часто практиковался в исцелении и даже воскрешении. Куда вы теперь, дорогой Джо? Останетесь на Земле?

— Вряд ли, — отвечал я. — Попрошусь куда-нибудь подальше.

— Летим на Латону, — предложил Барнхауз. — Отличное местечко. Жуткие перспективы. Никаких нибов и прочих людоедствующих аборигенов. Что вас держит на Земле?

— Ничего не держит, — сказал я. — Но Латона не привлекает — слишком шумная планета, чуть ли не половина человечества устремилась туда. Мне бы что победней и поглуще. Ниобея отбила у меня вкус к перспективным планетам.

Я говорил непринужденно, даже улыбался — что еще оставалось? Барнхауз помрачнел.

— Да, Ниобея, Джозеф, Ниобея! Вот уж где перспективы, другого столь же богатого шарика в космосе не найти. Если бы не этот человеконенавистник Штилике,

я бы с помощью Ниобеи такое дал ускорение промышленности на Земле! Поворот всей нашей истории, не меньше!

Агнесса сказала с мягкостью, какой я не ожидал от нее:

— Штилике не ненавистник, Питер, он фанатик. У него глаза безумца, так мне всегда казалось. Он и жизни своей не пожалеет ради своей мрачной идеи — вытаскивать недочеловеков из пропасти. Страшно даже вспомнить, как он весь спружинивался, когда ты возражал ему. Я и сейчас содрогаюсь, лишь подумаю об этом.

— Мрачный, мрачный! — радостно подтвердил Барнхауз. — В общем, мир его праху! Поменьше бы таких деятелей. Но насчет идеи ты не права, Агнесса. Я тоже жизнь отдам за свою идею. Но какую? Безмерно умножить благоденствие человечества — вот моя идея. Идея идее рознь, вы не находите, Джозеф?

— Да, идеи бывают разные, — согласился я и стал прощаться, ссылаясь на то, что еще не вполне восстановил свое здоровье.

От Барнхауза я пошел в Управление Дальнего Космоса. Помню, что очень боялся всех прохожих. Среди них могли быть знакомые Виккерса. Кинулись бы ко мне с расспросами, а я никого из них не знаю — что им говорить?

В Управлении я направился к Игнатию Скоморовскому. Он подписывал мою командировку на Ниобею, он распорядился доставить мой мозг живым на Землю. Не ученик, но друг Раздорина, Скоморовский уже лет тридцать заведовал всеми делами на всесолнечных планетах. Он не мог не знать, как из двух разнохарактерных людей составили одного человека.

Он дружески обнял меня, не так мощно, как Барнхауз, но еще теплей. Однако по тому, как деликатно он отвел глаза, я понял, что ему больше чем просто непривычно мое преобразование. Он не смог сопоставить меня с моим теперешним обликом и растерялся: признаваться в том либо промолчать?

— Как, по-вашему, Игнатий, кто я теперь — Штилике или Виккерс? — спросил я прямо.

Он с полминуты помолчал, перебарывая неприятие моего нынешнего образа.

— Для нас вы всегда Штилике, — сказал он твердо. — И для будущих поколений тоже.

— Да, после моей смерти, Игнатий. Когда вы наконец

погрузите мой сохранный мозг в консервирующий раствор. Но это не скоро. Смерть моя отодвинулась, я ведь вернулся с Ниобеи на четверть века моложе, чем улетел туда. Так что с водворением мозга в Музей придется погодить.

Он отпарировал, что такую задержку с превращением в музейный экспонат от души приветствует и одобряет. Я гнул свою линию. Для себя я — Штилике, для всех кроме нескольких посвященных в тайну, — Виккерс. Это становится нестерпимым. Я чувствую себя актером, вынужденным играть нелюбимую роль. Мне надо срочно умчаться куда-нибудь, где меня не знают.

— В качестве всем известного социолога Василия Штилике, я так вас понимаю? — спросил он.

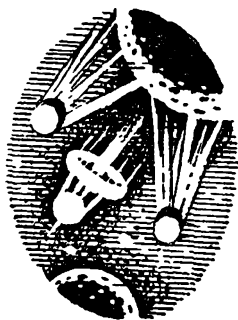
— В качестве мало кому известного Джозефа Виккерса, — отрезал я. — Я надел едва ли подходящую мне маску, но она срослась со мной, снять ее не могу.

Игнатий Скоморовский предложил мне Матряну, планетку объемом в три-четыре Земли, спутник белого карлика Саломеи. Астросоциологу на Матряне дел немного: небольшое поселение людей, никаких зверей и туземцев, мирная, упорядоченная жизнь. На этой благословенной планетке я провел следующие двадцать лет, ничем не отметив их — ни важными делами, ни крупными событиями. И я не желал ни важного, ни крупного. Я был Штилике, но прежнего Штилике — энергичного, целеустремленного, властного, в общем фанатика, как обозвала меня Агнесса Плавицкая, не существовало, и следов этого бывшего Штилике я не находил в себе. И Виккерсом я остался лишь по фамилии и облику. Смена тела оказалась отнюдь не похожей на смену одежды, как представлялось мне поначалу. Я перестал быть Штилике и не стал Виккерсом. Кем я был те двадцать лет на Матряне? Не знаю. Добросовестным средним работником, тусклой личностью — не выше того. «Ни богу свечка, ни черту кочерга» — как именовали таких наши предки.

Так я постиг великую истину, еще никому, кроме меня, не известную во всей своей трагической полноте. Мы привыкли отделять характер от внешности, интеллект от телесного образа. Этот человек умен, строг, решителен, способен к творчеству, а высокий он или низкорослый, красивый или уродливый, толстый или худой, быстрый или медлительный — все эти внешние признаки мало значащи, они характер не определяют. Таково обычное мнение. Я на своем невеселом опыте доказал, что оно

ошибочно. Мозг Штилике, внедренный в тело Виккерса, потерял девять десятых своих возможностей. Теперь вижу, что раньше — некрасивый, низкорослый, медлительный — я был в своем роде выдающейся личностью. И Виккерс был незауряден — быстрый, решительный, энергичный, целеустремленный. Нас объединили в одно целое — и породили среднего человечка: исполнительного, старательного работника, звезд с неба не хватающего и пороку не выдумывающего. В нас сохранились наши недостатки, наших достоинств поубавилось, некоторые и вовсе потерялись. Я уже не уверен, что мозг Штилике, освобожденный от тела Виккерса в момент моей смерти, займет свое место в назначенном ему саркофаге именно таким, каким его хотели бы видеть.

И, окончательно убедившись, что настоящего возрождения мне не ждать, я вернулся на Землю. Теперь я консультант Музея Космоса, заслуженный, но ничем особенным не выдающийся астроинженер Джозеф-Генри Виккерс на отдыхе. В «пантеонном» зале стоит пустая урна, ожидающая мой мозг. В Музее знают, что где-то обретается живой человек, носящий в себе мозг знаменитого астросоциолога, но что это за человек, где он, не знает никто. И вряд ли кто поверит, если бы я и признался, — слишком уж мало схож непритязательный консультант с человеком, ставшим символом мужественного звездопроходца. А я неожиданно признался молодым парням и девушкам, вылетающим на далекую Ниобею, — они поверили! Почему я сделал это? Обрадовало, что так долго закрытая планетка снова раскрывается? Что же там произошло? Погиб ли навеки несчастный народ нибов или стараниями тех, кто пришел после меня, возрожден к новой жизни? Или тебе смертно захотелось полететь туда с ними, Василий-Альберт Штилике — Джозеф-Генри Виккерс?



СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВО НА ПОИСК	Научно фантастическая повесть	5
ЧЕТЫРЕ ДРУГА	Научно фантастическая повесть	103
ДРАМА НА НИОБЕЕ	Научно фантастическая повесть	239

Литературно художественное издание

Для среднего и старшего возраста
Снегов Сергей Александрович

ПРАВО НА ПОИСК

НАУЧНО ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

Ответственный редактор В А АНКУДИНОВ

Художественный редактор В А ГОРЯЧЕВА

Технический редактор Е П КУДИЯРОВА

Корректоры К И КАРЕВСКАЯ, Е И ЩЕРБАКОВА

ИБ № 11201

Сдано в набор 16 02 89 Подписано к печати 07 09 89 А07920
Формат 84×108¹/₃₂ Бум типогр № 2 Шрифт обыкновенный
Печать высокая Усл печ л 18 48 Усл кр отт 19 32 Уч изд л 20 96
Тираж 100 000 экз Заказ № 1642 Цена 1 р 10 к
Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов
издательство «Детская литература»
Государственного комитета РСФСР по делам издательства,
полиграфии и книжной торговли
103720, Москва Центр М Черкасский пер 1
Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга»
Госкомиздата РСФСР 127018 Москва, Сушевский вал 49

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Снегов С. А.

С53 Право на поиск: Научно-фантастические повести/
Художн. Б. Лавров.— М.: Дет. лит., 1989.— 352 с :
ил.— (Библиотека приключений и научной фанта-
стики).

ISBN 5—08—000590—4

В книгу включены три научно фантастические повести
«Право на поиск», «Четыре друга», «Драма на Ниобее» Автор
показывает в них, что требования морали все более становятся
неотъемлемыми критериями любой исследовательской работы

С 4803010201—460
М101(03)-89 292—89

ББК 84Р7